МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ЯНОВСКИЙ

ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ: КНИГА ПАМЯТИ



В. С. Яновский

Поля Елисейские

Книга памяти



Москва-Берлин
2016

УДК 82
ББК 83.3(2)
Я64

Яновский, В. С.

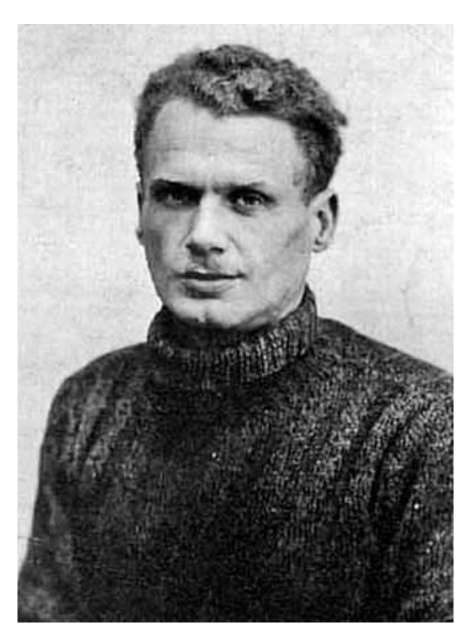
Я64 Поля Елисейские : книга памяти / В. С. Яновский. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 335 с.

ISBN 978-5-4475-2635-1

Вниманию читателей предлагаются знаменитые мемуары литературного критика, прозаика и публициста Василия Семеновича Яновского (1906–1989). Живые красочные зарисовки открывают читателю неизвестные, зачастую пикантные моменты, касающиеся творчества, быта и психологических черт характера известных русских эмигрантов в Париже, с которыми Яновский был знаком (Бориса Поплавского, Юрия Фельзена, Марины Цветаевой, Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Ивана Бунина, Марка Алданова и др.)

УДК 82
ББК 83.3(2)

ISBN 978-5-4475-2635-1



Василий Семенович Яновский (1 [14] апреля 1906, Полтава – 20 июля 1989, Нью-Йорк) – прозаик, литературный критик, публицист, мемуарист.

С. Довлатов
Против течения Леты

Мемуарная литература пользуется спросом во всем мире, а у российского читателя, долгие годы насильственно отчуждаемого от собственной истории, жанр воспоминаний вызывает особый, жадный и неутолимый интерес. При этом увлекают нас не столько частные подробности жизни мемуариста (иной раз сами по себе весьма любопытные), сколько возможность найти в чужом душевном опыте разгадку нашей собственной драмы.

Здесь, в эмиграции, мы получили доступ к целым напластованиям мемуарной литературы, от записок бывших соратников Ленина и вождей Белой армии до дневников окололитературных дам и всевозможных претенциозных неудачников. В общем потоке современной мемуаристики читатель выделяет те произведения, в которых сочетаются: богатый опыт, интеллект, проницательность, способность к обобщениям, а главное – честный, свободный от эгоистического самолюбия подход к событиям.

Так на общем фоне более или менее значительных свидетельств выделяются полные трагизма мемуары Надежды Мандельштам и Евгении Гинзбург, фундаментальный труд Нины Берберовой «Курсив мой» и поразительная книга Солженицына «Бодался теленок с дубом» – история борьбы писателя с литературными функционерами и чинами КГБ.

Недавно к достойным образцам мемуарной литературы присоединились воспоминания одного из старейших и наиболее заслуженных прозаиков эмиграции Василия Семеновича Яновского «Поля Елисейские», выпущенные нью-йоркским издательством «Серебряный век».

К сожалению, имя Василия Яновского до странности мало говорит современным русским читателям, хотя Яновский бесспорно принадлежит к числу самых талантливых, глубоких и уж во всяком случае – наиболее оригинальных прозаиков первой эмигрантской волны.

Юношей оказавшись в эмиграции, Яновский сформировался как литератор в предвоенном Париже, где дебютировал в 1930 году повестью «Колесо». Затем одна за другой выходили его книги – «Мир», «Любовь вторая», «Портативное бессмертие».

Влиятельные критики быстро оценили дарование молодого Яновского. Требовательный и даже придирчивый Георгий Адамович назвал его «серьезным писателем». Доброжелательный, но строгий Михаил Осоргин говорил:

«Нельзя не признать в Яновском ясно выраженной и при этом какой-то особой, напористой талантливости. Для него литература – не случайность, и он умеет работать, вероятно, без легкости, может быть, даже с большим трудом, но и с уверенностью».

Яновский заявил о себе не как бытописатель, не как злободневный политический публицист и не как поставщик увлекательного семейного чтива. Его проза лишена поверхностного косметического изящества, в ней нет той завораживающей легкости, которая нередко сопутствует ординарному содержанию. Яновский оперирует глобальными метафизическими идеями и понятиями, коллизии в его романах разрешаются на уровне высших нравственных ценностей, что и требует от писателя многоплановой композиции и сложной, разнородной художественной ткани.

Герои Яновского часто оказываются в невероятных, жестоких и трагических обстоятельствах, в его романах есть элементы фантастики и сюрреалистического

гротеска, земное и обыденное соседствует в них с мистическим и астральным…

Завоевав известность во Франции, Яновский в 1942 году перебрался в Соединенные Штаты. Впоследствии его книги выходили в Европе и в Америке, а рассказы, повести и эссе публиковались в лучших эмигрантских периодических изданиях.

Кажется парадоксальным, что наиболее значительные романы Яновского («По ту сторону времени», «Кимвал бряцающий», «Великое переселение») появились на английском языке и до сих пор не изданы по-русски. Поэтому-то имя Яновского больше говорит сейчас американской читающей публике, чем нынешнему поколению русских в Нью-Йорке, не говоря о Москве, Ленинграде или Новосибирске.

Следует отметить, что уважительное предисловие к роману Яновского «По ту сторону времени» было написано крупнейшим англоязычным поэтом Уистеном Оденом, отдававшим должное не только захватывающей проблематике этой книги, но и ее формально-эстетическим качествам. Заканчивает Оден свое предисловие такими словами:

«В романе “По ту сторону” есть сцены, которые я буду помнить всю свою жизнь».

В своих мемуарах Яновский скупыми и точными штрихами воссоздает атмосферу литературного Парижа 30-х годов, насыщенного творческими флюидами, томимого бедностью и предчувствием грядущей катастрофы. Перед нами проходит вереница как весьма замечательных, так и вполне заурядных деятелей эмиграции, от Бунина и Мережковского до Злобина и Проценко, и каждое, самое ординарное лицо запечатлевается в нашей памяти благодаря ярким, выразительным деталям, которые использует автор.

Внутренняя задача мемуаров Яновского состоит в том, чтобы превратить субъективное художественное творение – в объективный исторический документ, и потому не случайно книге предпослан эпиграф из Вольтера: «О мертвых мы обязаны говорить только правду», и уж тем более не случайно – дополнительное предуведомление Яновского:

«Я должен вас предупредить, чтобы вы не удивлялись, если я буду о мертвых повествовать, как о живых».

Кому-то мемуары Яновского покажутся резкими и даже злыми, но ни один компетентный и непредвзятый читатель не обнаружит в них ни попытки сведения счетов, ни выражения личных обид или запоздалых частных претензий к именитым покойникам – воспоминания продиктованы стремлением к правде, той окончательной, выверенной временем правде, каковая доступна лишь умному, внимательному и тонкому очевидцу. Таким образом, Яновский избегает как «хрестоматийного глянца», так и злорадного, торжествующего очернительства, пренебрегает как розовыми, так и черными тонами, находя в каждом цвете все оттенки спектра.

К ценнейшим преимуществам Яновского относится еще и то, что, будучи писателем интеллектуалом, он воссоздает жизненный материал не только в бытовой плоскости, рисует характеры деятелей эмиграции не только в их житейских проявлениях, но и легко ориентируется в религиозных, философских, нравственных проблемах, то есть в духовной атмосфере русского Парижа.

Сам инструмент Василия Яновского по существу интеллектуален, его воспоминания ценны не количеством фактов, не объемом материалов, не линейной полнотой изложения, а «вертикальным» (по его собственному выражению), выборочным, осмысленным подходом к жизненной реальности.

Знакомство с событиями прошлого, выхваченными из мрака добросовестным, талантливым свидетелем, дают нам возможность лучше разобраться в настоящем, уловить в нем прогноз на будущее.

Ведь память – это единственная река, которая движется против течения Леты.

Поля Елисейские

Aux morts on ne doit que la verite.

Voltaire

Об умерших – только правду.

Вольтер (франц.)

Я должен вас предупредить, чтобы вы не удивлялись, если я буду о мертвых повествовать, как о живых.

В. С. Я.

I

Мыс Доброй Надежды.
Мы с доброй надеждой
Тебя покидали.
Но ветер крепчал…

Борис Поплавский

Великая русская эмиграция вымирает. Один за другим ушли, «сокрылись» классики и эпигоны. Кладбища распростерли свои братские объятия. Кто упокоился под Парижем или Ниццею, кто за Нью-Йорком и в Калифорнии. Над прерией звучит призыв трубача:

«И кому суждено будет во поле лечь, того Господь Бог помяни…»

Вот Бердяев в синем берете, седой, с львиною гривой, судорожно кусает толстый, коротенький, пустой мундштук для сигар. Вон Ходасевич нервно перебирает карты больными, обвязанными пластырем зелеными пальцами; Федотов пощипывает профессорскую бородку и мягким голосом убедительно картавит. Фондаминский, похожий на грузина, смачно приглашает нас

высказаться по поводу доклада; Бунин, поджарый, седеющий, во фраке, с трудом изъясняется на одном иностранном языке.

Где они…

А между тем внутри себя я всех вижу, слышу, узнаю. Правда, я не могу больше пожать их теплые руки, прикоснуться к плоти, ощутить запах. Но нужно ли это?

Ведь такой нежности, которую я испытываю в настоящее время, такой боли и жалости я тогда, в пору общения, в себе не обнаруживал. Значит смерть и время, отобрав одно измерение, прибавили другое… И теперешний образ всех наших былых спутников если и несколько иной, то отнюдь не менее реальный, не менее действительный.

Что остается на долю художника, продолжающего свою бесконечную тяжбу с необратимыми процессами? Воплотить в своей памяти этих собеседников вместе с вновь осознанным чувством боли, нежности!

И пусть эти живописания часто искривляются, подчиняясь законам искаженной (личной) перспективы. Чем больше таких откровенных, субъективных свидетельств, тем шершавее, грубее, быть может, образ, но и массивнее, полнее. Так, два глаза, направленные под несколько различным углом, воспринимают отдельно предмет плоско, но воспроизводят его в конце концов объективно и выпукло, уже в трех измерениях.

По воскресным дням одно время молодые литераторы часто встречались за чайным столом у Мережковских. Выходили примерно к пяти часам все сразу и оседали на часок-другой в близком «извозчичьем» кафе. Продолжали ранее начатую беседу, а чаще сплетничали.

– Заметили, как бывший верховный главнокомандующий взял меня за пуговицу и не отпускал? – спрашил Иванов, польщенный вниманием Керенского, но и считая долгом подчеркнуть свою независимость.

– А Закович по ошибке чмокнул руку Мережковского.

– И Мережковский ничуть не удивился, – подхватывал Поплавский, мастак на такого рода шутки.

Иногда я с Вильде усаживался за партию в шахматы; Кельберин следил за игрою, что, впрочем, не мешало ему принимать «живейшее» участие в болтовне. Рядом, на маленьком, «московском», бильярде с лузами подвизались Алферов с Мандельштамом: последний играл во все игры одинаково страстно и плохо; Фельзен сдержанно закуривал свою «желтую» папиросу в мундштучке и склонялся к уху соседа, улыбаясь, как расшалившийся во время урока школьник; Червинской обязательно нужно знать, что он сказал Адамовичу, когда тот собирался уходить. Адамович, живший далеко, у Convention, уже убежал: он сегодня угощает обедом каких-то милых господ!

Огладывая мысленно эту залу в зеркалах, ярко освещенную и в то же время мглистую от табачного дыма, сотрясаемого смехом возгласами и стуком бильярдных шаров, созерцая все это теперь, я поражаюсь, до чего ясно кругом проступали уже черты всеобщей обреченности. Мы часто хвалились умом, талантом, даром, но что земля уходит у нас из-под ног, Париж, Франция, Европа обваливаются в черную дыру – этого мы не желали разглядеть! А между тем пятна пара, осевшие высоко на зеркалах, принимали какие-то подозрительные буквообразные очертания.

– В зале, где много зеркал, всегда чувство, точно сидишь на сквознячке! – смачно преподносил Бунин еще московскую находку. Такие штучки он ценил.

Мы с остатками упоения цитировали старого Блока с его мятежами, метелями и масками, восхищаясь пророчеством, а нового зарева над христианской Европой не разглядели вовремя. Впрочем, теперь мнится – все знали, только не осознавали этого.

Мы сидели в кафе в одинаковой позе, в одинаковой комбинации, с почти одинаковыми речами десятилетия, словно давая судьбе возможность хорошо прицелиться. И она жестоко ударила по нас.

Нет спору, жизнь была гораздо снисходительнее к людям старшего поколения и эпигонам. Они почти все успели отхватить кусок сладкого российского пирога. Сорвали дольку успеха, признания, даже комфорта. Потом, в эмиграции, они уже считались оберофицерами – царского производства. Им давали пособия, субсидии из разных чехословацких, югославских или ИМКА фондов.

– Ах Тэффи, ах Зайцев, как же, как же!

Зимой 1961 года в доме поэта Уистона Одена я познакомился с одной милой культурной дамой, членом советской литературной миссии, отлично разбиравшейся в тайнах англосаксонской поэзии. На мой вековой вопрос, что она знает о русской зарубежной литературе, последовал вежливый ответ:

– Ну как же, у вас были Аверченко, Игорь Северянин.

Бунина и Шмелева, прополов, издают теперь в Союзе полумиллионными тиражами. Россия еще долго будет питаться исключительно эпигонами. Ей нужна детская литература для хрестоматий.

Вероятно, минет столетие, прежде чем СССР опять станет Европою; лишь тогда Россия «откроет» своих мальчиков, никогда не прерывавших внутренней связи и с Европой, и с родиной. Для эмигрантской поэзии этот срок наступит раньше.

К семи часам наиболее солидные начинали расходиться из шоферского бистро… Время обеда. Но кое-кому все еще не хотелось расставаться, так бы профуфукали царство небесное за путаным разговором, когда чудится, что дело делаешь. И может, это верно.

В начале 30-х годов так случилось, что Поплавский, Фельзен и я, иногда Шаршун, повадились еще закан-

чивать вечер у Ремизова, в том же квартале. Мы пересекали туманный сквер; там на углу шумел проточной водой ржавый писсуар на две персоны. Туда мы решительно направлялись. Фельзен входил первый как старший возрастом, а может, и по другим причинам. Затем я впереди заколебавшегося Бориса. Он оставался извне и барабанил по гулкой жести нашего пристанища, шутливо и матерно ругаясь. Только что он галантно уступил мне место, а уже негодует!

Теперь мы с Фельзеном уже дожидаемся Поплавского: смех, ругань последнего, шум воды и газового рожка, весенний шорох каштанов (или осенний скрип голых стволов). Все это залегло узлом в моей душе, зреет там и мнится – вот-вот прорастет новыми, преображенными побегами.

Фельзен еще обычно исчезал к себе на часок подкрепиться – он жил у своей богатой сестры. Мы с Поплавским заправлялись у стойки чашкой шоколада с круассанами. Потом слонялись, жадно впитывая творчески живое парижское небо. Болтали… О любви, о Маркионе, о Прусте и раннем Зощенко – все сдобренное стихами, остротами и, главное, литературными сплетнями.

Часам к девяти опять сходились у Ремизова. Гениальный Алексей Михайлович тогда, казалось нам, был уже «разоблачен» вполне. Одно время, но недолго, считалось модным увлекаться его наружностью, игрушками и даже прозою. Но в 16-м аррандисмане это единственное место, где мы могли еще собраться вечером. Повторяю, нам порою было мучительно расставаться. Как будто знали уже, до чего эфемерно это интеллектуальное счастье, и предчувствовали близкий конец.

В самом деле, разве трудно было на исходе этого воскресного дня вдруг узреть, что Мережковские-Ивановы останутся верными себе и начнут пресмыкаться

перед немецкими полковниками; а наши «патриоты» Ладинский-Софиев при первой оказии уедут в Союз! Мать Мария и Вильде, Фельзен и Мандельштам – погибнут, и каждый по-своему. А первым уйдет Поплавский. Право, это легко было предсказать!

Итак, Ремизова мы уже «разгадали» и не любили, постепенно только, по обычной неряшливости, прерывая установившуюся привычку, связь. Там в доме царила всегда напряженная, ложная, псевдоклассическая атмосфера; Алексей Михайлович притворялся чудаком, хромым и горбатым, говорил таким чеканным шепотом, что поневоле душа начинала оглядываться по сторонам в поисках другого, тайного смысла. Предполагалось вполне доказанным, что у него много врагов, что Ремизова ужасно мало печатают и все обижают!

Чай Алексей Михайлович разливал из покрытого грязным капором огромного чайника. Серафима Павловна – тучное, заплывшее болезненным жиром существо с детским носиком – неловко возвышалась над столом, тяжело дыша, постоянно жуя, изредка хозяйственно, зорко улыбаясь. К чаю ставили тарелку с фрагментами сухого французского хлеба или калачей, даже бубликов, но все твердокаменное. Поплавский, умевший и любивший посплетничать, уверял, что его раз угощали там пирожными, но их поспешно убрали, когда раздался звонок в передней; впрочем, нечто отдаленно похожее передавал и Ходасевич.

Шутки и выдумки Поплавского запоминались, както прилипали, даже если не совсем соответствовали истине! Особенно прославился его апокриф, посвященный Мережковскому… Три восточных мага приехали будто бы на квартиру Дмитрия Сергеевича (11-бис Колонэль Боннэ) и затеяли с ним беседу.

– Что есть первая истина? – осведомились маги. И Мережковский, не моргнув бровью, открыл им эту тайну.

– Что есть вторая тайна? – продолжали допытываться мудрецы. И опять русский мыслитель легко удовлетворил их любопытство.

– А куда идут деньги с вечеров «Зеленой лампы»?

Тут Мережковский не смог ответить и заплакал.

Поплавского вообще привлекало зло своей эстетической прелестью. В этом смысле он был демоничен. И участвуя в черной мессе или только являясь непосредственным свидетелем ее, он улыбался гордой, нежной, страдальческой улыбкою, будто зная что-то особенное, покрывающее все.

Наружность Бориса была бы совершенно ординарной, даже серой, если бы не глаза… Его взгляд чем-то напоминал слепого от рождения: есть такие гусляры. Кстати, он всегда жаловался на боль в глазах: «точно попал песок…» Но песок этот был не простой, потому что вымыть его не удавалось. И он носил темные очки, придававшие ему вид мистического заговорщика.

Говорят, в детстве он был хилым мальчуганом и плаксою; но истерическим упорством, работая на разных гимнастических аппаратах, Поплавский развил себе тяжелые бицепсы и плечевые мускулы, что при впалой груди придавало ему несколько громоздкий вид.

В гневе он ругался, как ломовой извозчик, возмущенно и как-то неубедительно. Подчас грубый, он сам был точно без кожи и от иного прикосновения вскрикивал.

Влияние Поплавского в конце двадцатых и в начале тридцатых годов на русском Монпарнасе было огромно. Какую бы ересь он ни высказывал порою, в ней всегда просвечивала «творческая» ткань; послушав его, другие тоже начинали на время оригинально мыслить, даже спорили с ним. Это в первую очередь относится к разговорам Бориса. Когда-нибудь исследователь определит, до чего творчество наших критиков и философов после смерти Поплавского потускнело.

Его многие не любили при жизни, или так казалось. Постоянно спорили, клевали, наваливаясь скопом, завистливо придираясь, как полагается на Руси. А он, точно сильная ломовая лошадь, которую запрягли в легкий шарабан, налегал могучим плечом и вывозил нас из трясины неудачного собрания, доклада, даже нищей вечеринки. Дело могло кончиться скандалом, но все-таки у многих в сознании на следующее утро, как в саду после грозы, обнаруживались вдруг свежие, творческие побеги.

Поплавский, выступая на собрании, говорил монотонно, напевая под нос и как бы задыхаясь к концу длинной фразы. Когда он начинал задыхаться, то ускорял речь и повышал голос, чтобы успеть пояснить мысль и затем лишь перевести дух. Но это повышение и ускорение как-то всегда совпадали с наиболее острой его мыслью, а может, она представлялась таковою благодаря удачно затрудненному дыханию.

Стихи свои он читал тоже с монотонным напевом и под нос, как бы через свирель, вдруг ускоряя темп; впрочем, в начале строфы голос его мог звучать, как у школьника. Я умел хорошо подражать его чтению; но с годами эта способность пропала. В те времена «Черную Мадонну» или «Мечтали флаги»… повторяли на все лады не только в Париже, но и на «монпарнасах» Праги, Варшавы и Риги.

Поплавский был чуть ли не первым моим знакомством на Монпарнасе. И с того же дня мы перешли на «ты», что не было принято в русском Париже; в ближайшие десять лет он, вероятно, остался моим единственным «ты». И это, конечно, не случайность для Бориса.

Мне пришлось быть свидетелем, как в продолжение целой ночи в удушливом подвале на Пляс Сен-Мишель, куда мы прошли после собрания в Ла Боллэ,

Борис говорил Фельзену «ты», а тот вежливо, но твердо отвечал на «вы». Много лет спустя Фельзен, оправдываясь, объяснял, что он не любит, когда его заставляют! (Как, должно быть, ему было мучительно в подлых немецких лапах.)

Эта ночь подобно кошмару тянулась без конца; Поплавский был точно на пороге эпилептического припадка, словно вся его жизнь, вечная, зависела от того, откликнется ли его собеседник на братское «ты».

В конце двадцатых годов Фельзен был еще новичком на Монпарнасе, известно было только, что его уважают Адамович, Ходасевич и многие богатые меценаты. Это, конечно, могло вначале повлиять на Поплавского, но дальше тяжба его была уже не карьерного порядка.

А беседа, между прочим, велась совсем неподходящая для Фельзена того периода. О святой Софии, о разбойнике на кресте, о римском патриции, осужденном на смерть и боящемся казни; его любовница вонзает себе в грудь кинжал и улыбаясь говорит: «Видишь, это совсем не страшно…» (Любимая история Поплавского.) Все эти его речи были пересыпаны интимнейшим «ты» в ожидании немедленного чуда, отклика, резонанса.

Поплавский приходил ко мне, часто в неурочный час, на рю Буттебри и слушал мои первые рассказы. Он находил в них «напор». После выхода романа «Мир» Борис повторил несколько раз, что я похож на человека, которому тесно: он постоянно всем наступает на ноги!

В его «Аполлоне Безобразове» воскресший Лазарь говорит «мерд»! В «Мире» у меня есть нечто похожее, и Поплавский жаловался на мою «плагиату». Когда я по рукописи доказал, что о прямом заимствовании не могло быть и речи, он грустно согласился:

– Да, все мы варимся в одном соку и становимся похожими.

Ссоры с ним регулярно сменялись полосами дружеского общения. Мы расхаживали по бесконечным парижским ярмаркам и базарам, по ботаническим и зоопаркам, прицениваλись к старинным мушкетам или к подзорным трубам эпохи армады. Иногда отдыхали в синема или подкреплялись неизменным кофе с круассаном. Я тогда верил в медицину, и в февральскую стужу – чтобы предупредить бронхит, пил, обжигаясь, горячее сладкое молоко. Он издевался, придумывая разные забавные, а иногда и злые ситуации, потом распространял их как действительно имевшие место.

Придешь в следующую субботу к нашему общему другу Проценко – такой малороссийский Сократ, «учитель жизни», – не отличавшемуся, казалось, никакими формальными талантами, а оказавшему большое влияние на многих… Только зайдешь, еще стакана вина не предложили, а уже Проценко с деланной строгостью спросит:

– Что это, Василий Семеныч, неужели у вас в рассказе герои пьют конскую мочу?

До меня уже дошли слухи о новой проделке Поплавского, и я горько отбивался:

– Там сказано: «от запаха конской мочи першит в горле»… вот и все!

Любимым анекдотом Бориса был разговор, будто бы подслушанный им в Монте-Карло:

– Вы тоже мистик? – спрашивает один.

– Нет, я просто несчастный человек.

Или другая выдумка: монаху за молитвою все время является соблазнительный образ женщины.

– О чем просит этот анахорет? – осведомляется наконец Бог Саваоф.

– О женщине, – докладывают Ему.

– Ну, дайте ему жжееннщиину!

О каждом из своих друзей Поплавский знал что-то сокровенное или злое; впрочем, преподносил он это почти всегда снисходительно и мимоходом.

На мой вопрос, действительно ли фамилия одного нашего литератора чисто итальянская, Поплавский, сладко и болезненно жмурясь, объяснял:

– Он кавказский армянин. Знаешь, как Тер-Абрамианец, Тер-Апианец.

И улыбка падшего ангела озаряла землистое, одухотворенное лицо с темными колесами глаз.

В 1941 году я прочитал объявление в «Кандиде» о вернисаже выставки знаменитого художника Тер-Эшковича в Лионе… и вспомнил вдруг Поплавского. Кстати, Борис учился рисованию и хорошо разбирался в живописи, что, разумеется, не случайность в его жизни.

Чудилось – у Поплавского огромный запас витальных сил: вот-вот легко и походя опрокинет ставшего у него на пути… Но вдруг что-то срывалось: совсем неожиданно и ощутимо! Лопалась центральная пружина, и Поплавский застывал на всем бегу, точно зачарованный медиум, улыбаясь сонной улыбкой. И сдавался: соглашался, уступал, уходил!

Его мистическая жизнь была полна пугающих противоречий, и часто вокруг него собирались исключительные по насыщенности темные силы. Мне всегда чудилось: не устоит, не осилит! Ясно, что тут речь шла о другом плане, ибо в таланте или даже в гении ему никто не отказывал. Внутренне он чересчур спешил, тщась развить духовные мускулы так же непропорционально, как и свои бицепсы.

Отношения с Поплавским не могли быть ровными. С ним, единственным, кажется, из всех парижских литераторов я дрался на кулаках в темном переулке у ателье

Проценко, где веселились полупоэты и полушоферы с дамами. В этот вечер уже с самого начала Борис был уязвлен, приход Адамовича раздразнил его еще больше. Он вообще был чрезмерно чувствителен к отзывам печати, совсем не стараясь этого скрывать. Даже статейка заведомо глупого или ничтожного собрата все-таки действовала на него завораживающе. Эта черта, свойственная всей русской литературе, она в эмиграции развилась до уродства именно по причине совершенной тщетности и бесплодности нашей деятельности. Ну, похвалит тот, другой… Никаких обычных последствий ведь нельзя ожидать – то есть увеличения тиража, гонорара, почета!.. Сплошное какое-то почесывание пяток друг другу. Главное, рецензии эти воспринимались как последнее мерило, ибо не было еще одной инстанции – читателя!..

Что отношение может быть другим, я понял только позднее, попав в страны англосаксонской культуры. Там независимые джентльмены почитают за долг относиться равнодушно к тому, что другие джентльмены пишут о них по обязанности. За все время существования американской литературы вы не найдете статьи в духе того, что писал, скажем, Салтыков-Щедрин о своем современнике Достоевском.

Одно из самых потрясающих признаний, сделанных Буниным (их было не много), относилось именно к этой теме. Раз в «Доминике» поздно ночью, пропустив последнее метро, он мне сказал:

– Даже теперь еще… а сколько было… как только увижу свое имя в печати, и вот тут, – он поскреб пядью у себя в области сердца, – вот тут чувство, похожее на оргазм!

Что же обвинять Поплавского! Никто ему не подавал другого примера. К западу от Рейна постепенно укоренилось мнение, что если христианские отношения

пока еще не установились в нашем обществе, то надо, по крайней мере, хотя бы вести себя прилично. Русское понимание comme il faut[1] относилось главным образом к чистой обуви и перчаткам, а отнюдь не к fair play[2]. А между тем, с этим свойством общество не рождается, fair play можно только прививать.

Что греха таить, на родной Руси люди по сей день испытывают особое удовольствие, если им удастся неожиданно совершить подлость или повести себя неприлично. Устами воображаемого героя Достоевского: «Вот мы с вами только что обсудили все высшие материи и настроились на европейский лад, а я вот возьму, ха-ха-ха, и сделаю гадость, хе-хе-хе». Сталин, по свидетельству авторитетных лиц, почитал за высшее наслаждение обедать с человеком, которого уже приговорил к расстрелу или пыткам. Перехамил или перекланялся – так определял Поплавский собственный недуг.

Вернее было бы – перехамил и перекланялся одновременно.

Георгий Иванов, человек, интимно связанный со всякого рода бытовой мерзостью, но по-своему умница, с удовольствием повторял слова Гумилева:

«Войти в литературу – это как протиснуться в переполненный трамвай… А заняв место, вы в свою очередь норовите спихнуть вновь прицепившегося».

Увы, эти «трамвайные» нравы не были свойственны только литературе. И в русской политике – правой или левой – требовалась та же «гимнастика», натуральная борьба, византийские джунгли, хе-хе-хе.

Эти рудименты пещерной культуры характерны для всего Востока, но особенно они удручают в России, где звание писателя ставится необычайно высоко, чуть ли не на одном уровне с пророком, святым, борцом

---

[1] Как надо *(франц.)*.

[2] Честная игра *(франц.)*.

за правду. На Западе совсем иное отношение к литературе. Хемингуэй пишет хорошие рассказы, но ему не придет в голову указывать современникам, за какого президента голосовать. Пруст поместил свой капитал в публичный дом и жил с прибыли, что дало ему возможность написать гениальный роман.

Какое это было откровение, когда я двадцатилетним юношей впервые услышал, что писатель может играть на бирже и волочиться за мальчиками… И совсем не нужно обязательно проповедовать, страдать, клеймить, идти на каторгу или делать вид, что страдаешь, жертвуешь. Причем, парадокс – именно эти вежливые писатели, отдающие деньги в рост, никогда не бросают «подлеца» своим собратьям и не ловят их на грамматических ошибках.

Среди парижских писателей было несколько заведомых джентльменов: Осоргин, Фельзен. И какое это было чудо отдохновения с ними общаться: парадиз, остров ровного доброжелательства среди соборного царства перехамства.

– Вот, – говорил мне Поплавский, хвастливо протягивая письмецо. – Если делать дело, то надо его делать как следует.

Письмо было от Алданова к Зеелеру (секретарь Союза писателей и журналистов, по внешности Собакевич из «Мертвых душ»). Марк Александрович рекомендовал Поплавского как талантливого поэта и поддерживал его просьбу относительно единовременного пособия в размере ста франков. Алданов любил такого рода благодеяния и никому, даже негодяям, в них не отказывал. Мне он раз даже дал список своих переводчиков на иностранные языки. «Все мертвые души»! – узнав об этом, хихикнул Иванов.

Думаю, что следует пояснить наше тогдашнее отношение к чужим деньгам и вообще к услугам посто-

ронних… В те годы получить субсидию или подачку почиталось лестным! Помню скандал, устроенный Смоленским, когда ему ничего не уделили из собранной суммы. На возражение Фельзена (председателя), что Смоленский теперь работает и не очень нуждается, последний трагически завопил: «Поэт я или нет? Неужели я хуже Кельберина? А раз не хуже, то и мне полагается!»

Вспоможествования, милостыня становились в нашем обиженном сознании чем-то вроде чинов и орденов чеховской Руси. Случаев гордого отказа от таких денег почти не бывало. Впрочем, все знали, что Осоргин и Алданов никогда ни от каких «обществ» или частных жертвователей субсидий не получали и не желали получать. Но это вызывало только циничные замечания Иванова, стригшего без зазрения совести и трусливых овец, и блудливых волков.

Только потом, в США, увидав, как по пятницам выстраиваются скромные, веселые люди разных мастей у окошечка в конторе и с достоинством получают свой чек за недельный труд – от 40 до 90 долларов, причем за 10 долларов можно купить обувь или простое женское платье, а за 50 мужской костюм… – только тогда мне что-то открылось! Наивные американцы должны еще рассчитаться окончательно с налоговым инспектором, и все же при всяком удобном и неудобном случае они любят повторять, что никому ничем не обязаны и ни о чем не просят… Это некий местный идеал (как ратовать за народ в России), одинаково обязательный для поломоек и для поэтов, преподающих Creative Writing[3] в колледжах, для черных лифт-боев и седых дантистов.

---

[3] Писательство *(англ.)*.

Нам в детстве твердили про героев, затыкавших пальцем пулемет, бросавших бомбы в генерал-губернаторов, или о святых, раздававших мужичкам свое заложенное имение. Но о том, чтобы трудиться целую неделю, а в пятницу, получив чек, заплатить по счету, гордо заявив: «Я, слава Богу, никому ничего не должен и ни в чьей помощи не нуждаюсь…», о таком варианте гражданской добродетели мы не слышали. А жаль.

Зато в США люди выглядят примитивами, когда заводишь разговор о мистике падения, о национальной идее, о соборности искусства и об уходе Толстого из Ясной Поляны. Тоже, конечно, жаль.

Итак, Поплавский на вечеринке в ателье Проценко, где днем красили галстуки и шарфы, был особенно раздражен. Статья Адамовича, задевшая его, стакан вина из нового запаса, привезенного таксистом Беком (бывшим русским подводником), или «постоянная» девица, не отстававшая ни на шаг от Бориса, все это могло подействовать на него удручающе. Кстати, девица эта изъяснялась по-русски с невозможнейшим акцентом; о ней мне Поплавский повторял, зло и страдальчески жмурясь:

– Она питается моими экскрементами.

Началось с того, что я разговорился с Адамовичем; тот считал, что похвалил Поплавского. Вообще критику в эмиграции жилось подчас очень несладко: все вместе, все на виду, каждый день жмешь руку… Если выругаешь А, то Б надо еще больше покрыть; а похвалишь С, то Д следует опять-таки выделить особо. Все взвешивается мгновенно на чутких, точных, хотя и нематериальных весах, и сразу предъявляется претензия. Кроме того, существуют редакции, старики, зубры, снобы, радикалы. Как тут сохранить равновесие и популярность! Причем все равно писатели никогда не удовлетворены.

Однажды Адамович выделил строку Поплавского «Город спал, не зная снов, как Лета…», указав, что последние слова звучат точно «котлета». Остроумно. Но Борис в истерике заявил, что он опозорен навеки. «Ты не понимаешь, я поэт, и все воспринимаю иначе».

Мое уединение с критиком ему не понравилось. У Поплавского была такая черта ревности. Около полуночи он со своею девицей вылез наружу в глухой переулок, что у метро Censier Daubenton. Да, в сексуальном смысле у нас не все обстояло благополучно. Грустный факт заключался в том, что за пределами литературных дам, которые не были созданы для вульгарных отношений, на нас никто не обращал внимания. И немудрено: плохо одеты, без денег, и главное, без навыка к легкой жизни и приятным связям. А между тем Париж был полон взволнованных иностранок, приезжавших туда, чтобы разделаться со своей опостылевшей добродетелью. И нам именно этого хотелось! Но, увы, они, казалось нам, предназначались для другого сорта мужчин – удачников (что часто означало почему-то – пошляки, бездарности).

Еще одна черта восточного Гамлета: культ недотеп, мстительное презрение к удаче! Большевики, судя по дипийцам, с этим, кажется, покончили.

Но иногда мы натыкались на тревожный парадокс: удачные удачники. И талантливы, и умны, и мистически подкованы, а жар-птица им все-таки дается в руки. Тогда мы не знали, как себя вести, выдумывая разные оговорки, кидаясь от одной крайности в другую: перехамив и перекланявшись! На этом, в сущности, было основана безобразная травля в Париже «берлинца» Сирина.

Итак, Борис вышел с девицею в переулок и уселся в пустое такси Бека, дожидавшееся своего хозяина. Потом Бек мне жаловался, что они заблевали подушки в машине: «А ведь мне еще работать пришлось».

Там, на заднем сиденье, Поплавский полулежал с дамою сердца, когда я тоже выполз проветриться. Из озорства я несколько раз протрубил в рожок, мне тогда это показалось остроумным и даже милым.

Но Поплавский вдруг неуклюже, точно медведь, вывалился из такси и полез на меня, матерясь и возмущенно крича:

– Ах, какой хам… ах, какой хам…

В его страдальческом голосе были нотки подлинного отчаяния.

Мы несколько минут сосредоточенно и бесцельно боролись, он зачем-то рвал на мне ворот рубахи и даже вцепился в волосы. Наш общий друг Проценко в это время как раз освежался у забора. От совершенной неожиданности, любя нас обоих, он опешил, буквально парализованный, не зная, что предпринять… Так он мне потом объяснил свое состояние. Вино, разумеется, тоже сыграло некоторую роль.

На нашу возню из ателье высыпали другие литераторы, шоферы, дамы. Всеволод Поплавский, брат Бориса, весело картавя, вопил:

– Обожаю русскую речь…

Бек нас разнял; он потом уверял, что только из уважения к выдающемуся поэту не избил последнего за испорченные подушки. И это очень польстило Борису.

– Неужели мы когда-нибудь войдем в людное собрание как настоящие, общепризнанные знаменитости? – спрашивал он меня вполне серьезно.

Внутренне он спешил, чересчур спешил.

В те десятилетия мы много ходили. Пройти ночью с Монпарнаса к Шатле, где Поплавский тогда жил, было не только экономией, но и удовольствием. По дороге он покупал в кафе-табак полые французские свечи. Они стоили гроши, и этой мелочью я его иногда ссужал. Кстати, пустые парижские свечи вызывали

ожесточенную ругань среди наших правых «почвенников». «Смотрите, – кричали они. – Разве такая нация сможет воевать с немцами?»

С деланной грубостью Борис произносил на прощание:

– Вот ты дрыхнуть идешь, а я еще буду писать роман.

Старая квартира Поплавских – совсем близко к Halles – освещалась газом, который мать на ночь выключала не только по соображениям безопасности или экономии, но и чтобы досадить сыну – так мне казалось.

После литературных собраний мы почти всегда выходили вместе. Помню, раз Горгулов читал в «Ла Боллэ» поэму, где черный кот все хотел кого-то или что-то умять. Эту поэму Павел Бред (его литературный псевдоним) задумал как оперу и уверял, что уже нашел соответствующего композитора. Комната кафе, где висела жуликоватая доска с именами прежде здесь собиравшихся знаменитостей – Верлен, Оскар Уайльд, – квадратная комнатка буквально сотрясалась от глумливого хохота современных российских поэтов.

Председательствовал совершенно случайно Дряхлов, тогда член правления, – человек очень русский со всеми надлежащими прелестями и недостатками. Вообще на редкость бестактный и угловатый, он вдруг становился предельно нежным и природно аристократичным, когда дело касалось униженных или обездоленных. А через минуту опять скабрезно осклаблялся.

Вот он, Валерьян Федорович – мой друг, поэт, с которым мы много и зря ссорились за шахматами или Блаватской, – неистово стучал костлявым кулачком по дубовому, рыцарскому, столу, призывая собрание к порядку.

Тогда Горгулов поднялся во весь свой богатырский рост, и сидевшие близко испугались: гигант, тяжеловес,

вот-вот схватит длинную скамью и начнет крушить – мокрого места не останется!.. И в то же время смешно: этакая несуразность! Образцовая физическая машина, а в мозгах явная недохватка. Ну, зачем он пишет поэмы?

В эту ночь Поплавский, Горгулов и я долго бродили по Тюильери. В Париже была такая черточка – немедленно завоевать нового человека! Особенно старался всегда Борис.

Горгулов окончил медицинский факультет в Праге – он был несколько старше нас – и, естественно, старался получить у меня ценную информацию относительно практики для иностранцев, госпиталей и экзаменов. В собственном литературном призвании он не сомневался, а наши заслуги игнорировал.

Некоторые его вопросы, впрочем, сбивали меня с толку.

– Кто здесь делает аборты? Какие у вас девочки? Почему сегодня хорошеньких не было?

Увы, мои ответы его явно не удовлетворяли. Становилось как-то очень грустно: чужая формация, нам не о чем разговаривать. Вдруг Поплавский резко остановился под лучшею аркою Парижа – Карусель – и начал облегчаться. За ним, сразу поняв и одобрив, Горгулов и я. Там королевский парк и Лувр со всеми сокровищами, а над всем хмурое небо неповторимого рассвета – пахнуло вдруг полем и рекою… А трое магов, прибывших с Востока, облегчались в центре культурного мира. Наш ответ Европе: лордам по мордам.

Поплавский был гениальным медиумом и легко подпадал под влияние чужих лучей, вибраций. Он бессознательно и точно оценил Горгулова и сразу сдался.

Силы у Горгулова не переводились, но куда их девать – вот вопрос. Через несколько месяцев он застрелил президента республики, невинного и седовласого старца Думера.

Бывало, слоняясь по историческим фобургам, мы старались понять, как чувствовали себя «аристо», когда их везли по Парижу к гильотине. И вот случилось: член парижского объединения писателей и поэтов всходит на высокие мостки. Карьера противоположная, но по блеску почти равная карьере Сирина-Набокова.

Толпа на бульваре тихо, но взволнованно рокотала; бистро были открыты всю ночь. Раздраженный и раздражающий смех грубо накрашенных женщин, не разберешь, кто шлюха, а кто дама общества. Грубоватые окрики озабоченных корсиканцев, гадающих о собственной неясной судьбе. Атмосфера торжественности, как в церкви, и азарта, точно на скачках.

Уже светало, когда с ним покончили. Издалека, по движению ставшей одним телом толпы, можно было догадаться, что не все протекает в соответствии с расписанием. Последние минуты тянулись немыслимо долго… Кругом шепотом объясняли, что нож заело, что надо начинать сначала. Но наутро газеты объяснили; крупное тело Горгулова не умещалось в ложе гильотины… Шея казака не влезала в раму под нож.

Как-то недавно в нью-йоркском госпитале мне пришлось укладывать отказавшегося после операции дышать тяжелого грузчика в «искусственные легкие» для автоматического дыхания. Никак не удавалось втиснуть это гигантское тело в нечто отдаленно похожее на станок гильотины. Тогда я вспомнил моего современника Горгулова. Дело в том, что наши аппараты, инструменты – в казни и спасении равно – увы, рассчитаны только на «среднего» человека.

Горгулов умер среди толпы чужих, на манер Остапа Бульбы («Слышишь ли ты меня, батько?»). В другое время, под иными звездами, в знакомой среде из него вышел бы, пожалуй, герой.

Если современное общество допускает возможность преступлений, за которые главным образом

ответственны условия существования, детство, родители, болезни, то тем паче это должно быть верным по отношению некоторых подвигов. То есть надо прямо сказать, что многие герои не заслужили ни награды, ни почета, ибо на этот славный путь их тоже поставили «объективные условия». Или человек лично ответствен за все свое дурное, или он и похвалы не всегда лично заслуживает!

Говорю это в связи с русской историей последних ста лет: какая героическая эпоха! Что ни юноша, то революционер, то святой, жертва, светлый мученик. Ведь они все шли на каторгу – за идеи, за народ… Те самые, что сейчас бегают по Нью-Йорку, стараясь перебить друг другу аванс под новый казенный «прожект». Бывшие подвижники превратились в нечто похожее на подрядчиков времен Крымской войны, о которых так проникновенно писал ужасный Салтыков-Щедрин.

– Подметки на ходу срезают! – восхищенно объяснил один дипиец, тоже с крепкими локтями. – А ведь считались деликатными интеллигентами.

Кто знает, может, действительно, иногда решает время, эпоха, эон, а не усилие отдельного человека, особенно если последний отнюдь не оригинален и поддается влиянию моды.

Весна и осень в Европе прекрасны, в Париже и лето порою чудесно, вопреки угару и зною. Поплавский даже воспевал это застывшее пекло. Мы бродили по рынкам и бульварам, исполненные юношеского восторга, в поисках идеального воплощения подвига и греха.

Поплавский вдруг увлекся православной службою. Он не следовал за модою, а сам ее устанавливал. Постился, молился, плавал и поднимал тяжести до изнеможения, хлопотал над гимнастическими аппаратами, убивавшими плоть, но и, о, чудо, развивавшими мышцы. Он сочинял для себя нечто похожее на вериги,

а пока приходил на Монпарнас, щелкая трудной машинкой для ручных упражнений. Проговел всерьез весь Великий Пост, так что его даже в кафе почти не видели.

– Фу ты дьявол, – отдувался он удовлетворенно. – Это тебе не латинские книксены – отстоять русскую службу.

Тогда уже все увлекались парижской школой православия, как несколько позднее кинулись в масонство. Был такой поэт Пуся, или, вернее, Борис Закович – друг, ученик, раб Поплавского и автор нескольких волшебных стихов (ему Поплавский посвятил свою вторую книгу стихов – щедрый дар верному спутнику). Когда я называл Заковича Пусей, тот твердо возражал, что было смешно, ибо казался он существом музыкально-уступчивым, из ртути, что ли:

– Для вас я не Пуся, а Борис.

Пуся играл прескверно в шахматы, а так как бесплатно я не играл с бездарными противниками, то он и проигрывал изрядные по тогдашним понятиям суммы и – часто отказывался платить, ссылаясь на Поплавского:

– Боб сказал, что я не должен платить, нечестно играть со мною на деньги!

Вот Закович тоже тогда увлекся литургией Василия Великого, что не помешало ему вскоре вступить в масонство вместе со многими другими литераторами.

Поплавского масонство всегда волновало и притягивало; он проповедовал, что мы живем в эпоху тайных союзов и надо объединяться, пока не наступила кромешная тьма. Но «генералы» ему не верили – характер неподходящий! Во всяком случае, несмотря на все хлопоты и истерики, в масоны его не пропустили. Пусю приняли вместе с десятком других энтузиастов.

Софиев и Терапиано еще до того числились вольными каменщиками разных толков. Осоргин собрал

ложу, кажется, Северных братьев. Теософы, антропософы имели свои ячейки. Понемногу все объединились: архиправые кинулись в ложи, надеясь изнутри овладеть Троей. (Во Франции, разумеется, масонство вполне легальная организация.)

Говорили, что недавно приехавший в Париж берлинец «лезет» во главу русского масонства, в чем ему будто бы помог Авксентьев. Все это ужасно волновало Поплавского, и вероятно тогда он начал принюхиваться к кокаину. Отец Пуси был дантистом и после смерти оставил множество каких-то подозрительных пакетиков.

– Может, он не был простым дантистом, – с прекрасной, задумчиво-злой усмешкой, невесело объяснял Борис.

Кроме того, он еще неудачно влюбился. Барышня уезжала в Союз к своему жениху, но перед отъездом еще почему-то уединялась с Вильде, что чуть не привело к дуэли.

Фельзен и я тогда организовали издательство при нашем – молодом – Объединении. Мы устроили выставку книг зарубежных изданий: продажа, ежегодная подписка и входная плата по замыслу должны были обеспечить издание новых книг.

Поплавский вручил нам рукопись своего романа «Домой с небес», надеясь, что мы его издадим. Он писал бурной, размашистой лирической прозой большого поэта, со всеми преимуществами и недостатками такой манеры (от Андрея Белого до Пастернака включительно).

Когда на Монпарнасе ругали редакционную коллегию за то, что мы в первую очередь издаем свои книги («Письма о Лермонтове» и «Любовь вторая»), Поплавский неизменно нас защищал, повторяя громко и внятно:

– А что, они не писатели, что ли?

Потом приходил на выставку и ругал этих «зануд».

Но все же мы не могли поднять его романа, слишком велик и не окупится подпиской. Вместо «Домой с небес» мы в следующий год выпустили Агеева «Роман с кокаином». И это было для Поплавского предательским ударом.

Теперь мне просто непонятно, как это мы отвергли его рукопись по экономическим причинам! После гибели Поплавского его литературным наследством ведал Татищев, всячески, казалось бы, старавшийся издать роман, что ему, однако, никак не удавалось; психоанализ объяснил бы это бессознательным «блокированием», торможением. Во всяком случае и мы с Фельзеном книги этой не «подняли».

Интересно еще следующее… Приблизительно в это самое время Фондаминский, похоронив супругу, решил организовать «Круг» – нечто вроде литературно-философско-религиозных бесед, соединив впервые силы уже подросшего нового поколения с начинающими стареть интеллектуальными бонзами эмиграции. Фондаминский усердно советовался с нами, составляя списки приемлемых членов, встречаясь со многими из нас отдельно и группами… Он расспрашивал, сравнивал отзывы, сверял и, наконец, принимал решение в соответствии с общим впечатлением.

Вот тогда же мы все, в одиночку и коллективно, дали Поплавскому такую рекомендацию, что он в «Круг» не попал. Вероятно, впоследствии в разгаре встреч он все-таки был бы принят, слишком уж вся эта стихия была ему конгениальна. Но факт все-таки остается: вначале мы его не пригласили, забраковали. Осенью того же года Борис умер.

Притча о камне, отвергнутом строителями, одна из самых «экзистенциальных» в Евангелии. О ней придется вспомнить опять… Когда «Круг» удачно просуществовал два сезона, зародилась мысль выделить некое

ядро «Круга», внутренний центр в духе, скажем, нового ордена. Кружок этот должен был связать людей, жаждущих не только разговоров, но и готовых актом закрепить свои чаяния и верования. При этих условиях дружба, даже любовь между членами ордена казались обязательными.

Но когда предложили кандидатуру Вильде в этот внутренний «Круг», то вдруг раздались возражения… Говорили, что характер у него неясный, темный, надо сперва выяснить, что да как – не капитан ли Копейкин!..

Эти возражения были выдвинуты единственный раз и по отношению к единственному человеку из нашей среды, ставшему вскоре вождем французского резистанса и погибшему в активной борьбе со злом.

Два скверных анекдота! И они меня многому научили… Вильде мы, впрочем, тогда приняли в содружество. Мне и Варшавскому, кажется, было поручено инициативной группой встретиться с ним и «выяснить» все. Что мы могли выведать? Не потенциальный ли он предатель, оппортунист?

Мы выполнили наказ, честно посидели в неурочный час, выпили что-то и «прозондировали» почву. В результате нашего доклада, на квартире Фондаминского, Вильде был принят во внутренний «Круг». Но об этом после.

Весною я вдруг, манкируя экзаменами, начал писать рассказ о дьяволе, формально о шахматах. Отправил свое произведение в «Современные записки» и тотчас уехал в Кальвадос, как мне чудилось, на вполне заслуженный отдых: плавание и велосипед до изнурения меня потом поддерживали всю зиму!

В августе я получил письмецо от аккуратнейшего В. В. Руднева вместе с моею, уже потерявшей девственную свежесть рукописью «Двойного нельсона». Рассказ недостаточно хорош для «Современных записок».

Руднев был честнейшим, милейшим, добрейшим русским интеллигентом, дворянином, земским врачом и эсером. Как почти все из этой среды, он мало смыслил в искусстве и не высказывал суждения о живописи или стихах. Но проза казалась ему делом простым и не хитрым. Вообще литература в России ведь только придаток, аппендикс к другим силам, ведущим борьбу с произволом. И этот честнейший зубр занимался редактированием единственного в эмиграции толстого журнала. Из других редакторов только поэт М. Цетлин был на своем месте.

Несколько лет спустя мне удалось поместить этот рассказ в «Русские записки». Тогда Ходасевич при памятных для меня обстоятельствах пригласил меня к себе для беседы. Он относился серьезно к своим обязанностям критика и считал нужным выяснить некоторые темные места, прежде чем писать статью для «Возрождения». Узнав, что «Современные записки» мне когда-то вернули «Двойной нельсон», он пришел в бешенство.

– Ну, зачем они берутся не за свое дело? Ну, зачем они берутся не за свое дело! – повторял он с отвращением.

Я знаю, что в разное время Ходасевич писал нежные письма и Вишняку, и Рудневу, а может быть, и Милюкову. Он, вероятно, начинал так: «Дорогой НН…» и завершал: «Уважающий Вас В. Ходасевич». Но заключить отсюда, что поэт любил этих общественных деятелей или уважал их, могут только очень ограниченные люди.

Гнев его в ту пору был направлен, главным образом, против Вишняка. Впрочем, на последнем вымещали почему-то злобу многие, словно он один или в первую очередь он был ответствен за все исторические пасквили нашей эпохи. А это, конечно, неверно. Есть такие

существа, которые без особых причин кристаллизуют вокруг себя весь общественный гнев. Я встречал множество вдумчивых людей, которые относились к Российскому Учредительному Собранию с яростным презрением только потому, что М. Вишняк отождествляет себя с этим благородным, но почти мнимым учреждением.

Итак, я получил назад в Кальвадосе рукопись своего рассказа, – точно щелчок по носу. Я очень ценил «Двойной нельсон». Адамович и Ходасевич потом на редкость единодушно и безоговорочно его похвалили. И поэтому я впервые в своей жизни написал редактору, жалуясь… Знают ли эти «принципиальные» герои, что они делают? В нашей фантастической действительности одобрение, признание могут иногда спасти писателя даже от самоубийства. «Творчество в эмиграции не имеет ничего общего с тверским земством!»

Вернувшись в Париж к началу сентября, я в следующее же воскресенье очутился у шоферского кафе, рассчитывая встретить друзей, по которым соскучился. Но оказалось, что многие еще в отъезде или отвыкли ходить сюда за лето. Экономя, я решил не усаживаться за столик. Поплавский меня проводил до дверей. Я тогда заметил, но только потом сообразил, его неестественную бледность. Лицо серое, как гречневый блин, с темными, узкими, неприятными усиками, которые он себе вдруг отпустил.

Он был молчалив, сдержан, как-то непривычно солиден. «Числа» больше не выйдут. «Современные записки» ему вернули роман. Впрочем, он теперь интересуется спиритизмом, во вторник, кажется, во вторник, он приглашен к одной даме на сеанс. Если я хочу, могу с ним пойти.

– Зайди ко мне к пяти часам, – были его последние слова. – Погуляем еще до того.

На этом мы расстались: он застыл у порога – бледная маска с усиками инка или ацтека как бы висела на высоте человеческого роста.

Позже я сообразил, что это, вероятно, наркотики так преобразили и цвет, и состав его тканей. Помню мертвенно-неподвижно-гладкую кожу лица, без очков.

Игра Поплавского с наркотиками не случайность, началась она очень рано. Его всегда тянуло к прекрасному сну или прекрасному злу. Зло – сон, сон – прекрасен. Его отталкивали грубые безобразия жизни; действовать в жизни – значит, безобразничать. Борьба с уродством жизни приводит также к умножению уродства. Ах, уйти, уйти. Повесть о дьяволе – трудная литература. И Поплавский это знал как никто лучше. Дьявол прекрасен, а красота – омут. Да, хороши святые! Но именно благодаря ревности дьявола.

– Вообще хороши матросы, но не будем говорить о них, – повторял он с восторгом строку из своего любимого «стоика» Гингера.

Смерть неизбежна и прекрасна, даже если она зло. Будем умирать как новые римляне: в купальном трико, на камнях у бассейна с заправленной хлором водою, заснуть, улыбаясь сквозь боль. (Возвратимся к знакомым снам.)

Я иногда встречался с Борисом у общих друзей – Проценко, Дряхлов. Там мы, бывало, закусывали, пили вино, играли в белот или шахматы, спорили, ругались, шельмуя друг друга. Вообще агапы эти протекали гораздо приятнее, когда одного из нас, Поплавского или меня, не было. При разных обстоятельствах я видел его пьяным.

Иные, опьянев, чувствуют смертную истому и всячески сопротивляются, часто даже безобразно… Вздыхают, стонут, бегают в уборную, кланяются подоконникам, суют себе палец в рот, поднимают, как выразился бы Поплавский, метафизический гвалт.

Другие застывают в мертвом покое, сдаются сразу, покорные и по-своему прекрасные – на полу, в кресле, под стеною!

Не двигаясь, не ропща, почти не дыша; и такие же они в агонии. Поплавский принадлежал к последним.

Во вторник я не пошел на спиритический сеанс, а ведь если бы не забыл, то все могло бы получиться иначе.

Поплавский тоже, по-видимому, передумал. Вместо эзотерической дамы встретился с новым другом, отвратительным русским парижанином, продававшим всем, всем, всем смесь героина с кокаином и зарабатывавшим таким образом на свою ежедневную дозу наркотиков. Говорили, что этот несчастный давно собирался кончить самоубийством и только ждал подходящей компании. Есть такая черта у некоторых выродков – захватить попутчика. Для этой цели он только удвоил или утроил обычные порции порошков.

Не думаю, чтобы Борис подозревал о предстоящем путешествии. Он был все-таки профессионалом и в последнюю минуту вспомнил бы о дневнике или незаконченной рукописи.

Под вечер они явились вдвоем на квартиру Поплавских (семья жила тогда рядом с русским земгором, где, кстати, в каморке ютилась редакция «Современных записок»). Вели себя несколько странно, возбужденные, раздраженные. То и дело выходили наружу в уборную и возвращались опять веселые, обновленные. Старики спокойно улеглись спать и больше ничего не слыхали. Наутро нашли два остывших тела.

В «Последних новостях» появился портрет Бориса. Тогда я впервые понял, что наша жизнь тоже является предметом истории, не только бородинское сражение, и подлежит тщательному изучению, так как и о ней могут быть два мнения.

Когда я пришел на квартиру покойного, там уже собрался народ; Шаршун и Кнут рылись в кипе бумаг, подобные навозным жукам. Старик Поплавский, желтый, опухший, с расстегнутым воротом рубахи, зачем-то поднимал высоко к окну старые штаны сына, показывая присутствующим, как они просвечивают. Потом я узнал, что он и другим демонстрировал эти брюки, словно некий метафизический аргумент.

Затем были похороны с огромным ворохом дорогих цветов: розы, действительно, пахли смертью. В русской церковке нельзя было протолкаться. Барышни рыдали; многочисленные иноверцы стояли с напряженными лицами. Поплавский любил евреев и умел, подражая Розанову, пококетничать на тему Христа, крови и обрезания.

Служил о. Бакст – кажется, из протестантской семьи. Он произнес «резкую и бестактную» проповедь, клеймя кокаин, что возмутило некоторых девиц, и они попытались демонстративно выйти из переполненного храма. Особенно гневалась та, что, по словам покойного, питалась его экскрементами.

О. Бакста я во время войны встречал в Марселе. Ему я приношу благодарность за мирный чай и нежную русскую беседу в осажденном варварами мире! В воскресенье 22 июня 1941 года после литургии милые соотечественники в Марселе, как и в Ницце, целовались, поздравляя друг друга с пасхою духа.

Смерть Поплавского хоть и закономерна, но совсем не характерна для него, тут возможны были разные варианты. Продолжались бы «Числа» или замышлялось бы другое способное увлечь дело, Борис бы не погиб. С той же легкостью он через год уехал бы в Испанию. А под немцами безусловно подвизался бы в резистансе, со взлетами и метафизическими истериками, может быть, с падением вроде Червинской…

Он оставил несколько прелестных стихов, но ценность Поплавского не исчерпывается ими. Он написал десяток страниц вдохновенной прозы, но и романы его – не все! Поплавский имел «некое видение» и силился его вспомнить, воплотить, часто путаясь, отчаиваясь и прибегая к лживой магии. Больше, пожалуй, он себя выразил в статьях типа «Христос и Его знакомые» и, конечно, в бесконечных, бессмертных, разговорах.

Еще теперь, четверть века спустя, в блестящих импровизациях некоторых зарубежных примадонн я все еще нахожу крупицы того золотого песка, который так щедро, небрежно и назойливо рассыпал Борис Поплавский.

II

Laissons les belles femmes aux hommes sans imagination.

M. Proust

Оставим хорошеньких женщин мужчинам без воображения.

М. Пруст (франц.)

Юрия Фельзена – псевдоним Николая Бернгардовича Фрейденштейна – я встретил впервые на собрании «Кочевья», в пору расцвета этого кружка, то есть в конце НЭПа и двадцатых годов.

До чего ошибочным может оказаться первое впечатление! Даже наружность его при более интимном знакомстве и с годами менялась к лучшему, несмотря на то, что краски серели… Вот он сухой, похудевший, сутулясь доброжелательно слушает собеседника, никогда не теряя себя или контроля над своими мыслями. В его костлявых, но крепких пальцах дешевый мундштучок

с вечной голуаз жон. Если бы потребовалось одним словом или одной фразой определить его сущность, то я бы сказал – нечто обратное предательству. Как по отношению к ближнему, так и к себе.

У него развивалась какая-то болезнь спинного хребта, вернее, связок позвонков, так что он слегка согнулся хордою и не мог уже целиком выпрямиться, что подчеркивало его барственную неподвижность и вежливую внимательность.

Свой первый рассказик Фельзен напечатал, кажется, еще в «Новом корабле» и раза два читал это произведение на собраниях: разворачивал перед собою аккуратно завернутый в газету журнальчик и внятно, четко, спокойно, однако с большим внутренним жаром оглашал синтаксически странные, искусные фразы.

Писал он о любви, сдобренной самоубийственной ревностью, и в этом смысле плелся в хвосте Пруста; но связь с последним дальше не шла. Хотя предложение Фельзена было длинное и трудное, но прустовское постоянное сравнение предметов одного ряда с явлениями совершенно другого ряда у Фельзена отсутствовало; мир его был линейным. Вот его типичная фраза: «Леля во мне перестала нуждаться, и вся ее дружественность исчезла, как раньше – с концом любовного раздвоения и совестливой борьбы за меня – исчезла ее раздражительность: я оказался попросту лишним и – трезво это понимая – к ней, по слабости, не мог не приходить, а Леля, упоеннорадостно-щедрая, мне дарила, словно подаяние, свое столь живительное присутствие».

Я упоминаю о Прусте потому, что Николаю Бернгардовичу часто приходилось туго от этого своего стилистического (типографского) сходства с любимым, великим и модным писателем. Так, улыбаясь, он рассказывал: в Союзе молодых писателей (Данфер Рошро) после чтения Фельзена выступил Г. и заявил, что это

сплошной Пруст! А несколько лет спустя Г. сознался ему, что в ту пору еще Пруста не читал.

Вообще о Прусте в конце 20-х годов слагались легенды, но читали его немногие. Так во время русско-японской войны валили все на подводные лодки, которых еще никто воочию не видал.

Проза Фельзена без красок: серый рисунок, острым карандашом… Скучная отчетливость. Поплавский выразился: «Кто может выслушать целый концерт для одной флейты!» Для такого рода литературы надо было локтями расчищать дорогу. И Фельзену в этом чудесным образом помогали разные часто враждебные друг другу влиятельные люди. Адамович, Ходасевич, Гиппиус, Вейдле. Все они старались хоть раз в год похвалить его, даже чрезмерно. Что казалось иногда несправедливым! Любопытно, что со времени падения Парижа и гибели Фельзена никто из оставшихся в живых маститых критиков ни разу не посвятил статьи его романам, это даже неприлично, принимая во внимание предыдущие комплименты. Думаю, что главный талант Фельзена, не выраженный в книгах, заключался в его умении вызвать к жизни в собеседниках их лучшие черты характера. Великая и редкая человеческая способность. И мы все бессознательно были ему за это благодарны.

Практичный, умный и зоркий, он всегда честно разыгрывал свои карты, не упуская ни одной взятки, или, по крайней мере, так чудилось.

В бридж он играл лучше всех нас, в шахматы совсем слабо. Благодаря картам он свел и помирил таких исконных врагов, как Адамович и Ходасевич. Было особенно приятно иметь его своим партнером против любых противников, даже профессионалов. В чем тут секрет?

Ходасевич за картами обычно нервничал, кривился, ерзал, когда его партнер ремизился. А Фельзен всегда

торжествующе сиял, точно напроказивший гимназист, ускользнувший от наказания, и собирал взятки; только в конце, чтобы подразнить, скажет:

– Главное, я выиграл совершенно без карт. Никогда еще такая дрянь не лезла в руки.

Подчас он выглядел первым учеником, которого все преподаватели одинаково хвалят. Но это была только внешность. Независимый, во многом упрямый, осведомленный, трезвый и честный даже в мелочах, когда требовали обстоятельства, он умел отличнейшим образом отстаивать свое мнение, часто сероватое на фоне наших пышных мифов, без компромиссов, и отвечал, пусть символической, но все же пощечиной, на каждый хамский тумак поднимающего уже свою рудиментарную голову древнего гада.

Фельзен, сын петербургского врача; в 1912 году, очень молодым, он окончил юридический факультет. После Октября семья переехала в Ригу, где отец продолжал свою врачебную практику. Дядя Николая Бернгардовича был владельцем портняжного магазина в столице; там шили блистательные мундиры для золотой молодежи. И эти клиенты дяди сыграли, мне кажется, решающую роль в формировании Фельзена.

Сам он в эмиграции занимался коммерческими сделками; сперва в Берлине, удачно, потом в Париже, с меньшим успехом, вероятно, уже литература мешала.

Почему-то компаньоны часто обкрадывали Фельзена. В Париже он бегал на биржу, но без особого толку, потеряв на какой-то трансакции весь капитал. К счастью, один из вышеупомянутых компаньонов женился на сестре Николая Бернгардовича, в их доме Фельзен мог отныне бездонно, беспошлинно обретаться.

Биржа и западная коммерческая деятельность наложили особую печать на его творчество: смесь получалась

новая, по русским понятиям необычная. Деловая порядочность в Фельзене переключалась в личную и литературную.

Упоминаю об этом еще и потому, что гибель его находилась в какой-то связи с темными аферами его друзей и родственников. Разумеется, лучше всего об этих делах могла бы поведать сестра покойного или ее супруг, ныне, кажется, благополучно проживающие в Швейцарии или в Италии; во Францию они не вернулись, опасаясь суда и следствия.

В романах Фельзена герой, привыкший к хорошей жизни, продолжает подвизаться на коммерческом поприще, но без особой удачи; он влюблен – из книги в книгу – все в ту же нестареющую Лелю (предмет постоянных шуток на Монпарнасе).

Портрет этой Лели – «чистая химия», с гордостью объяснял он. Иначе говоря, к основному типу, проживающему в Риге, были прибавлены черты разных других дам, с которыми судьба сталкивала автора.

Серия его произведений должна была по замыслу составить один роман. Фельзен искал и не мог найти объединяющее заглавие, по удаче равное «A la Recherche du Temps Perdu»[4]. Кроме этого творческого занятия было у него еще одно – влюбляться. И в своих личных романах он постоянно повторял ту же ситуацию – страдающей, ревнующей жертвы. Подобно Прусту, его сладострастно влекло к такого же рода мукам, и он смаковал роль свидетеля, из угла в гостиной наблюдающего за «Лелей» – как она любезничает с другими самцами.

Основную, первую Лелю, мы встретили на Монпарнасе, когда она приезжала в Париж. Она потом погибла от рук наци в Риге, что, разумеется, придает ее

[4] В поисках утраченного времени *(франц.) – название романа М. Пруста.*

облику новое измерение. В «Доминике» она мне показалась несколько крупной дамой с «выигрышными» ногами, по выражению Фельзена, о которой можно только утверждать, что она хорошо сложена, практична и, по-видимому, с характером… Тайна личности, успеха сказывается в творчестве, страдании и в любви! Эта тема одинаково интересовала Фельзена и меня, и мы часто вдохновлялись ею.

Собственно, в таких интимных беседах и заключалась главная прелесть общения с Николаем Бернгардовичем. С Поплавским хотелось спорить, ругаться, а уйдя, в виде мести создать новый мистический вариант вселенной. С Фельзеном, наоборот, конкретный, тихий обмен мнений порождал немедленный, самоокупающийся духовный уют.

Слушая его рассказ, казалось естественным вспоминать нечто похожее, параллельное, из своего прошлого и сообщить ему. А Фельзен умел слушать, все понимая. Не на лету, не с полуслова, а задавая дельные, точные вопросы: подумает и кивнет головой – приняв это, укладывая в ряд с личным опытом.

В 30-х годах мы с ним встречались почти ежедневно. Я только что закончил «Любовь вторую»; отрывок под заглавием «Преображение» напечатали «Современные записки». На этом мои отношения с ними как будто прервались. Как издать книгу?

Между тем Париж ликовал, празднуя вместе с Буниным его Нобелевскую премию. Иван Алексеевич пил шампанское с утра: особый хмель – не без отрыжки. Вера Николаевна, уезжая с мужем в Стокгольм, заявила при свидетелях:

– Вот верьте мне, чует сердце: я еще раз поеду туда за этой премией!

(Предполагалось, что Зуров станет вторым лауреатом.)

А печататься нам все-таки негде было. Тогда это казалось главной препоной для нормальной писательской

деятельности. Теперь ясно, что эмигрантская литература гибнет из-за отсутствия культурного читателя.

Наши книги продавались во все русские лимитрофы, но мы не умели использовать этого преимущества. Халатность авторов и жульничество издателей доконали рынок. Вот тогда у меня мелькнула «наполеоновская» идея. И партнером для осуществления замысла я избрал Фельзена. Он тоже к тому времени закончил свои «Письма о Лермонтове» и понял меня сразу до тонкости.

Предполагалось организовать выставку зарубежных книг: издательства охотно предоставят нам экспонаты и соответствующий товар для дешевой распродажи. А мы проведем среди посетителей подписку на будущие издания… За десять франков они к концу сезона получат одну, две или три вновь изданные книги – в зависимости от числа пайщиков, ибо вся собранная сумма пойдет на расходы по печатанию.

Фельзен вполне оценил этот план, но по-своему, практически. В то время как я нажимал главным образом на подписку и жертвенный порыв, он интересовался преимущественно входной платой и процентом с продажи.

– Все хорошо, но где взять приличное помещение, и бесплатно?..

У меня и это было подготовлено. Музей Рериха. Там собирался раз в неделю «Пореволюционный клуб» кн. Ширинского-Шихматова. Выставка зарубежной литературы в общем послужит хорошей рекламой для музея: он стоял пустой круглый год, увешанный тибетскими полотнами художника. Рерих в эти годы хлопотал о создании чего-то подобного Красному Кресту в защиту произведений искусства. Сотрудничество с зарубежными писателями могло помочь делу музея. Но это, конечно, только в том случае, если наша выставка не будет носить характера частного предприятия.

Мы решили действовать от имени Парижского Объединения Писателей и Поэтов. И получили для этого соответствующие полномочия. Была создана Издательская Коллегия в составе Фельзена и меня. Три книги, изданные в ближайшие два года и разосланные подписчикам, носили марку этой Коллегии.

В продолжение всех последовавших деловых передряг – подготовлений, ликвидации – мы с Фельзеном проводили вместе иногда целые дни, недели, месяцы. И надо отметить совершенное отсутствие обычного в таких случаях взаимного раздражения.

Ум его – всегда ясный, житейски мудрый и положительный, особенно в мелочах: Фельзен поражал и радовал своим savoir faire[5]. Когда в ресторане я заказывал курицу, а на первое просил суп, Николай Бернгардович меня наставлял:

– Возьмите лучше hors-d'oeuvre![6] Курицу дают четвертушку, надо же чем-нибудь насытиться.

И хотя впоследствии мне случалось попадать в рестораны, где дают целого каплуна, но все-таки по сей день я выбираю еще «закуску».

В субботу ночью на Монпарнасе народ иногда выпивал лишнее и ссорился, кое-кто лез в драку. Фельзен в таких случаях выступал в роли миротворца:

– Я тут командую, – заявлял он решительно, оттесняя спорящих.

И так как его многие любили и почти все уважали, то это действовало:

– Да, да, Николай Бернгардович, вы решайте…

И он творил соломонов суд к общему, казалось, удовлетворению. Однако раз новый человек, приведенный Кнутом на Монпарнас, капитан парусного судна, неожиданно возразил:

---

[5] Умение жить *(франц.)*.

[6] Закуска *(франц.)*.

– Нет, вы здесь не командуете.

И вся многолетняя постройка Фельзена рухнула на манер карточного домика: все опешили…

Мы опять вернулись в «Доминик»; потасовка происходила на тротуаре у метро «Вавэн». Заказали по рюмке горькой в утешенье. Фельзен молодцевато опрокинул вверх дном стопку и лихо подмигнул… Осторожно закусив, он посмеиваясь начал мне объяснять всю несуразность происшествия, и я, едва ли не больше всех пострадавший, с хохотом внимал этой воистину смешной истории.

Некий полумеценат и полудатчанин, знакомый Фельзена, прикатил в Париж с молоденькой и стопроцентной розововолосой датчанкой. Спор разгорелся оттого, что меценат, нагрузившись, пожелал наконец увезти эту девицу в отель. Но вышеупомянутый капитан и его друг Куба решили, что нельзя отпустить такую прелестную блондинку, вдобавок сильно выпившую, одну с этим полупавианом!

– Подумайте, – посмеивался Фельзен, неохотно ковыряя вилкою в остатках русской селедки. – Подумайте, ведь он ее привез из Копенгагена, они живут в одном номере… Ну не чушь ли это!

У него было особенно развито чувство уважения к «правилам игры». Regles du jeu, Rules of the game[7], ему представлялись автономными ценностями: нарушение этих законов приводит к сплошному безобразию!

На Монпарнасе сплошь и рядом возникали критические положения. Часто надо было кого-то «спасать», выкупать, примирять. То Иванов попался на «трансакции» с Буровым, то Оцуп угрожает пощечиною Ходасевичу, то Червинская разбила несколько чашек и блюдец в «Доме»… Чтобы урезонить Лиду Червинскую, иногда

---

[7] Правила игры *(франц.; англ.)*.

требовалось выяснить все отношения, на что после полуночи были способны только люди с железным здоровьем.

Так, раз я наткнулся на Фельзена в темном проулке возле «Монокля» или «Сфинкса»: он тащил за руку упирающуюся поэтессу и, узнав меня, присел на завалинке… С трудом перевел дыхание, затем спокойно, ожесточенно сказал:

– Я больше не могу! Я решительно больше не могу! – и, не дожидаясь ответа, скрылся в тени, словно унесенный предутренним вихрем.

Помню, как, зайдя в «Дом» по личным делам, я вдруг наткнулся на сцену, которую нетрудно было сразу оценить по достоинству: груда посуды на полу, гарсоны в угрожающих позах, а высокая, сутулая Червинская, похожая на Грету Гарбо, стоит у пустого столика, точно дожидаясь приговора.

Заикаясь, я немедленно объяснил, что это все очень легко уладить. Без денег такой поступок с моей стороны граничил с геройством. К счастью, Куба, прятавшийся где-то сзади и виновник припадка Лиды, подскочил и вручил нам требуемые франки.

О русском Монпарнасе слагались легенды. На самом деле жизнь там протекала на редкость пристойно и даже скучно, если не считать основного развлечения: страстные, вдохновенные беседы.

Обычно литераторы просиживали до последнего метро за одной чашкой кофе. Иногда, пропустив последний поезд, шли в «Доминик». Там нас встречал коренастый Павел Тутковский, с которым я объяснялся отчасти по-латыни, используя все знакомые пословицы. Тутковский, юрист старой русской школы, знал и любил латынь.

– Вита ностра бревис эст[8]! – скажешь ему для начала.

[8] Наша жизнь коротка *(лат.)*.

– Бреви финиатур[9], – охотно поддержит он. – Прикажете той самой?

Люди с деньгами заказывали водку. Смоленскому случалось выпивать за счет дам. Но даже при средствах неловко было напиваться, если рядом сидит голодная душа, а такие у нас бывали. Нагружались систематически только слабые и безобразники да кое-кто из дам.

Милейшая Марья Ивановна, жена Ставрова, любила повторять:

– Вот говорят, что на Монпарнасе происходят оргии, – тут она презабавно кривлялась, подражая воображаемым сплетникам. – Ну, переспят друг с другом, подумаешь, оргии!

И действительно, ничего противоестественного на Монпарнасе не происходило, жизнь протекала на редкость размеренная и высоконравственная, по местным понятиям.

Чтобы прожить, надо было как-то работать… А писать! Тоже каторжный труд, особенно прозу. Некоторые еще бегали в Сорбонну.

– Я не знаю, когда я пишу стихи, – брезгливо морщил свое лицо утопленника Иванов. – Я их пишу, когда моюсь, бреюсь… Я не знаю, когда я пишу стихи.

Увы, прозаики знали, что для этого требуется определенное место и время; страдали от ненормальных условий.

Обычно Фельзен с дамой приходил на Монпарнас попозднее, они где-то обедали с водкой и чувствовали себя отлично.

– Вы до или после? – шутливо осведомлялся я.

Они отвечали, посмеиваясь:

– После, после.

---

[9] Вскоре закончится *(лат.)*.

Кругом разговор о разбойнике на кресте, о Блоке, перемежался очередной литературной сплетней; за соседним столом разместились бриджеры и просят не мешать.

– Почему вы даму не взяли? – желчно осведомляется Ходасевич.

– А чем ее возьмешь, пальцем, что ли? – голос Яновского.

Адамович торопится между двумя сдачами рассказать про свой недавний сон… Играет будто бы в бридж против Милочки и Романа Николаевича, раскрывает карты, а там одна сплошная масть со всеми онерами! Сердце стучит, как перед большим шлемом, но вдруг он замечает, что масть эта совершенно незнакомая, зеленого цвета, и неизвестно, какую следует назначить игру…

– Ха-ха-ха, ну давайте играть, – нервничает Ходасевич.

То, что эти славнейшие эмигрантские критики сидят рядом за мирной партией в бридж, следует рассматривать как некое чудо. И совершил это чудо – Фельзен: он свел обоих врагов!

Причин для исконной вражды было много: метафизических и практических… Разные литературные школы, разные биографии, разные темпераменты, вкусы.

На основе своих теоретических размышлений Адамович должен был бы установить очень почтенную иерархию ценностей: самое главное, скажем, евангельская любовь, затем философия или наука, потом игра, секс, наконец, искусство – на последнем месте… Скромное занятие и совсем не позорное. Но, увы, тут начинался парадокс. Как только человек, созвучный этим настроениям, посвящал себя «творчеству», он сразу пускался в погоню за «самым главным», «на последней глубине», переворачивая всю пирамиду ценностей вверх ногами, доказывая единым существом своим,

что именно искусство есть самое важное в жизни: ему-то суждено все преобразить, все объяснить, спасти! Иначе не стоит вообще этим заниматься.

Вот на такого рода противоречия, если не ошибаюсь, пытался обратить наше внимание Ходасевич. Логика его укладывалась целиком между Аристотелем и Ньютоном.

Кроме философских расхождений были, конечно, и вульгарно-обывательские поводы к распре. Адамович вел критический отдел в лучшей и более приличной газете; Ходасевич, разумеется, не удовлетворял общество возрожденческих сотрудников, за малым исключением. А обе газеты конкурировали, и участники вступали в групповые полемики.

Ходасевич в конце концов мог простить Адамовичу, что тот перехвалил Шаршуна: пусть его тешится. Но панегирик Иванову – это возмутительно! Иванов, по мысли Ходасевича, вышел из Фета (и не лучшего Фета). Кроме того, именно Георгий Иванов по своим нравственным особенностям опровергает всю эстетику Адамовича «что бы Толстой сказал..?» С своей стороны Жорж Иванов тоже не дремал и шептал, шептал, шептал на ухо другу…

Ходасевич, одно время совершенно изолированный, отгребался как умел и даже пустил остроумную сплетню о богатой старушке, убитой в Петрограде. Это вконец взбесило капризного Адамовича… Но годы и такт Фельзена сделали свое дело; ко времени Народного Фронта оба зоила начали дружески общаться на Монпарнасе – отчего мы все только выиграли.

По утрам, встречаясь с Фельзеном, в кафе, до открытия выставки, мы пили неизменное какао; он закуривал свою голуаз жон («из приличных сигарет это самая дешевая») и медленно отпивал горячую бурду. Поглядывая на прохожих, обстоятельно рассказывал

последние новости… Вчера, по дороге домой, он еще забежал в «Мюра», где сражались в бридж «профессионалы»; не успел он подсесть к Ходасевичу, как в подвал спустился Оцуп и начал хамить, даже полез драться, так что пришлось вмешаться. Ходасевич в последней статье написал, что Оцуп занимается делячеством и живет с «Чисел».

– Как ни странно, Оцуп, по-видимому, ожидал, что мы поддержим его, – задумчиво улыбаясь и внимательно взглядывая на севших неподалеку парижан, продолжал Фельзен. – Что значит выбыть из строя! Он потерял контакт с действительностью.

О том, что случилось вчера в «Мюра», я мог узнать от десятка свидетелей. Но последнее замечание, что Оцуп рассчитывал на нашу благодарность и помощь, – это было типичным образцом фельзенизма. Вся его литература держалась на «психологизме»; высшей ценности он еще, кажется, не знал и в этом был верен себе. Он и Лермонтова так любил, потому что видел здесь начало русского психологического романа.

Но гораздо забавнее было слушать Фельзена, когда он делился впечатлениями прошлого. Повествования такого порядка жили в нем как некая автономная реальность: я чувствовал это тогда не меньше, чем теперь, и все еще не понимаю, в чем их подлинная ценность. Что таковая имеется, я уверен.

– Она мне давно нравилась, – мог начать Фельзен. – Мы изредка встречались у общих знакомых, ее муж разъезжал по торговым делам, и она часто приходила одна. Раз прощаясь, я сказал: «Выслушайте и не сердитесь, пожалуйста. Уже поздно, дома вас сейчас никто не ждет, что, если бы мы провели остаток ночи вместе?..» И она без всяких ужимок согласилась. Очень мило, но у подъезда вдруг передумала. «Нет, неловко! В той же квартире, нехорошо как-то. Да и соседи могут

заметить». – Это бывает, объясняет Фельзен, – но я знал такой отель невдалеке. Кликнул такси, поехали. Только что заняли номер, она опять заметалась, чуть ли не плачет: в первый раз на такое решилась… Ну что это такое? Даме за тридцать, надо знать чего хочешь. Тут я ее в сердцах ударил, – рассказывал Фельзен. – И представьте себе, она сразу успокоилась. Все сошло отличнейшим образом. Потом она мне сама признавалась, что я был совершенно прав. И у нас установились прекраснейшие отношения.

Другой эпизод, для сопоставления.

– Я вообще никогда не набрасывался на женщин. Наоборот, даже был чересчур застенчив… Вот раз сижу в «Ротонде», перелистываю журналы, а за соседним столиком молодая женщина поглядывает в мою сторону. Я заговорил с ней. Жена музыканта, он постоянно в турне. Живут у метро «Мюэт». Любит Скрябина и увлекается русским балетом. На прощание обменялись телефонами. Я не обратил особого внимания на все это, а через неделю за обедом вдруг звонок: «Вы уже пили кофе?» – «Нет еще». «Приезжайте ко мне». Я купил бутылку «Курвуазье» и отправился. Ну, кофе, коньяк, поцелуйчики. Наконец, она извинилась и вышла из комнаты; через минуту возвращается уже в одном халатике. И так неожиданно все вышло очень хорошо, хотя я, признаться, тогда был занят другими, важными для меня отношениями… Но слушайте дальше, – остановил он меня, предположившего, что это конец истории. – Вдруг она начала очень серьезный и даже грустный разговор. Она меня отнюдь не обвиняет, никто этого не мог предвидеть, но так вышло. «Я вас прошу забыть все, больше этого не случится! Если мы встретимся еще как-нибудь, то просто как старые друзья. Пожалуйста, извините, но не настаивайте». Я согласился! – Фельзен несколько иронически развел руками. – В конце концов я никаких претензий не мог предъявить.

И представьте себе, – после паузы торжествующе продолжал он, – через несколько дней опять звонок: нам надо встретиться! Условились в той же «Ротонде». Длинное объяснение… с мужем давно не живет. В сущности, много обо мне думала все это время. Если мне это тоже подходит, то она согласна продолжать отношения.

– Ну! – ахнул я обрадованный и недоумевая, как следует в таких случаях поступать. – Что же вы?

Фельзен снисходительно улыбнулся:

– Я ответил, что уже свыкся с мыслью о разлуке и теперь мне будет трудно перестраиваться на другой лад.

– Ну! – простонал я, чувствуя, что это был именно тот ответ, который надлежало дать.

Рядом с виллою, где Фельзен проводил лето с сестрою, поселилась молодая буржуазная чета, бездетная, но с пуделем. Обе семьи перезнакомились и проводили вместе много времени; а осенью разъехались и в Париже больше не встречались.

– И вот представьте себе, на днях я узнал, что они не женаты и в городе никогда на одной квартире не жили. Сестра случайно ее встретила, она теперь совершенно одна. Нет больше ни виллы, ни мужа, ни даже собаки: пудель тоже оказался чужим…

Фельзен несколько раз повторил последнюю фразу, словно с болью прикасаясь к тайне людских отношений, всегда интересовавшей его. Самый факт, что он рассказал об этой чете только теперь, несколько лет спустя, узнав, что «даже пуделя нет больше», очень характерен.

Он обычно приходил на свидание в кафе первый и немедленно доставал из бокового кармана сложенные вдвое листки бумаги, покрытые ровным, мелким, разборчивым почерком: черновик. Где и когда он его писал, не знаю!.. Над этими строками, остро очиненным

карандашом, он выводил все новые и новые слова. Подумает, почистит резинкою только что написанное и опять нанизывает буквы на том же месте. Благодаря острому карандашу правка получалась четкая и точная. Вот почему он ежеминутно прибегал к услугам крохотной машинки, которой пользуются школьники для очинки карандашей. Впрочем, эти паузы давали ему возможность оглядеть прохожих и подумать. Фраза Фельзена, синтаксически вывернутая наизнанку, все-таки производила впечатление четкой и как бы сделанной резцом.

Во время «смешной» войны он работал над новой книгой, предполагая ее назвать «Повторение пройденного».

– Я сообщил Адамовичу про это заглавие, и он сказал: «Оригинально», – говорил Фельзен.

Разумеется, он не врал, но я догадывался, что если бы Георгий Викторович отозвался неодобрительно, то Фельзен бы промолчал. Он никогда не повторял нелестного отзыва о себе; мы же, пореволюционное поколение, постоянно этим грешили. А Фельзен в таких случаях смотрел на нас с удивлением и жалостью.

Когда коллега, которого Фельзен дожидался в кафе, приближался к его столику, он рассеянно-приветливо улыбался, приподымался, пожимал руку и говорил «здрасьте»… Немедленно затем прятал в боковой карман свои листки до следующего удобного случая.

Время от времени распространялся слух, что Адамович, Ходасевич и Вейдле устраивают вечер, посвященный его творчеству. В Париже такого рода затеи, конечно, не возникали спонтанно. Недаром Ходасевич – по другому поводу – сочинил неаккуратное четверостишие:

Сквозь журнальные барьеры
И в Париже, как везде,

Дамы делают карьеры,
Выезжая на метле…

Стало быть, Фельзен должен был как-то подготовить всех этих лиц, обработать. Что он и делал, но незаметно, умело, с большим достоинством. В результате чего Гиппиус самым чудесным образом усаживалась на трибуне рядом с Ходасевичем и вторила Адамовичу в его анализе нового писателя.

В былые годы такого рода нелепости меня возмущали. Я не был более завистлив, чем любой другой русский литератор. Но меня угнетала безответственность этих начинаний, не менее безобразных, чем фашизм или коммунизм. Любимая цитата Адамовича из Пушкина: «Литература прейдет, а дружба останется…» мне казалась родственной «Гавриилиаде»! И тут, и там – против Святого Духа. К тому же все это явная гиль. Не разберу, где теперь дружба Пушкина к Дельвигу и сочинения последнего, но стихи Пушкина – то есть литература – по-видимому, остались.

– В литературе, как в гимназии, – доброжелательно объяснял мне Фельзен, – очень важно первое впечатление. Иногда в начале года получишь скверный балл и потом уже носишься с ним до перехода в следующий класс, а то и до выпускных экзаменов – так трудно переубедить наставников.

В «Круге» Фельзен часто должен был себя чувствовать неловко. По существу, он казался арелигиозным человеком, совершенно лишенным теологической интуиции и чуждым церковно-философским спорам. Он поддерживал формальную демократию, уверяя, что этот режим – наименьшее зло из всех существующих, и руководствовался всегда трезвым, честным разумом, в век, когда мифы воздвигали тысячелетнее царство. В социальных вопросах он старался тянуться за нами, но души в это не вкладывал, ему как-то не верилось,

что вследствие голода и эксплуатации люди начинают ненавидеть и уничтожать себе подобных… В наших спорах о христианстве он почти не участвовал; мне он признался, что Наташа из «Войны и мира», ее любовь к князю Андрею, ему открыли почти все евангельские истины. Меня это поразило и восхитило.

Несмотря на свою формальную ограниченность Фельзен пользовался в «Круге» авторитетом и любовью. Он был с нами и в правлении «Круга», и в редакции. Во внутренний «Круг» его не пригласили.

В редакцию альманаха вошло все правление и еще Адамович, кажется, хотя он не был членом правления.

Вот на этих многолюдных редакционных заседаниях, когда Адамович по обычаю отсутствовал, Гершенкрон цитировал древних греков, а я ссорился с Терапиано, вот тогда Фельзен неторопливо и трезво занимался делом. Аккуратный, умный, практичный, с очень тонким вкусом, он мог бы при других обстоятельствах стать выдающимся редактором большого журнала. Конечно, гнул определенную линию, защищал свое понимание искусства как в прозе, так и в стихах; причем и личных интересов не забывал.

Так, при первом еще номере возник вопрос, в каком порядке печатать материал: алфавитный хорошо для прейскурантов и эпигонов. Мы не должны бояться указать лишний раз на самое главное.

Фельзен предложил начать отрывком из покойного Поплавского и продолжать в порядке родственности к искусству последнего… В результате вторым после Поплавского оказался сам Фельзен, хотя трудно себе представить большую противоположность между восприятием жизни и преображением ее, чем у этих двух авторов.

После собрания редакции или правления, на 130, авеню де Версай, я часто попадал еще в кафе «Мюра»,

где шла серьезная игра. Там всегда подвизалась теща Алданова – живая, добрая старуха. Это она мне открыла великую истину, что с тремя тузами без другой поддержки не стоит открывать игры. Ее совет я воспринял с благодарностью, как всякое откровение, основанное на личном опыте.

Фельзен здесь, в жестоком подвале, все-таки «держал пропорцию», подчас выигрывая.

– Как ни странно, я опять выиграл, – сообщал он, довольно усмехаясь. – Главное, совершенно без карт!

Он мне раз сообщил, что выиграть много неприятно: как Иван Ильич у Толстого. Ходасевич постоянно проигрывал, и хотя это ему было не по карману, все-таки по-своему наслаждался.

Зная, что там собираются литераторы, Бунин с Алдановым иногда после ужина спускались в подвал, возбужденные вином и уткой, старчески болтливые, довольные и легко обижающиеся. Алданов в обществе Бунина претерпевал изменения.

– Пьесы Толстого довольно слабенькие, – сказал я им раз после проигрыша.

Надо было видеть священный ужас Алданова.

– У Толстого все хорошо!

Эта их любовь к Толстому становилась вредною, ибо она оборачивалась равнодушием, даже ненавистью, ко всему последующему в литературе. Бунин по-гусарски рубил:

– Вот мне прожужжали уши: Пруст, Пруст! Ну, что ваш Пруст? Читал, ничего особенного! Надо еще Кафку посмотреть, наверное, тоже чушь.

Он напоминал героев Зощенко: «Театр? Знаю, играл».

А в это время Фельзен разыгрывал свои карты, к концу с силою шлепая каждую отдельно по столу и приговаривая: «Пики, пики и опять пики…» – озорно, но не раздражающе.

Странное дело игра, карты. На Монпарнасе были поэты, писатели, обожавшие всякого рода азарт; а рядом такие же талантливые люди, никогда – формально – в игре не участвовавшие… Толстой и Достоевский – такие разные, а отношение к картам почти одинаковое. Бунин и Алданов, Зайцев были совершенно стерильны в смысле игры. Некоторые, как Фельзен, например, любили только коммерческие игры; Адамович, Ходасевич, Вильде, Ставров, Варшавский, Яновский играли во все – хоть в три листика. Не прикасались к картам Иванов, Ладинский, Терапиано и все наши дамы.

Летом семья Фельзена уезжала, и мне случалось заночевать у него; я спал в комнате племянницы. Утром прислуга подавала опять какао с круассанами. Догадываюсь, что к этому напитку в их доме привыкли с детства (в России, что ли).

Благодаря выставке зарубежных изданий мы превратились в каких-то специалистов. Секретарь Archives Internationales de Danse[10] предложил нам устроить у них выставку книг, посвященных балету… (И маленькое жалование.) Я не в меру удивился такой удаче, а Фельзен, подумав, сказал:

– Это всегда так в делах, надо только попасть на рельсы, тогда вас уже понесет!

Я любил эти его сравнения и обобщения, чувствуя, что за ними стоит настоящий внутренний опыт. Такой опыт мы тогда ценили, быть может, чрезмерно.

Изредка он приносил на Монпарнас сверточки с крохотными сандвичами – черная икра, сыр, паштет. Это у его сестры был прием, и остатки «буфета» Фельзен притащил к нам. Ему доставляло удовольствие смотреть, как мы уписывали помятую снедь… В таких поступках было, вероятно, больше христианской любви, чем во многих наших эсхатологических разговорах.

---

[10] Международный архив танца *(франц.)*.

Я тогда помогал доктору З., старому русскому врачу – непосредственно из Берлина – начать практику во Франции. Умница и неудачник, очень опытный и слегка циничный, он пытался связать воедино разные, противоречивые терапевтические школы. Пациенты доктора З. были заняты весь день гимнастикой и салатом из тертых яблок, так что у них не оставалось времени, чтобы хандрить. Я к нему посылал кое-кого из литераторов и меценатов.

Фельзен пошел разок к нему, а потом привел сестру, которая и начала после этого прыгать голая по квартире, шлепая себя мокрыми полотенцами. Вот тогда Николай Бернгардович пустил свою знаменитую шутку:

– Надо иметь железное здоровье, чтобы лечиться у доктора З.

Когда поздно вечером мы выходили из «Селекта», направляясь в «Доминик», в кафе еще оставались двое литераторов: Шаршун и Емельянов. Фельзен, улыбаясь точно расшалившийся гимназист, тихо говорил, указывая на них глазами:

– Веселые ребята.

И это было очень смешно, ибо все что угодно, но веселья эти «ребята» не навевали.

В парижской жизни уборные почему-то играли большую роль; раза два за длинный вечер все спускались туда – помыть руки, пригладить волосы, наконец, быть может, заговорить с какой-нибудь шикарной девочкой. Там на торцах или решетках лежали свернувшись европейские нищие, разительно похожие на евангельских… Над их головой тихо шумела вода. В предутренние часы, после зря потраченной ночи, хотелось проникновенно молиться. Такие настроения Фельзену были решительно чужды.

Пользуясь любовью всех нас, и даже «генералов», он, однако, не растерял своих старых биржевых связей.

Фельзен был среди них белой вороной, но все же пользовался и там уважением.

Какие-то громоздкие, странные люди иногда подходили к столику Фельзена, широко улыбаясь, здоровались, заговаривали по-немецки. Кое-кого он приглашал сесть; появлялась бутылка коньяка (приезжие вместо рюмки заказывали целую бутылку, гарсоны уже этому не удивлялись). Червинская воцарялась в центре, другие скромно устраивались на отлете, но с полными стаканами.

Вот не без какого-то отношения к этим спекулянтам и собственным родственникам Фельзен и погиб! Вскоре после начала войны сестра с мужем перекочевали в Швейцарию, где они проживают, кажется, и по сей день. Фельзен с глухой старушкой-матерью остался в Париже – ликвидировать дела своего «бо фрера»[11]. Он должен был получить какие-то миллионы или миллиарды франков и отвезти их в Женеву. Но деньги ему все не давались: аферисты откладывали окончательный расчет. Тут следует отметить, что в разбазаривании Франции в годы оккупации иностранцы принимали живейшее участие, как и в героизме резистанса. Французы часто не умели или не желали общаться с немцами… Картины, которые Геринг собирал для своей тысячелетней коллекции, прошли через многих и неожиданных посредников.

Весною 1941 г. я встретился с Адамовичем в Ницце; он мне показал открытку от Фельзена: «Я теперь не бываю у Мережковских, – минорно оповещал Фельзен. – Там теперь бывают совсем другие люди».

Кстати, тогда же Адамович мне рассказал об открытке, полученной недавно Буниным от Б.; она приглашала Ивана Алексеевича вернуться из свободной

[11] Шурин *(франц.)*.

зоны в Париж, уверяя, что «теперь объединение всей русской эмиграции вполне возможно».

– Стерва, еще подводит идейную базу! – решили мы посмеиваясь. Но письмецо Фельзена прозвучало очень грустно.

Судя по рассказам, часть денег все-таки была собрана Фельзеном, а остальные ему обещали доставить в Лион. Устроив мать в Париже на попечении доброй души, он перебрался в Лион, где опять застрял, теряя драгоценное время, дожидаясь вестей от жуликов. Может, были еще какие-то причины его медлительности, но никто об этом до сих пор не сообщил.

Наконец, Фельзен со всеми суммами или только частью, не знаю, отправился в Швейцарию. Меньше ста лет тому назад тою же дорогой, но дилижансом, бежал Герцен.

Фельзена ждали к чаю в Женеве, так утверждает Е. Кускова в ее споре со мною («Новое русское слово», 1955 г.)… Но не дождались. С тех пор след его не отыскался. По-видимому, немецкий дозор задержал всю группу; впрочем, если бы Николай Бернгардович оказался в плену, то дал бы о себе знать хоть раз. Думая, что он там же погиб, на границе.

Однажды, перед войною еще, Национально-Трудовой Союз, где нашел себе единомышленников Иванов, устроил в Лас-Казе собрание, посвященное почему-то литературе… На этом вечере главным образом и ожесточенно ругали Адамовича, награждая его всеми милыми сердцу эпитетами от Смердякова до Иуды… Из задних рядов бросали и «подлеца», и «жида». Тогда Фельзен попросил слова, защищая не столько Адамовича, сколько нашу новую литературу, обязанную всем Адамовичу! Он говорил тихо, твердо и с обычным чувством меры, так что даже импонировал довольно дикой, смешанной аудитории.

Я хочу сказать, если бы Юрий Фельзен вздумал скрыть от немцев свое еврейское происхождение, то это бы ему наверное удалось.

Не знаю, где и при каких обстоятельствах погиб Николай Бернгардович, но не сомневаюсь, что, умирая, он не изменил своему природному мужеству и чувству собственного достоинства, не проявил ни слабости, ни страха и, главное, не просил у врагов пощады.

III

Пушкин – это Империя и Свобода.

Г. Федотов

Худое, моложавое лицо; густые византийские брови. Доцент с ленинской бородкою. Вкрадчивый, мягкий, уговаривающий голос с дворянским «р». Общее впечатление уступчивости, деликатности, а в то же время каждое слово точно гвоздь: прибивает мысль – ясную, определенную, смелую.

В статьях Георгий Петрович был чересчур литературен, цветист и этим подчас раздражал, особенно незнакомых. Но если услышать стоящий за фразою голос с неровным дыханием (сердце, сердце!), мягкий, музыкальный и в то же время настойчивый, там, где дело касалось последних истин, то к произведениям Федотова прибавлялось как бы еще одно измерение. И независимо от того, соглашались ли мы с «лектором» или нет, у нас зарождалось какое-то горделивое, патриотическое чувство: какая-то великолепная смесь, новая и вполне знакомая – Россия и Европа! Такие люди, соединяющие музыкальную податливость с пророческим гневом, ненависть и любовь к родной истории, встречались, главным образом, на той Руси, которая всегда чувствовала себя Европою. Печерин, Чаадаев, Герцен, может быть, Соловьев.

Кстати, Германия, несмотря на весь свой исторический блуд, не выдвинула ни одного крупного мыслителя, который бы отважился покаянно изобличить свой общенародный грех, вскрыв основную национальную язву.

В Федотове внешне все было переменчиво, противоречиво и неустойчиво, все, кроме его вселенского православия и формально демократических убеждений. Соединение этих двух начал, вообще, несколько необычайное, создавало еще одно мнимое противоречие, отталкивающее многих возможных союзников (но и кое-кого из врагов привлекавшее).

В Париже тридцатых годов я часто встречался с Георгием Петровичем, почти ежевечерне. На собраниях «Круга» и «Внутреннего Круга», в Пореволюционном Клубе Ширинского-Шихматова и т. д.

Это был единственный современный религиозный философ из близко знакомых мне, который, в основном, признавал ответственность православия за Русскую историю. И с какой радостью он цеплялся за все новое, прекрасное, пускавшее ростки вокруг нас в эмиграции.

– Вот теперь, – взвизгивал он, – после матери Марии социальное дело вошло уже навсегда в православную церковь и другим остается только его продолжать…

К разряду редких явлений относилась также исповедуемая Федотовым идея демократии. Впервые в русской мысли православие сопрягалось, в идеале, с формальной демократией, доказывая этим на деле, что нет никаких канонических причин обязательно цепляться за кесаря, наместника или главу.

Чем могло бы стать такое православие, свидетельствует тот факт, что в Париже тех лет почти все кинулись в лоно русской церкви. И не только равнодушные,

коренные скептики, но и французские католики, русские – еврейского вероисповедания, даже воинствующие атеисты.

Принято говорить об особой ноте парижской литературы (или поэзии), но это явное недоразумение. Особая парижская нота наблюдалась и в философии и теологии, в политической деятельности и в живописи, даже в шахматах. Весь дух был другой, и происходила на наших глазах чудесная метаморфоза. Латинская прививка к родному максималистскому полудичку обернулась творческою удачей. В этом смысле о. Булгаков, мать Мария или Федотов не менее животворящи для будущей, новой, европейской России, чем наша молодая литература.

Белый французский хлеб и красное винцо питали всех одинаково, а римское восприятие национальности как юридической принадлежности, без критерия расы или религии, оказалось настоящим откровением.

Георгий Петрович в этом творческом расцвете сыграл свою роль, может быть, именно благодаря своей внешней двойственности. Он стоял посередине между философией и теологией, между историей и поэзией, литературой и политикой, одинаково дорожа русским ранетом и бургундской грушею «дюшес», прошлым и будущим, бытом и бытием, ничем, в сущности, не желая поступиться в рамках европейского христианства.

Недаром Поплавский раз в виде упрека ему сказал:

– Вот вы, если бы это понадобилось, никак не согласились бы ради своих убеждений взорвать Шартрский собор!..

И сидевший тут же Мережковский обрадованно поддержал:

– Вот, вот, видите, в чем дело.

Не помню, что ответил Георгий Петрович, думаю, что он действительно не был способен взрывать готические соборы. И не обязательно по малодушию.

А во время испанской войны Георгий Петрович написал статью о Пассионарии, признавая за последней историческую правду. Это выражало тогда чувства большинства из нас.

Испанская кампания была поворотным пунктом в жизни многих европейцев. Мы очнулись от прекрасного религиозно-поэтического обморока. Гражданская война застучала безобразным кулаком по кровле нашего быта, и приходилось выбирать в союзники меньшее зло. Некоторые сразу уехали в Мадрид; другие все собирались туда. Кровно, идейно и традиционно большинство из нас было связано с законным республиканским правительством. История повторялась: опять – ни Ленин, ни Колчак. Демократия еще раз профуфукала страну. А если вовремя ограничить свободу граждан, арестовать генералов и коммунистов с анархистами, железною рукой направить экономику, давая работу и хлеб населению, то, пожалуй, удастся еще спасти режим… Но что же тогда останется от демократии? В этом заключалась квадратура круга. «Христианство и демократия» – утверждал «Новый Град» Фондаминского и Федотова, и им вторил из Германии Степун. Но что это означает на практике? Где и когда такой режим осуществлялся? Если обязательно нужны полицейские и работники ассенизационного обоза, то не лучше их заводить автономно от Евангелия и Святой Троицы…

Статья Федотова о Пассионарии эмоционально отвечала на многие «проклятые» вопросы, примиряя со злейшими противоречиями. Многое кругом становилось если не яснее, то хотя бы приемлемее. Недаром один профессор православного института, где преподавал Георгий Петрович, некая светлая личность, потребовал исключения Федотова, «тайного масона и марксиста». Богословский институт поддерживался

англиканскими филантропами и одернуть эту «светлую личность» оказалось делом не трудным. Но потасовка такого рода стоила Федотову много внутренних сил; впрочем, она же сблизила его с молодыми литераторами.

Фондаминский ежедневно затевал новое эмигрантское объединение, а идеологически его оформлять должен был все тот же бедный Георгий Петрович, вплоть до юбилейных спичей и поздравительных адресов. Приходилось часто удивляться, как его хватает на такой подвиг. Но душа заметно уставала от сплошных «банкетов» под опекою Ильи Исидоровича. К тому же надо было жить и кормить семью, что тоже изматывало живую силу.

Летом Федотовы уезжали на дамских велосипедах к Луаре и дальше, по долине реки, мимо рыцарских замков и средневековых церквей. Георгий Петрович обожал галльскую землю, ее импрессионистскую зелень и строгую готику, ее белый хлеб и кисленькое вино, сыры и вспыльчивых, горячих, но изумительно толковых французов, где в сутенере и проститутке звучит логика Паскаля и Декарта.

Бунин выпивал бокал Клико и залихватски клялся, что в Москве и шампанское лучше! А стерлядь, а икра, а Волга… За сим следовал весь кухмистерский вздор казака Крючкова.

Федотов знал величие французской истории. И не спорил, когда я доказывал, что культура началась вокруг Средиземного моря у народов с карими глазами. Но он всегда, с непоколебимым мягким упрямством, старался обратить наше внимание на ужасы революций латинского мира. Вопрос, была ли в Англии когда-либо революция, занимал нас тогда всерьез. Тема сводилась к одному: можно ли очеловечить похабный режим без братоубийственных мутаций?

Наступили роковые осенние дни 1938 года, кончившиеся после частичной мобилизации полным поражением в Мюнхене. В разных эмигрантских углах сразу зашевелились многочисленные аспиды, готовясь присоединиться к обозу Гитлера. Федотов, единственный в нашем кругу, был за Мюнхен. Этого мы долго не могли простить ему. Пассионария и Мюнхен; обе эти половинки одинаково важны для уразумения Федотова.

Рассуждения его приблизительно сводились к следующему: современная, глобальная война приведет к окончательной гибели старой неповторимой Европы, независимо от победы или поражения. Так что лучше отсиживаться за линией Мажино и продолжать молиться, строить соборы, писать стихи – пока есть еще малейшая возможность всем этим заниматься!

А мы возражали: «Даже если линия Мажино отвечает своему назначению, от затхлого воздуха разлагающихся рядом живых и мертвых трупов задохнется любое свободное творчество, иссякнет последняя вдохновенная молитва, потеряют убедительность лучшие архитектурные монументы».

Зимой того же года был создан наш внутренний «Круг», некий орден, которому надлежало конспиративно существовать и бороться в надвигающейся долгой ночи. И мы все единогласно высказались против кандидатуры Г. Федотова.

– Это же курам на смех! – вопил Фондаминский. – Вы С. Жабу принимаете, а Георгия Петровича забраковали. Это ведь курам на смех! – повторял он свое любимое выражение. – Вы разошлись с Федотовым по одному вопросу. Но Мюнхен миновал: это уже прошлое. Теперь возникают новые темы, где Георгий Петрович может оказаться впереди нас всех…

Действительно, получался анекдот. И Федотов с супругою были приглашены в наш «Внутренний Круг».

Очень знаменательно для наших тогдашних настроений, что Е. Федотова (как я уже, кажется, писал) на первом же организационном собрании резко осведомилась:

– Меня, главным образом, интересует, будем ли мы и здесь только болтать или, может быть, начнем бросать бомбы?

Уже в Нью-Йорке к концу войны мне пришлось «экзаменовать» Федотова. Тогда И. Манциарли, Елена Извольская, Лурье и я начали издавать «Третий Час», журнал экуменического и пореволюционного толка. В каждом номере, подчас на разных языках, мы печатали статьи Бердяева, а Федотова, бывшего здесь рядом, не приглашали даже на наши собрания, наказывая его за непримиримое отношение к Советскому Союзу – в пору Сталинграда!

Вспоминаю, как Федотов раз днем пришел к Извольской: мы с ней, по-видимому, должны были выяснить, подходит ли он для «Третьего Часа» – достаточно ли хорош!.. Федотов был уже очень болен, после очередного припадка говорил неровно, спадающим голосом и отпивал маленькими, быстрыми глотками красное винцо, которым «Третий Час», верный старой парижской традиции, всегда угощал собравшихся. Невесело посмеиваясь, Федотов говорил:

– Вы меня не принимаете, а Казем-Бека печатаете…

И я услышал старое «курам на смех» Фондаминского. Расставаясь, он с грустью как бы подвел итоги беседы:

– Теперь между нами настоящих расхождений еще нет. Вы хотите разгрома немцев и торжества сил демократии, того же и я жажду. Наши расхождения начнутся на следующий день после победы.

Подобно Черчиллю, но значительно раньше, Федотов утверждал, что советскую Россию надо держать подальше от Европы, а Европу целиком временно

заморозить, иначе все прогнившие части развалятся и не будет больше Европы! Я с ним спорил. Но теперь вынужден признать, что основная его интуиция была правильной. Вообще, всей своей правды о России, о ее истории, церкви, даже народе Федотов, по-видимому, не решался высказать.

– Россия должна надолго вернуться в Европу школьницей, младшей сестрою или ее спеленают, отбросят на Восток, расчленят!

Так я понимал подчас его речи, и они мне казались бредом. Только в свете последних «китайских» ходов истории пророчества Георгия Петровича становятся полной реальностью. И никакие спутники луны здесь не помогут, как не помогли немцам Фау-1 и Фау-2. Погибает тот, кто борется против всего мира на два фронта.

* * *

Вся тяжесть идеологической борьбы в «Новом Граде» покоилась на плечах Федотова. И. И. Фондаминский был, главным образом, организатором, планировщиком. Георгий Петрович должен был лить живую воду в проложенные трубы.

Илья Исидорович считался у эсеров блестящим оратором, что вместе с красноречием Керенского тоже относится к загадкам эпохи. Мы слушали Фондаминского с улыбкою. Когда раз перед ответственным выступлением я посоветовал ему говорить покороче и отнюдь не больше сорока минут, он искренне удивился:

– Мне случалось говорить подряд четыре часа, и тоже все слушали, – застенчиво похвалялся он.

И он не врал, конечно. Солдаты на фронте перед летним наступлением пьянели от речей Керенского, а матросы носили на руках комиссара Черноморского флота Фондаминского. Затем Чхеидзе… Все тогда

считались Жоресами русской революции. Наваждение? Глупость? Глупость отдельных людей или целой эпохи?

Мне было неловко слушать Керенского или Фондаминского, точно перед голым королем – вот-вот народ догадается об этом. Оба они были эмоционально очень талантливы, но по-разному ограничены или просто неумны. Я всегда страдал при их выступлениях, с нетерпением дожидаясь конца, точно признавая и свою долю ответственности за этот детский лепет.

Павел Николаевич Милюков звучал совсем в другом ключе: нечто чужое, трехмерное, но практически устойчивое, защищенное, если не от урагана, то хотя бы от случайного дождя.

Фондаминский распылял свои силы, стремясь проникнуть в максимальное число организаций или кружков, чтобы повсюду рассказывать о русском гуманизме, о демократии, о великом интеллигентском ордене. Предполагалось, что если его или нас приглашают, то этим самым еще одна позиция завоевана – светлыми силами!

Я упорно указывал на то, что в сущности нет ни одного места, за пределами квартиры Фондаминского на 130, Авеню де Версай, где мы могли рассчитывать на 51 процент голосов. И это ставит под сомнение разумность нашей тактики. Кроме того, мы литераторы, и совершенно нелепо подвизаться в стольких кругах и кружках, не имея собственного журнала.

Фондаминский этого не понимал: к тому же создавать конкуренцию своим «Современным запискам» ему, разумеется, не хотелось. Будучи «профессиональным оптимистом», он неизменно повторял:

– Подождите, подождите, мы скоро завоюем «Современные записки».

Но меня поддержал Федотов; присоединилась и молодежь, главным образом, активный в келейных

переговорах Софиев. Не помню подробностей, но на очередном собрании правления Фондаминский заявил нам, что будет альманах – «Круг»!

По инициативе Георгия Петровича мы начали регулярно собираться раз в месяц на агапы. В библиотеке Фондаминского расставлялись столы, накрытые скатертью, на них бутылки красного вина, сандвичи, фрукты. Вместо обычного доклада «Круга» с прениями только дружеская, непосредственная беседа за полночь. Минутами чудилось, действительно: любовь, Каритас, витает кругом и преображает… А время, между тем, приближалось паскудное. Многие из присутствующих уже были отмечены роком: мать Мария, Фондаминский, Вильде, Фельзен, Мандельштам… все одинаково и каждый посвоему.

Увы, другие, подобно Иуде, позвякивали новенькими сребрениками, обеспечив себе место в обозе Гитлера.

Когда я мысленно разглядываю все эти лица, одухотворенные предстоящими страданиями или отмеченные печатью Каина, меня поражает, главным образом, полное отсутствие сюрпризов в нашей среде. Все карты были давно на столе и открыты: в этом смысле игра велась почти честно.

Раз в неделю, кажется, по вторникам, Федотовы принимали у себя в «студии». Там, вокруг девиц, дочки Нины и ее подруг, басили срывающимися голосами семинаристы православной академии; заглядывали туда и монпарнасцы, часто Софиев.

Георгий Петрович вел себя подчеркнуто наставником и отцом, только на минутку позволяя себе увлечься разговором, сразу стихая и поблескивая загадочными, византийскими глазами, под гусеницами бровей.

Софиев там и романсы пел, и стихи декламировал, вел себя не то молодым офицером, не то студентом – вообще, пользовался успехом у дам. Благодаря ему

и будущие батюшки проникались тоже романтическими тенденциями. Бывала там молодая, хорошенькая женщина, мать двоих ребят, а в числе семинаристов являлся уже в монашеской рясе некто Ж. Он жадно мечтал о карьере иеромонаха и писал свою диссертацию на тему монашества, сравнивая эту желанную дщерь с невестой Господней из Песни Песней. Итак, Ж. увлекся молодой матерью, и она сбежала от мужа. Но Ж. потом стал жертвою еще других соблазнов: он уехал в Англию, женился на дочке англиканского пастора и стал священником епископальной церкви.

Этой атмосфере молодежи и флирта хозяин не только не мешал, но даже каким-то эзотерическим путем способствовал…

Внешне Федотов со своей бородкою всегда выглядел профессором среднего возраста, серьезным мыслителем, публицистом. И одевался он совсем не романтически; даже вернее, скверно, неряшливо одевался. Новое платье мы все в Париже редко себе покупали. Главным местом снабжения являлся Блошиный рынок, где иногда попадались замечательные вещи из богатых и спортивных домов. Но Георгию Петровичу и это не подходило. А костюмы, которые ему дарили добродушные меценаты, были все как на подбор темные, скучные и, главное, не по мерке.

Вообще, я бы сказал, в нашей среде царил стиль добровольной бедности (или чего-то близкого к этому). Даже некоторые, имевшие деньги, как бы стыдились своей материальной обеспеченности. В том, что деньги – грех, никто в русском Париже не сомневался. Так, Фондаминский наконец появился в новеньком коверкотовом костюмчике и долго виновато объяснял:

– Друзья заставили заказать… Мне это совсем не нужно, но они говорят: «Стыдно вам щеголять в рубищах»!

Поплавский злословил: «Дай русскому интеллигенту пояс к брюкам, и он все-таки напялит еще помочи, ибо нет у него ни уважения, ни веры к собственному брюху».

Действительно, в летнюю жару, когда Федотов снимал пиджак, на нем красовались и пояс, и подтяжки. Но объяснялось это, главным образом, тем, что брюки были чужие, совсем не по мерке. В Нью-Йорке чуть ли не при первой нашей встрече Федотов у вешалки напялил на себя пальто с таким необъятным клешем, что все кругом только развели руками.

И вот, несмотря на свою подчеркнутую внешность пожилого профессора и неряшливую одежду, какие-то определенно сексуальные, податливые, убаюкивающие, женственные флюиды щедро истекали из Георгия Петровича с ощутимой силой. Есть такая русская линия эротизма – от Достоевского, Соловьева, Розанова… Тут древние боги уживаются с Византией, церковью и ветхим заветом. Вот такое магнетическое поле явно ощущалось вокруг Федотова.

Был это, в сущности, не совсем на своем месте человек, не сумевший или не отважившийся вполне выразить себя. Думаю, что Федотов вздыхал с огромным облегчением, когда оставался наконец наедине с книгой и стаканом невкусного чая.

Припоминаю, как однажды на Вест Сайд, в Нью-Йорке, к Федотову ввалились громоздкие носильщики, не то чтобы увезти пианино, не то чтобы его перетащить на другой этаж. Нина Федотова в молодости усиленно музицировала. Начались переговоры между дамами и черными атлетами. Какие-то формальности не были соблюдены, и возникали мелкие затруднения. В это время профессор, подхватив единым, несколько унизительным движением и чай, и книгу, и полы халата, вознамерился незаметно юркнуть к себе в комнату,

но дочь и жена тут же в один голос крикнули: «О, трус!» – чем обратили мое внимание на эту знаменательную сцену. В разных сочетаниях я еще несколько раз в жизни наблюдал такое его вихревое, «предательское» движение прочь, в самый разгар каких-то житейских, практических передряг. Это не было только трусостью: он отдавал себе отчет в своей полной деловой беспомощности.

Приближалась страшная осень 1939 года. Еще в августе лучшие экспонаты скандинавских блондинок наводняли Париж: такой жажды греха и продолжения жизни Монпарнас, по утверждению старожилов, давно не испытывал. Люксембургский сад изнемогал под тяжестью цветов и похоти.

Наконец радио передало о дружеской встрече Сталина с Рибентропом в Москве. И вскоре в актюалитэ мы увидели, как поляки пускали свою конницу против тяжелых танков Круппа. Всадники, по экипировке похожие на ахтырских гусар, бросались на стальные башни, извергавшие огонь, и тут же превращались в дымящееся мясо. И только глупцы, типа Сталина и Гитлера, могли думать, что им удалось покончить с рыцарской Польшей.

А первого сентября, кажется, в газетах мелькнула наконец энигматическая фраза: «Англия и Франция находятся в состоянии войны с Германией» – dans un etat de guerre. Mobilisation generale[12].

Скрещенные силуэты двух трехцветных флажков на афишах: в который раз! Все двинулось и поплыло с ружьями на тесемках и без обойм, в голубых бумажных мундирах 1918 года. На забранном досками окне соседнего бистро надпись мелом: закрыто, pour la duree[13].

---

12 – в состоянии войны. Всеобщая мобилизация *(франц.)*.

13 На неопределенное время *(франц.)*.

В Люксембургском саду бассейн, где плавали осенью жирные карпы. Эта игрушечная водная гладь, оказывается, может служить ориентиром в лунные ночи для вражеской авиации. (Правительство все предвидит!) Бассейн распорядились немедленно осушить: первая всенародная казнь рыб!

В кустах против Сената расположилась противовоздушная батарея. И солдатики в обмотках и тяжелых башмаках, вооружившись сетками, зашагали по колено в воде, вдохновенно выуживая отупевшую рыбу. От зноя спины взопрели, тонкие, юношеские шеи под расстегнутым воротом гимнастерок темнеют крестьянским загаром. И только чуть-чуть крупные, тяжелые, но приплюснутые носы галльских, франкских и южных хлеборобов свидетельствуют о том, что это Европа, Запад, Франция, первая дочь католической церкви, а не православная, хозяйственная, кондовая Русь, согнанная из деревень мудрым начальством для борьбы с исконным врагом.

А рыба, между тем поднятая из воды, страдала, с упреком разевала рот и грозно-жалостливо обозревала безоблачное небо: неизгладимое, романское, благоухающее небо Парижа.

Я спешил на собрание правления «Круга» и явно опаздывал: никак не мог оторваться от мудрой толпы, от этого исторического детского сада, от волшебного сияния чужой и благодатной стихии. (Впрочем, потом, когда бедствия захватили народ всерьез, толпа начала разыгрывать свою роль по классическим образцам: за день до прихода немцев я у метро Конвансион пережил нечто напоминающее «Казнь» Верещагина).

Итак, я спешил на собрание «Круга», но не попал туда – завертелся в общем героическом и праздничном вихре. В парке, перед дулом одного противовоздушного орудия, торчала ветвь молодого деревца: ее собирались

уже отпились. Но солдатик вдруг догадался и торопливо подвязал бечевкою ветку, так что зелень больше не мешала панораме. (Даже стройный фельдфебель блаженно улыбнулся, радуясь спасению невинного деревца.) Где ты, милый пуалю из Ланд или Прованса? Кто через год сбросит твой окоченевший труп в тесную немецкую могилу? А может, ты убежишь из плена и станешь героем черного рынка, уверяя, что не стоит воевать за евреев и иностранцев?

Уже с самого начала войны мы сразу как-то магически закружились. Личная и деловая жизнь претерпевала коренные изменения. Многие были мобилизованы или записались добровольцами, другие ожидали повестку с вызовом в армию и чувствовали себя настоящими рекрутами. Менялись условия работы, и открывались новые сексуальные возможности; семьи перетасовывались, как картинки в колоде карт. А интеллектуальные встречи становились все реже и жиже: музы смолкают в обществе пулеметов.

Но Фондаминский затеял новый кружок – франко-русский. Там эмигрантские «генералы» должны были спорить с французскими intellectuels[14]. Из последних я знал только Габриель Марселя, ставшего вскоре вождем католического экзистенциализма. Нас, молодых, Фондаминский за недостатком места не пригласил. Я счел это оскорблением и явился на первое собрание непрошенный. Фондаминский только вздохнул, впуская меня.

Когда я пожаловался Федотову, он, понимающе посмеиваясь, сказал:

– Он и со мной так поступает. У Ильи Исидоровича для каждого особый балл. Вам, скажем, дается десять, а мне двенадцать, вот и вся разница.

[14] Интеллектуалами *(франц.)*.

Эти собрания не оправдывали моих надежд, и я перестал их посещать. Бердяев говорил о национальной душе. Габриель Марсель (и еще кто-то из Сорбонны) возражал очень трезво:

– Все это очень мило и интересно, однако мы теперь находимся в состоянии войны с безжалостным врагом и должны его победить любой ценой.

Такого рода практические речи производили нехорошее, скучное впечатление – слишком уж просто и плоско. Несмотря на то, что все мы приветствовали эту войну и считали ее священной, о конкретной победе никто не думал, и общее настроение было вполне апокалипсическое. Можно утверждать, что наученный горчайшим опытом весь русский спектр эмиграции бессознательно ждал катастрофы и в победу не верил. «Да, – думали многие из нас, – солнце когда-нибудь взойдет. Но пока наступает длинная ночь, и надо через нее брести».

Наступила зима «смешной» войны, в которой, впрочем, ничего забавного не наблюдалось. Новый, 1940 год я встречал у Федотовых. Из наших старших пришла только одна мать Мария. Фондаминский обещал заглянуть, но застрял по пути. Была еще семья Ольденбургов с Зоей, тогда скромной лицеисткой, а теперь знаменитой французской писательницей. Мы с женой привели еще кого-то с Монпарнаса – для девиц. Водка, вина. И селедка, салаты, винегреты, ветчина – все, как полагается, но радости не было. Эта встреча Нового года, скорее, походила на похороны. Мы крепились, старались по-обычному шуметь, веселиться, пели, произносили патриотические речи, чокались. Но что-то не клеилось: наше нутро знало некую правду, которую сознание отказывалось принять.

Для многих это был последний год во французском Париже, а для некоторых, вообще, последний год жизни.

И мы хоронили старую, прекрасную, нищую, творческую галло-русскую жизнь и заодно с нею блистательный европейский гуманизм. Навстречу нам шагали неоканнибалы, неокаины, неопримитивы. История кружила по спирали. Герцен так описывает встречу Нового, 1852 года: «Подали обычный бокал в двенадцать часов – мы улыбнулись – натянуто, внутри были смерть и ужас, всем было совестно прибавить к Новому году какое-нибудь желание. Заглянуть вперед было страшнее, чем обернуться».

У нас в полночь Георгий Петрович заставил себя произвести спич с обычным в таких случаях условным пафосом. Затем говорила мать Мария. Повязанная черным платком, болезненно румяная, курносая, русская, она все же походила на св. Терезу Испанскую. Не помню, что она сказала, но особого оптимизма она тоже не проявила.

Кое-как, то увязая клювом, то хвостом, перевалили через эту «смешную» зиму и заплатили с трудом весенний квартирный «терм».

В Париже по-обычному расцвела сирень. В сумерках газовые фонари бросали зеленый свет. Жизнь торжествовала, и аборигены перестали таскать с собою противогазы в нелепых коробках.

А 10 мая немцы прорвали фронт у пресловутого Седана и ринулись к морю. И денька через два-три все обыватели догадались, что война почти проиграна: Париж будет сдан.

В гараже, у метро Пастер, на соломе, уже спали беженцы из Лилля… До чего похоже на вшивые русские вокзалы или на общежития времен испанской кампании. Вообще, в бедствиях народы становятся похожими друг на друга. Это только удача и богатство развивают в них новую спесь.

После долгого перерыва я отправился к Фондаминскому собрать нужную информацию: в конце концов, эти ветераны катастроф имеют связи и должны знать досконально, к чему теперь надлежит готовиться.

У Ильи Исидоровича днем в освещенной весенними лучами солнца столовой я застал Соловейчика, Ивановича и еще несколько такого толка знакомых. Они были углублены в странное занятие: сверяли по спискам имена разных людей, преимущественно, зубров. Как я понял из дальнейшего, Керенский еще в начале мая отправился в комиссариат полиции 16-го аррондисмана и сделал заявку на пропуск из Парижа для «всей группы».

После объявления войны иностранцам, разумеется, было запрещено разъезжать по Франции без особого позволения. И теперь Соловейчик отправлялся в участок получать желанные свидетельства, решив предварительно сверить по списку имена зарегистрированных, ибо некоторые воспользовались уже другими оказиями и давно смылись.

Фондаминскому не пришло в голову включить кого-нибудь из нас, молодых, в эти списки; позже прислали из Америки «чрезвычайные» визы опять-таки только для уже известных всем, заслуженных деятелей.

Между прочим, я именно в эти дни старался выпроводить свою беременную жену из столицы и не мог получить sauf conduit[15]. О себе, разумеется, в смысле разрешения на выезд я не беспокоился.

Однако Фондаминский с умеренной заботливостью меня спросил:

– А вы что собираетесь предпринять?

В понедельник, 10 июня, под вечер, я очутился у Федотовых. Кажется, я пытался включить жену в караван друзей, покидающих Париж легально.

---

[15] Пропуск *(франц.)*.

Оказалось, что Георгий Петрович не успел еще получить своего пропуска и собирался завтра смотаться к Фондаминскому за документом. Я советовал выезжать пораньше, поездом, невзирая уже ни на какие комиссариаты и не теряя драгоценного времени:

– Выйдите на улицу и понюхайте пустые улицы, – сказал я, – вы поймете, что ворота города открыты.

Это выражение понравилось Е. Н. Федотовой, и она, в сердцах споря с мужем, повторила:

– Вот именно, выйди и понюхай! Никаких удостоверений больше не надо.

На этом мы расстались. На следующий день мне удалось усадить жену в поезд. Сам я выехал всего только на день позже, 12 июня. 13-го, к вечеру, немцы были уже у застав Парижа.

В Пуатье многие русские высадились; в сущности, мы не знали, что происходит. Мне все еще мерещилось, что на Луаре будет оказано сопротивление: новые армии займут левый берег, и мы все выполним свой долг. Это отсутствие правильного понимания обстановки, вероятно, стоило жизни многим милым людям.

В Пуатье я и семья Гржебиных, к которым меня прибило, потеряли несколько драгоценнейших дней (в течение которых «оптимисты» получали транзитные визы и переходили границу у Ируна). Там, в Centre d'Accueil[16], я столкнулся с заблудившимся Гершенкроном, ценнейшим сотрудником «Круга», он собирался поселиться в знаменитом монастыре под Пуатье. Всегда болезненный, он теперь был не в меру раздражен и тоже не отдавал себе отчета в происходящем. Как общее правило, никто не мог сразу примириться с мыслью, что Франция капитулирует. Кроме того, увы, наши материальные дела не были в блестящем состоянии.

[16] Приемный центр *(франц.)*.

Так, Гершенкрон почти сразу начал жаловаться на мать Марию: они встретились на Лионском вокзале, случайно в толпе. Уезжали Мочульский с Юрой, сыном матери Марии, – она оставалась в Париже. У них у всех были заранее приготовленные билеты вместе с пропусками Керенского. Но Юре не хотелось покидать Париж, и он упросил мать позволить ему остаться. Тогда Гершенкрон, бедняга, купил Юрин билет, заплатив наличными.

– Зачем мне нужен был этот билет! – негодовал он теперь в Пуатье, очевидно, издержав уже последние деньги, – проехали же вы без всяких билетов.

Вот там, в Пуатье, на площади у кафе, где беглецы отдыхали в полдень, общее внимание вдруг привлек странный караван, состоящий из трех дамских велосипедов и одного мужского: чета Федотовых в первой паре, а за ними нордическая, растрепанная блондинка Нина и похожий на алжирца Вадим Андреев. На вокзал они уже не пробрались и весь путь из Парижа проделали на «педалях» в четыре, пять дней – благо подвернулся толковый спутник.

Дороги Франции до колдовства хороши летом; но все же карта Мишлэн пестрит от стрелок «крутых подъемов». Этот пробег на велосипедах – и не для осмотра готических замков – был последним спортивным упражнением профессора Федотова. В Нью-Йорке он вскоре заболел коронарным тромбозом, от которого впоследствии и умер.

Там, в Пуатье, мы опять попрощались; Федотов побежал в винную лавку и вышел оттуда, неловко вертя в руке, сам ей удивляясь, какую-то необычайной формы пузатую бутылку ликера. Нина делала нелестные замечания, очевидно, не одобряя покупку.

Они решили отправиться на запад, к Ла Маншу, а не на юго-запад, где обосновался за Бордо Фондаминский.

Андреевы и Сосинские теперь проживали на острове Рэй, туда направились дамские велосипеды – к самому оплоту будущей атлантической стены.

Эта наша встреча происходила точно в бреду. Да и вся Франция в эти сказочные июньские дни походила на злой вымысел. Шарль де Голль мучительно и медленно перерождался из захолустного полковника в легендарного принца.

А кругом толпа, высохшие горожане, старики, дети – ночью, на земле, на соломе, на траве. С близкого шоссе слышен шорох библейской саранчи: это миллионы обывателей брели дальше на юг, неся свои чемоданы и артриты.

Кто помоложе, покрепче, тому было легко: топтал отстающих и пробирался вперед. Утешительно, конечно. Надо только хорошо рассчитать, так, чтобы наибольшие социальные, политические и геологические перевороты падали на тот период жизни, когда мы в расцвете своей биологии, физиологии и духа.

Эти недели, несмотря на все лишения, остались в памяти многих из нас как лучшая пора отпуска, каникул, освобождения от городского плена. Закусывая у фонтана галло-римской эпохи, попивая теплое винцо в обществе находчивых и понятливых южан, не трудно было еще благословлять юг, Францию, жизнь! Но людей, вынужденных проходить через такого рода испытания в Польше, Бельгии или Маньчжурии, я воистину жалею. Какая несправедливость в судьбе народов, даже если предположить, что основные грехи – жадность, глупость, похоть, зависть, гнев – те же, приблизительно, повсюду.

В самом деле, может ли что-нибудь заменить пейзаж латинской Европы, ее климат, позволяющий не только заниматься живописью круглый год, но и собирать два-три урожая картофеля? (В таких землях не может

быть хронического, регулярно повторяющегося голода, как, помните, в России, все равно – татарской, царской или социалистической.) А снег и метель оставим для зимнего спорта: месяц в году. Ведь сама Татьяна, владевшая несколькими сотнями душ, все-таки не могла объяснить, почему она любит крещенские морозы; есть у меня думка, что если бы ей удалось вырваться и очутиться «под небом вечно голубым», то она пожалуй, стала бы невозвращенкой. (Пушкину безоговорочно отказывали в заграничном паспорте; Гоголю и Тургеневу в этом смысле повезло.)

А через год Федотовы прикатили из Парижа в Марсель получать американскую визу, оттуда они мне прислали длинное письмо в Монпелье, давая разные практические советы и обещая свою помощь.

Нужные пароходы шли редко. Елена Николаевна очень беспокоилась за судьбу мужа. Так что Федотов сел на первое подвернувшееся судно и таким образом сразу попал в лагерь в Африке (под Дакаром).

Моя жена, бывшая в то время в Париже, рассказывала мне потом, что Фондаминский опять уже мотался по разным собраниям и довольно часто посмеивался над незадачливым профессором:

– Вот Федотов убежал отсюда в Африку и там попал в лагерь! Подумайте, в Африке! А мы еще здесь, здесь еще можно работать!

Когда я с семьей добрался наконец до Нью-Йорка, в июле 1942 года, на пристани нас приветствовала Е. Н. Федотова, вручила мне 20 долларов, собранные среди друзей; в этот первый год второго изгнания мы еще часто встречались. Но особой близости уже не было. Точно всем было стыдно за какие-то лишние слова, сказанные впопыхах. А слов чужих и лишних произнесено было много.

В Америке всем нам предстояло выдержать еще раз экзамен… Задача заключалась в том, чтобы сохранить

личную классификацию при общей ревизии ценностей. И впервые за мною не было ни кружка, ни общества, ни другой объединяющей силы. Тут были свои бонзы и оберофицеры, требовавшие уважения и даже почитания. Литературный стиль, здесь царствовавший, понаслышке, напоминал Ригу, а теперь хлынули «европейцы», и, разумеется, число обиженных или недовольных становилось с каждым днем больше.

Георгий Петрович, конечно, примкнул к «Новому Журналу», но не было Фондаминского, и Федотов должен был себя там чувствовать одиноким, как белая ворона.

Статьи Федотова, его выступления меня беспокоили. Я выехал из Франции, когда раздавались первые артиллерийские залпы по Сталинграду, и вся Европа опять прислушивалась к шуму битвы на поле Куликовом. Все знали: там теперь решается судьба гуманистического наследства. Сталин, не желая этого, защищал Иерусалим, Афины и Рим.

У марсельского консула я встречал беженцев, с ужасом и надеждою осведомлявшихся у меня:

– Как вы думаете, отстоят Севастополь?

Случилось так, что американская администрация, опасаясь провокаций или шантажа, ввела новое правило, по которому лица, родившиеся на территории, уже захваченной немцами, не могли получить визы. В результате пышно расцвели фабрики фальшивых метрических и других свидетельств. Так что австриец, осведомлявшийся, отстоят ли русские Крым – место его нового рождения, – был кровно заинтересован в утвердительном ответе.

Не только Севастополь или Россию отстаивали тогда советские народы, но все, что было в мире униженного или преследуемого. И молитвы святых, равно как слабых, грешных жертв или героев, были тогда с Россией,

за Россию, опять святую, великую, в последнем стремительном броске всегда исправляющую свои ошибки, искупающую вину в братском союзе с просвещенными державами Европы.

Так было во времена татар и Карла шведского, шедших покорять весь мир. То же случилось с Наполеоном и дважды на нашей памяти против немцев. Всякий раз Россия, необъяснимым чудом подстрекаемая ангелом или архангелом, в последнюю минуту выпрямлялась и занимала свое ответственное место рядом с традиционно-христианскими, гуманитарными народами. (В частных и более мелких случаях князья, цари и комиссары, увы, грешили и даже очень.) И это повторится опять, завтра, в решительной схватке с китайцами или марсо-венерическими полчищами…

Ночью я шагал по безлюдным улицам Монпелье, подметаемым резким морским ветром. Я возвращался из кафе, где играл в шахматы с испанскими эмигрантами. Восток прояснялся и, казалось, вспыхивал от многочисленных взрывов тяжелой артиллерии. Я почти ощущал эти далекие удары, а от воздушных воронок начинал задыхаться. Чудилось в небе: вот огромная, вставшая на дыбы кобылица, отбивающаяся передними копытами от стаи волков, огрызающаяся и жалобно ржущая в снежной степи… она осторожно пятится к Волге, а лицо кобылицы прекрасно и из ноздрей вырывается пламя!

В таком настроении мы отплывали в Новый Свет. А Федотов позволял себе оставаться при особом мнении, как в пору Мюнхена. Впрочем, спор шел не о настоящем, где нам предстояло бороться и во что бы то ни стало победить. Этого он не отрицал; расхождения начались в связи с будущим – гадким и постыдным, по утверждению Федотова.

Нам представлялось, что после такого светлого подвига в паре с Европою что-то неминуемо тронется

с места, сдвинется, даже в сталинской Руси. СССР вернется по праву в Европу, и Европа опять сольется с Россией.

Именно это Федотов желчно отрицал. Он умолял, грозил и проклинал. По его вещему слову, как я уже писал, Россию надо всячески удерживать за пределами Европы, не пускать ее дальше исторических границ: иначе конец западной культуре!

По мнению Федотова, даже этнический тип русской толпы в больших городах уже изменился, судя по кинорепортажам и снимкам в журналах. Азия изнутри перерождала Россию – пожирала часть Европы.

Споры такого порядка, в то время как близкие нам друзья умирали в лагерях, в плену или на поле брани, порождали чувство гнева и даже вражды.

Мы с Георгием Петровичем жили на одной улице, Вест 122, рядом с теологической семинарией, где он преподавал. Он был уже очень болен и часто отлеживался или отсиживался неделями в своей комнатушке, похожей на келью, только с остатками вечного, неприбранного чая.

К тому времени из Мюнхена прибыла чета И., которым Федотов усиленно помогал устроиться, и они все быстро подружились. Федотов часто выводил И., протежировал ему, возвращался поздно ночью и, видимо, уставал.

Объяснялось это, главным образом, жаждою учеников. В России к словам Георгия Петровича прислушивались бы два поколения студентов, что и составляет секрет удачи любого властителя дум. От нас, парижских своих друзей, Федотов такого признания не мог ожидать. Наши отношения, всегда, вообще, будь это Бердяев, Шестов или Мережковский, были основаны на обмене: каждый из нас имел свое мнение и норовил его протолкнуть. Получалась здоровая циркуляция,

залог живой культуры: give and take…[17] Одни давали меньше и брали больше, но все участвовали в круговой творческой поруке.

И. был учеником Федотова, и это должно было утешить профессора на последнем этапе жизни. Федотов нашел панацею для России: Пушкин! «Пушкин – это империя и свобода», – определил он. И ученики повторяли с воодушевлением: «Империя и свобода!»

В Париже я однажды спросил Федотова: «А что если империя борется со свободою? «Клеветникам России», «Гавриилиада» – что делать с этим хламом?» Впрочем, относительно Польши Георгий Петрович отвечал не колеблясь: «Это наш грех!»

Изредка в сумерках я встречал одиноко бредущего Федотова: он шел в сторону Амстердам Авеню в дешевый ресторан, а затем в темное, полунегритянское синема – ныне уже разрушенное. Мы беседовали несколько минут у моего крыльца, точно на бульваре Сэн Мишель.

Федотов:

– То, что вы находите у апостола Павла элементы гностицизма, это хорошо. Вот если бы их было много, тогда плохо.

Я указывал на то, что в бл. Августине больше манихейской ереси, чем в Тертуллиане-монтанисской.

– Тут важно направление. Первый шел от ереси к церкви, а второй, наоборот, удалялся, – объяснял Георгий Петрович и смеялся моему замечанию: «Мне все “африканцы” напоминают Дзержинского».

В те годы в «Новом Журнале» еще печатался мой «Американский Опыт»; и все, что было бездарного в нашей эмиграции, ополчилось против него. Георгий Петрович был одним из моих немногочисленных

---

[17] Давать и брать *(англ.)*.

заступников. После выхода в свет очередной книжки журнала Марья Самойловна Цетлин приглашала к себе от имени редакции всех сотрудников для обсуждения изданного номера. Как полагается для истинных демократов, меня, автора большого, спорного романа, она не приглашала.

В отсутствие Яновского многоуважаемые и бездетные зубры уже ничем не стеснялись. Так что бедный редактор М. Карпович вынужден был даже на время приостановить печатание «Американского Опыта», пропустив один или два выпуска. Атаки против меня велись, главным образом, под знаком американского «патриотизма», и обвиняли меня в сочувствии к фашизму.

Только благодаря Федотову и еще нескольким доброжелателям, кажется, Извольской и Александровой, Карповичу удалось довести роман до конца. Надо отметить, что со смертью моего старого знакомого М. О. Цетлина стало легче вести дело с редакцией «Нового Журнала», то есть с М. М. Карповичем.

– Это наша принципиальность тому виною, – невесело улыбаясь, поучал Федотов, – наше несчастье – принципиальность русской интеллигенции. Эта принципиальность делает из культурных, благородных людей цензоров и жандармов. А Карпович пришел из совсем другой среды.

Как-то в самом начале моего пребывания в Нью-Йорке я отправился на вечер «приехавших из Европы»; когда собрание кончилось, мы все застряли у вешалки по вине Георгия Петровича.

– Что, калоши ищете? – пошутил я (По свидетельству Н. Федотовой, отец ее в Новом Свете первым делом побежал и купил себе калоши, напоминающие «Треугольник».)

Но оказалось, что Федотов потерял номерок и не может объяснить, как выглядит его пальто. Пришлось

дожидаться, пока народ разбредется; да и тогда Георгий Петрович воспринял свое пальто с долею недоверия, ибо он именно в это утро получил его в дар от какого-то благотворительного общества и не успел толком разглядеть. Анекдоты с одеждою – не случайность в жизни Федотова, они преследовали его до самого гроба, поэтому я о них упоминаю.

По болезни Георгий Петрович часто пропускал занятия в институте богословия. Его непосредственный начальник о. Флоровский, единственный современный, крупный русский теолог, вышедший из среды иереев, а не бывший «интеллигент, писатель, общественный деятель», человек желчный и обиженный «разными Бердяевыми», почему-то не доверял болезни Федотова, во всяком случае, не проявлял особой нежности и грозился его исключить. На этой почве между ними даже возникали распри, ничего общего с патристикою не имеющие. Так что, когда о. Флоровскому пришлось отпевать Георгия Петровича, то некоторые восприняли это как временное торжество врага.

В Си Клиффе собрался очередной съезд, кажется, студенческого движения. Я поехал туда, рассчитывая встретить многих старых друзей. Был жаркий, летний день, и я остановился у ресторанчика над заливом. За соседним столиком сидел В. Г. Терентьев, тоже освежаясь каким-то холодным напитком. Это он мне сообщил: «Вчера в госпитале скончался Федотов».

Из всех участников съезда наиболее удрученным и даже растерянным выглядел М. М. Карпович: в недалеком будущем ему предстояло последовать за Георгием Петровичем.

Тогда же, в Си Клиффе, я познакомился с одним из бывших учеников Федотова, о. Александром Шмеманом, с которым потом уже часто встречался в нашем философско-религиозном кружке. Таким образом, культурная преемственность оказалась установленною.

Судя по последним письмам Федотова к жене, он ушел от каких-то знакомых, где отдыхал летом, в местную, маленькую больницу: «Благодаря Синему Кресту здесь почти бесплатно, и уютно, и чисто, и тихо»…

– Под вечер, – рассказывала медсестра, – он сидел на диване в общей гостиной, с книгою и обязательной чашкою чая.

Это был некий чудесный и сложный акт в жизни Федотова: чай и книга – нераздельные. Сестра в последний раз видела его именно за этим занятием: пил глазами и губами, изогнувшись в халате. Когда спустя минут пять она вернулась в залу, Георгий Петрович был уже мертв.

Оставалось перевезти тело в Нью-Йорк и похоронить. Этим занялся один из новых друзей Федотова, Зубов, не знавший основных фактов биографии Георгия Петровича. Комнатка, где ютился профессор, при теологическом институте, оказалась запертою, а ключ застрял где-то в вещах покойного; между тем, похоронное бюро настаивало на том, чтобы усопший был облачен в черную пару (как говорится, dignified[18]). И местный друг Федотова, ничтоже сумняшеся, купил в магазине готового платья новенький темный костюм для покойного. По американскому обычаю, ему подкрасили щеки и губы; в гробу, посредине собора (на Ист. Второй улице), Федотов полулежал, как-то неосновательно, почти порхал. Я знал, что за последнюю четверть века Георгий Петрович ни разу не обзавелся новым платьем по мерке. И было больно смотреть на этот добротный пиджак, в котором его собирались хоронить.

---

[18] Облагорожен *(англ.)*.

IV

«Напишите так, чтобы каждое слово пахло!»

И. Фондаминский

Фондаминского в двадцатых годах я редко встречал. Говорили, что хоть он и числился редактором «Современных записок», о беллетристике не берется судить – не считает себя компетентным! И это мне нравилось.

Обычно в эмигрантских изданиях приличного толка господствовало убеждение, что только в оценке стихов требуется специальная сноровка или культура; прозу же любой честный общественный деятель способен прочесть и забраковать. Зарубежная поэзия от этого явно выигрывала; стихи отправляли экспертам или же их печатали «на веру», руководствуясь мнением ведущих критиков… Верстали рифмованные строки между отрывками прозы – на манер виньеток. Разумеется, главное преимущество виршей заключалось в их портативности. Они занимали мало места и не мешали вести точный подсчет советским преступлениям.

В прозе же, извините, Вишняк-Руднев («Современные записки») и Слоним («Воля России») сами хорошо разбираются и в консультантах не нуждаются: на мякине их не проведешь! Результаты оказались совершенно плачевными для «Воли России»; в «Современных записках» эта установка была постепенно сломлена сплошным напором молодой литературы и еще благодаря поддержке Фондаминского, на собственный вкус не полагавшегося и прислушивавшегося к общественному мнению…

Истина заключалась в том, что для оценки художественного произведения у этого типа поколения людей (в другом плане весьма замечательных) совершенно отсутствовали соответствующие органы. Мне всегда казалось,

что если бы иной редактор долго нюхал рукопись, то он бы понял гораздо больше, чем только читая ее.

На крупном смуглом лице Фондаминского не последнее место занимал нос с мягкими раздувающимися ноздрями; весь облик его был несколько чувственный, яркий, похожий на горца, чеченца – статный, красногубый, с темным горячим взглядом из-под совиных дугою бровей. Позже, уговаривая нас писать статьи для «Нового града» или «Новой России», он обязательно добавлял:

– Только напишите так, чтобы каждое слово пахло! – и прижимал сложенные в щепоть пальцы к живым, красивым ноздрям, смачно втягивая воздух, точно наслаждаясь воображаемым ароматом нашего будущего творения.

Другие редакторы «Современных записок» были настроены скорее скептически и не ждали от нас проку… Руднев был деликатнее Вишняка, осторожнее, глубже, но в сущности страдал той же болезнью непогрешимой «принципиальности». Он только стелил мягче и умел выслушать человека, не сразу прерывая его. Когда Руднев заявлял: «Этого я не понимаю…», – то, естественно, всем объяснениям наступал конец. Эти люди в целом как поколение на редкость ограниченные, главным образом полагались на свой разум. То, чего Зензинов «не понимал», не существовало, не должно было существовать в приличной литературе.

Был Руднев честнейшим, порядочнейшим русским интеллигентом, социалистом, земским врачом. Мне случалось видеть на лице его следы подлинного страдания, когда он возвращал рукопись молодому писателю, которого считал талантливым. Но увы, «этого я не понимаю…»

Долг прежде всего, причем долг именно в собственной интерпретации, без поправок и компромиссов.

Бытовым образом В. Руднев тяготел к православию, любил русскую церковь и ходил туда по большим праздникам; но не понимал, как это можно спорить о религии или заниматься теологическими тонкостями. Религия – частное дело гражданина, личное! Она должна быть отделена от государства и всей общественной жизни человека. Более преступную чепуху трудно себе представить, хотя исторически она, по-видимому, оправдана.

Разумеется, при таких настроениях появление Бердяева, Федотова и мистически настроенной молодежи в недрах «Современных записок» (и из номера в номер) можно счесть за чудо! Здесь сказалось влияние Фондаминского.

Впрочем, время работало всецело, увы, недолго, на нас. И к 1936 году появились книжки журнала без единого «старика», все сплошь молодежь. А в статьях только «мистики и мракобесы». Никаких Шмелевых, и даже без Алданова. А тема Учредительного собрания незаметно сменилась мистикою демократии, равенством Богом сотворенных душ и грядущим тысячелетним идеалом.

И Руднев с Вишняком не могли не почувствовать себя обойденными…

В начале тридцатых годов Фондаминский редко показывался на нашем Монпарнасе. Амалия Осиповна, его жена, мучительно умирала от туберкулеза и поглощала все внимание домашних. В 1933 году, кажется, ей стало совсем плохо, и тогда решили прибегнуть к услугам И. И. Манухина, просвечивающего селезенку рентгеновскими лучами. (Это он якобы спас Горького и доконал Екатерину Мансфильд.) Реакция организма на эти лучи такой силы, что больной либо незамедлительно умирает, либо поправляется.

После нескольких сеансов жене Фондаминского стало совсем худо, и она вскоре скончалась. У Фондаминского

проживал В. М. Зензинов, друг семьи, платонически влюбленный в Амалию Осиповну, близкие его прозвали «старой девой»; оба они тяжело, но по-разному переживали потерю.

Зензинов удалился в свой кабинет и засел писать воспоминания «влюбленного террориста», как мы шутили. А Фондаминский ринулся, точно носорог, в общественные джунгли, не разбирая тропинок, нагружая на себя множество лишних обязанностей и поручений. Постепенно, будучи человеком впечатлительным и компанейским, он искренне увлекся этой деятельностью, вначале задуманной в целях терапевтических.

Вот тогда он затеял «Круг»: место встречи отцов и детей – где спорили и беседовали на религиозно-философские и литературные темы.

В связи с этим начинанием весною 1935 года мы с ним часто сходились на террасах уютных кафе. Фондаминский прибегал озабоченный, помятый, раскладывал листки бумаги на столе перед собою, называл фамилию и внимательно слушал, часто, впрочем, отводя глаза; затем делал значок – рядом с другими крючками – против имени очередного кандидата в «Круг». Советовался он со многими, сопоставляя наши суждения и пожелания, критически их взвешивал, а потом принимал собственное решение.

В главном мнения наши, очевидно, совпадали: мы не сговариваясь, единодушно, забраковали Поплавского.

Тогда мне казалось, что приятного человека надо обязательно пригласить в «Круг», даже если он не блещет особыми талантами. Ибо талантов на Руси хоть отбавляй! А любезных собеседников мало. Этого Фондаминский не мог понять, хотя не спорил со мною. Только много позднее я догадался, до чего такой подход должен был казаться ему наивным или глупым. Он крепко верил в «способности», «миссию», «работу», «заслуги», «чины»…

По отношению к Мережковским споров тоже не было: никто их не желал в «Круге». Иванова без Одоевцевой пригласили: его идеологию почему-то никогда не принимали всерьез.

К концу лета и был организован «Круг». Кстати, названия этого никто не придумывал: оно возникло само собою и оказалось идеальным. С осени мы начали собираться у Фондаминского на 130, Авеню де Версай – каждый второй понедельник.

Итак, «Круг», а также внутренний «Круг» и альманах «Круг», «Современные записки», «Русские записки», «Новая Россия». Наряду с этими делами у Фондаминского еще была уйма забот. «Православное Дело», младороссы («Круглый стол») и бывшие младороссы, «Новый Град», Пореволюционный Клуб Ширинского-Шихматова, русский зарубежный театр… Любое эмигрантское объединение приличных форм, то есть не погромное и не раздаривающее немцам или японцам кусков России, обращалось к Фондаминскому за моральной и материальной помощью. И он поддерживал всех в разной мере – на худой конец, ограничиваясь только советами организационного и практического порядка. Он выступал на бесчисленных вечерах: развивал, убеждал, усовещивал, сеял «разумное, доброе, вечное», даже шел в «зарубежный народ»: ездил по провинции с наивными докладами. Во всем этом им руководствовали исконно русские, народнические и христианские идеалы.

Не знаю точно, когда началось его увлечение православием, но к этому времени он уже говел в русской церкви. Кружок «Православное Дело» с матерью Марией и бывшим католическим священником, ставшим православным иереем, собирался регулярно на 130, Авеню де Версай и, вероятно, тешил сердце Фондаминского больше всех других организаций и клубов.

Он был историком по образованию и призванию; его «Исторические пути России» не лишены особой ценности даже теперь. Но «актуальная» история всю жизнь ему мешала заниматься научным трудом. Сперва подполье, «Земля и Воля» заслоняли предмет истории. Во время бунта «Потемкина» он съездил на один из восставших военных кораблей и произнес соответствующую речь – за что был судим военно-полевым судом и только чудом избег виселицы. (Фондаминский рассказывал, что, сидя в одиночной камере, дожидаясь смерти, он впервые на опыте ощутил реальное присутствие живого Бога и, кажется, молился.)

В эмиграции общественная и политическая сутолока опять-таки помешали ему отдаться любимому детищу: истории!

– Я знаю, что приношу больше пользы этой деятельностью, – говорил он со вздохом. – Вы думаете, мне интересно возиться с актерами и меценатами… Вот вы, писатель, но иногда надо принести жертву и пойти к чужим людям, попробовать их наставить, просветить.

Так он подгонял нас и даже вводил своеобразную общественную нагрузку, Фондаминский был неисправимым оптимистом:

– Подождите, подождите, всё будет: и журнал, и издательство, и читатели, и даже правительство…

Материально он был совершенно обеспечен, что, конечно, питало оптимизм, но и бередило традиционные центры покаяния. Семья Фондаминского имела прямое отношение к чаю Высоцкого. В те дела он совершенно не вмешивался – за что, как утверждали, ему фирма выплачивала приличное содержание. Разумеется, после встреч днем и ночью с эмигрантской нуждой, даже в среде ближайших соратников, Фондаминскому, должно быть, часто становилось не по себе. Так что его

поневоле приходилось жалеть. (По вещему слову Шаляпина, одной дряхлой просительнице: «Вы думаете, что просить тяжело? Нет, отказывать еще тяжелее!»)

Для себя лично Фондаминский ничего уже не желал, никаких выгод не искал, что ставило его в роль почти беспристрастного арбитра. Мы и другие группы неукоснительно выбирали его своим председателем, и было совершенно ясно, что без этого замечательного человека все немедленно перессорятся и гордо разойдутся по своим медвежьим углам. Что и случилось после войны… И все слабые попытки творческого объединения рассыпались под напором смут, интриг, вожделений очередных вождей и лидеров. Ценность Фондаминского стала понятной только теперь. Такие люди необходимы для возникновения культурного центра с положительной иерархией и руководящим общественным мнением. Их нам недостает, пожалуй, больше, чем Бердяевых или Герценов.

Кстати, о Герцене… Фондаминский преклонялся перед этим великим эмигрантом и горевал, что в нашей среде «Герцена не оказалось». Когда появился Солоневич со своим первым романом хроникой, то Илья Исидорович, любивший спешить, сразу заявил:

– А Герцен-то появился у них!

У «них» значило у крайне правых, против которых у Фондаминского не было слепой злобы: он готов был спорить с любым честным врагом. Я его иногда встречал в самой неподходящей, получерносотенной компании: вел он себя с отменным достоинством и явно испытывал творческое наслаждение от борьбы со знакомым противником. «Принципиальность» в старом русском понимании, боязнь «загрязнить ризы», характерные для интеллигентских зубров, все это он явно порицал. И сумел перетянуть на свою сторону многих

современников. На обеды «Круглого Стола» с Казем-Беком Фондаминский повел уже целую группу старых и новых друзей.

Его всепоглощающая, бескорыстная, утомительная деятельность, очевидно, давала ему некоторое право обращаться с людьми как со строительным материалом (или как с шахматными фигурами). Он расставлял нас всех на доске и старался использовать для дела, сообразуясь только с качествами, влиянием и, главное, общепризнанной репутацией данного сотрудника…

Для каждого человека у него было свое место согласно особой шкале ценностей. Для Бердяева у Фондаминского была одна расценка, для Федотова и Степуна – другая, для Адамовича и Сирина – третья, для нас, наконец, – четвертая. Были люди, которых он низко ставил в русском плане, но высоко в иностранном: французском или английском. Все это создавало сложную бухгалтерию, в которой только он один разбирался, не отчитываясь. В принципе, Фондаминский не отрицал возможность перехода из одной категории в другую, но не любил такого рода беспорядок и скрепя сердце подчинялся повороту общественного мнения. (Русские радикалы и бунтари, по существу, самые консервативные души.)

Это порою безжалостное отношение к товарищам и спутникам, суждение о них по внешним удачам, чинам, медалям, отзывам прессы – в революционере, чуть ли не террористе, мне кажется, подчеркивает основной парадокс, характерный для всего последнего поколения общественных деятелей… Героическое, честное, но в чем-то главном бездарное, лишенное оригинальности и независимости даже в микроскопических дозах.

Церковное христианство незаметно для внешнего взгляда преображало Фондаминского. Свой религиозный опыт он отводил далеко назад – еще к истокам и годам юности.

В наших спорах, где мистики сражались с агностиками и скептиками, он был неизменно на стороне верующих (с упором на социальную справедливость). Раза два он говорил о своей первой «встрече» с Богом. Тогда этого не понял, а, в сущности, из крепости он вышел новым человеком… Но потребовалась еще четверть века, чтобы все сообразить и объяснить. Его рассказы были трогательны, но не интересны: теологическая интуиция у него, кажется, отсутствовала.

Много и смачно Фондаминский распространялся на политико-социальные темы: это как будто не было главным занятием «Круга». Но вскоре – между Аншлюссом и Данцигом – геополитика стукнула нас по темени. Гады опять зашевелились совсем близко, поднимая древние головы. В воздухе запахло кровью друзей, братьев, соседей, униженных и героев… В победе демократии Фондаминский, оптимист, не сомневался.

Любил он говорить и на специальные исторические сюжеты. Фондаминский изучал эпоху Николая I-го и, погрязая в ней всю жизнь, постепенно влюбился в императора с мутно-свинцовым взором, которого одинаково ненавидели и Герцен, и Толстой.

Это Фондаминский мне преподал, что царствование Николая Палкина следует рассматривать психологически. В первые дни новой монархии вспыхнул бунт, поразивший и напугавший «помазанника Божьего». И вся последующая жизнь императора психологически была ответом на кощунственное восстание 14 декабря. (Поведение современных диктаторов и даже президентов станет понятнее, если вместо социологии и геополитики мы начнем уделять должное внимание житейской психологии.)

Но главный гений Фондаминского заключался в его организаторском таланте. Если бы ему суждено было стать святым, то он избрал бы подвиг не философа,

вроде Фомы Аквинского, и не мистика, типа Иоанна Креста, а, скорее, хозяина и строителя, Стефана Пермского, просветителя зырян.

Он был одним из учредителей и редакторов журнала «Современные записки». Но читать рукописи и писать письма могут и Руднев, и Вишняк. А вот создать материальную базу для издания в эмиграции и объединить все живые силы литературы, философии, религии, науки не только условно левого толка – это задача посерьезнее и потруднее! Во-первых, журнал должен расходиться, а не залеживаться на темном складе… А затем надо искать новых людей, новые таланты, нужно приглядываться, прислушиваться, принюхиваться – без всяких предвзятых мнений. Этим занимался Фондаминский. И если к середине тридцатых годов «Современные записки» превратились в ценнейший толстый журнал, лучший в истории русской культуры – и не только эмигрантской, – то в этом заслуга, главным образом, И. И. Фондаминского.

Он приглашал в журнал Бердяева и о. Булгакова, защищал прозу Цветаевой (читал ее Федотов), улаживал конфликты с Рудневым и Вишняком, которые постоянно выдвигали принципиальные жандармские возражения… Даже главу Сирина из «Дара», посвященную Чернышевскому, Фондаминский соглашался печатать, но Вишняк устроил дикую истерику. Примечательно, что Фондаминский уважал Чернышевского отнюдь не меньше, чем Вишняк. «Типичный интеллигент, член ордена», – говорил он с восхищением об авторе «Что делать?».

Когда из провинции приезжали меценаты, готовые затеять новое издание, Фондаминский неизменно поддерживал такую затею, другие редакторы пугались возможной конкуренции. После выхода первой книжки «Русских записок» Руднев удовлетворенно повторял:

– Ну что, какое гениальное произведение там напечатано, которое не могло бы появиться в «Современных записках»?

– Мой «Двойной нельсон», вы его забраковали! – отвечал я. В эту минуту я чувствовал, что этот добрейший, честнейший порядочнейший гражданин – мой враг!

Сотрудничество в «Современных записках» было обставлено всевозможнейшими затруднениями для нас, новых писателей. Объяснялось это отнюдь не злой волей и интригами, а единственно тем, что люди старшего поколения, типа Руднева, Вишняка, воспитанные на идеалах «Буревестника» и прочей дребедени, понимали только определенный род литературы, по существу не во многом расходясь с Плехановым или Бухариным. Знаю, что и Куприн, Шмелев или Зайцев тоже не считали наши творения достойными внимания, что шепотом и высказывали неоднократно. Во всяком случае, они никого не поддерживали.

Бунин отметил только одного Зурова из всех молодых писателей за рубежом: последний писал, разумеется, в одном ключе с Буниным. О Сирине, старшем по возрасту и добившемся признания еще до войны, Бунин, кажется никогда в печати не отозвался с решительной похвалою.

Проза всходила медленно на чужой почве: такова природа ее. Но поэты наши достигли положенного им блеска еще в тридцатых годах. Поплавский, Червинская, Ладинский, Штейгер, Кнут, не говоря уже о старших: Ходасевич, Цветаева, Иванов, Оцуп. У них было бы чему учиться Бунину! Но Иван Алексеевич упорно отстаивал свою самобытность, не признавая никаких новшеств, – как в прошлом, он отвращался от эпохи Блока и Белого. В этом диалектика зубра, не эпигона: он самостоятельно вымирает, не способный к сложным

мутациям. Бунин гордился тем, что на него не оказали влияние «никакие там Прусты и Кафки». Увы, не оказали…

– Иван Алексеевич, – сказал однажды Ставров Бунину на Монпарнасе, – мы вас любим не за ваши стихи.

– И я вас люблю не за ваши стихи! – привычно отгребся Бунин. (За что же он все-таки любил монпарнасцев?)

Теперь в Советском Союзе стихи Бунина переиздаются и даже пользуются успехом. Бедный социалистический реализм!

Журнал «Современные записки», как все зарубежные издания, терпел убытки: подписка не покрывала расходов. Редакция задыхалась от количества присылаемого материала, при трех книжках в год. Один Алданов 20 лет подряд печатался там из номера в номер. Понемногу к нему присоединился (даже вытесняя) Сирин.

Конечно, Фондаминский и Цетлин, люди состоятельные, могли бы жертвовать деньги, но это бы не разрешило основного вопроса. Речь шла о том, чтобы создать коммерческую базу для журнала, найти активного читателя: продавать, а не гноить литературу на складе.

И Фондаминский создал еще один «орден» – дамский – для распространения билетов на ежемесячные доклады «Современных записок». Дам этих, в меховых саках, нельзя было раз навсегда объединить: с ними тоже приходилось встречаться регулярно за чайным столом, беседовать, поддерживать интеллектуальную связь. Кроме того, надо было снимать зал ежемесячно и находить подходящего, интересного докладчика… Даже пронумеровать стулья в Лас-Казе, потом собрать и спрятать билетики для следующего вечера. И выслушивать упреки «меховых» дам по поводу Жаботинского или Ростовцева (уклоняющихся, кажется, в фашизм).

После одного такого вечера я, жертвуя веселым обществом на Монпарнасе, предложил корпевшему над стульями Фондаминскому помочь ему привести в порядок хозяйство, Зензинов подсчитывал кассу. Илья Исидорович с благодарностью согласился, но через минуту, покосившись в мою сторону, сказал:

– Идите, идите, я знаю, вам хочется к друзьям.

И я убежал от общественной нагрузки, не выходило это у нашего поколения.

Зензинов был всегда рядом в таких случаях: молчаливый и часто хмурый, скептически настроенный. Думаю, что если бы он оказался во Франции во время последнего похабного мира, то судьба Фондаминского (или самого Зензинова) сложилась бы по-иному.

«Круг» собирался через понедельник… Квартира Фондаминского на rez-de-chaussee[19]. Входная дверь вела в маленькую прихожую, дальше столовая, где за длинным столом мы пили чай и ели сладкие булочки до заседания. Из столовой лестница вела в подвал: там кухня и комнаты для прислуги. Следующая за столовой проходная комната Зензинова: кровать, письменный стол, машинка и пачка американских сигарет. На этом «Ремингтоне» Зензинов днем писал свои воспоминания о неудачной любви, а может быть, вообще, о неудачной жизни. Я раза два опустошал его запас сладких папирос «Локки Страйк», и с тех пор он больше не оставлял пакета на виду.

У меня, писателя, в Париже не было своей пишущей машинки. (А. Толстой увез «ундервуд» М. С. Цетлиной.)

Когда я заканчивал повесть или рассказ, то обычно шел к Юрию Алексеевичу Ширинскому-Шихматову, главе пореволюционного клуба и редактору «Утверждений».

---

[19] На уровне тротуара *(франц.)*.

Его женой была вдова Бориса Савинкова, Евгения Ивановна. В их доме я провел много волнующих и поучительных часов, дней, ночей, погружаясь в живое прошлое двуглавой России.

Отец Юрия Алексеевича был обер-прокурором святейшего синода, член государственного совета, он имел привычку повторять: «Правее меня – стенка!»

Юрий Алексеевич, бывший правовед и кавалергард, проделал поворот на все 180 градусов: от «правой», почти черносотенной «стенки», до «левой», пореволюционной, национал-максималистской. Евгения Ивановна, княгиня Савинкова, как мы ее иногда называли, являлась живым преданием эпохи динамита и генерал-губернаторов; здесь имена Хомякова, Леонтьева, Каляева, Сазонова произносились словно клички кузенов.

Вот в этом доме охотно снабжали пишущей машинкой, и я мог ею пользоваться без ограничений.

Теперь, бывая так часто у Фондаминского, я, естественно, счел уместным попросить машинку на денек.

– Ну что вы, что вы, – урезонивал меня Фондаминский, – разве вы не знаете, что велосипед, фотографический аппарат и пишущую машинку никто никому не одалживает.

Я этого, к счастью, не знал. Кроме машинки князя Ширинского, я обычно брал еще велосипед – у доктора З… (К фотоаппаратам я питал некого рода отвращение). По-видимому, такое благоговение перед произведениями индустрии было типичным для социалистов аграрных стран.

За проходной комнатой Зензинова находился огромный кабинет Фондаминского; там, на кожаном диване, он спал, постлав себе простыню. Из этого кабинета можно было выйти прямо в общий коридор дома, а затем на улицу, не проходя через парадную

дверь квартиры. Чем мы иногда пользовались, так как у Фондаминского собирались разные фракции, порой враждебные.

Я обычно приезжал на велосипеде, с юных лет тяготея к независимости и страдая от мещанского расписания последних поездов метро. В свитере и брюках «гольф» я вносил свой велосипед в маленькую прихожую, раскрасневшийся, внешне активный и бодрый. Илья Исидорович меня несколько раз встречал одним и тем же возгласом:

– Как это вам удается всегда сохранять такой энергичный вид? (или что-то в этом духе).

Для него было загадкою, как можно переносить, не возроптав, наш образ жизни, полный лишений. Думаю, что если бы он очутился в эмиграции с самого начала нищим и одиноким, то не выдержал бы испытаний и, вероятно, кончил бы самоубийством.

В его квартире доживала век пара сиамских кошек, любимцы покойной Амалии Осиповны. Насквозь избалованные, таинственно-развратные, аристократические существа, явно бесполезные, но претендующие на особое внимание.

Я вырос среди зверей и домашних животных, люблю их и понимаю, однако стою за строгую иерархию: считаю ее справедливой – никакая демократия здесь не уместна. Собака или кот не должны сгонять человека с лучшего места; я бы даже сказал, что им полагается уступать нам первенство.

Надо было видеть удивление, даже возмущение этих сиамских высочеств, когда я их сметал с удобного кресла и сам устраивался в нем… Фельзен только посмеивался, как расшалившийся гимназист: «С ними, вероятно, еще ни разу в жизни так грубо не обращались», – произносил он своим тихим, твердым, с дружескими интонациями голосом.

Когда народ сходился, сиамцы исчезали внизу, где кухня.

Чай разливал Зензинов. У них был маленький самоварчик с краном, подвешенный над спиртовкою – его постоянно доливали кипятком из большого чайника: спиртовка поддерживала температуру и мурлыкание. Фондаминский озабоченно спрашивал, обращаясь ко мне или к Софиеву:

– Вам, конечно, покрепче! – что меня даже удивляло. Только постепенно я догадался: крепкий чай был для ряда поколений русских интеллигентов, от петрашевцев до эсеров, чем-то вроде гашиша… И Фондаминский представлял себе, что мы в России пили бы чай покрепче. Увы, я не укладывался в традицию и по вечерам пил только винцо или коньяк. Коньяк, по понятиям наших гурманов, даже Бунина, попахивал клопом.

Постепенно все собирались; отпившие уже чай переходили в кабинет, уставленный дорогими сердцу книгами, их потом выманил у Фондаминского очаровательный немецкий полковник. Каждый постоянный член «Круга», в общем, имел свой любимый угол дивана или привычный стул, где и располагался.

– Бердяев через полтора часа должен уезжать, – оповещал нас Фондаминский со своего председательского места за письменным столом. – Так что, если мы желаем, чтобы он успел всем возразить, надо ограничить время выступлений.

Вот как Адамович в Table Talk («Новый Журнал», № 64, 1961 г.) описывает вечер «Круга»:

«Собрание у Ильи Исидоровича Фондаминского-Букакова. Поэты, писатели – “незамеченное поколение”. Настроение тревожное и разговоров больше о Гитлере и о близости войны, чем о литературе. Но кто-то должен прочесть доклад – именно о литературе.

С опозданием, как всегда, шумно, порывисто входит мать Мария Скобцева (в прошлом Кузьмина-Караваева, автор “Глиняных черепков”), раскрасневшаяся, какая-то вся лоснящаяся, со свертками и книгами в руках; протирая запотевшие очки, обводит всех близоруким, добрым взглядом. В глубине комнаты молчаливо сидит В. С. Яновский.

– А, Яновский!.. Вас-то мне и нужно. Что за гадость и грязь написали вы в “Круге”! Просто тошнотворно читать. А ведь я чуть-чуть не дала экземпляр отцу Сергею Булгакову. Хорошо что прочла раньше… Мне ведь стыдно было бы смотреть ему потом в глаза!

Яновский побледнел и встал.

– Так, так… Я, значит, написал гадость и грязь? А вы, значит, оберегаете чистоту и невинность о. Сергея Булгакова? И если не ошибаюсь, вы христианка? Монашка, можно сказать, подвижница? Да ведь если бы вы были христианкой, то вы не об отце Сергее Булгакове думали бы, а обо мне, о моей погибшей душе, обо мне, который эту грязь и гадость… так вы изволили выразиться?.. сочинил! Если бы вы были христианкой, вы бы вместе с отцом Сергеем Булгаковым ночью прибежали бы ко мне плакать обо мне, молиться, спасать меня… а вы, оказывается, боитесь, как бы бедненький отец Сергей Булгаков не осквернился! Нет, по-вашему, он должен быть в стороне, и вы вместе с ним… подальше от прокаженных!

Мать Мария сначала пыталась Яновского перебить, махала руками, но потом притихла, сидела низко опустив голову. Со стороны Яновского это был всего только удачный полемический ход. Но по существу, он был, конечно, прав, и мать Мария, человек неглупый, это поняла – вроде как когда-то митрополит Филарет в знаменитом эпизоде с доктором Гаазом».

Адамович почти точно передает сущность нашего спора. Он ошибается только в одном: это не было

позою с моей стороны, не было «удачным полемическим ходом». Мы тогда так действительно думали и чувствовали.

После собрания, пропустив последнее метро, оставались еще самые отчаянные полуночники, а также аборигены 16-го аррондисмана, вроде Фельзена, Вейдле или «берлинцы», квартировавшие у Фондаминского: Сирин, Степун. Опять появлялся чай, покрепче; хмурый Зензинов исчезал в своей проходной комнате.

Постоянно присутствовали на этих вечерах Адамович, Иванов, Фельзен, Вильде, Яновский, Софиев, Варшавский, Червинская, Кельберин, Мамченко, Терапиано, Юрий Мандельштам, Алферов, Зуров, Вейдле, Мочульский, чета Федотовых, мать Мария, Савельев, Гершенкрон, С. Жаба, Н. Алексеев. Шаршун, Емельянов, Ладинский… не припомню всех. Изредка появлялись: Керенский, Бердяев, Шестов, Франк, Цветаева, Степун, Извольская, Штейгер, Кузнецова, Андреев, Сосинский.

Наведывались и «деятели» из чуждых нам эмигрантских группировок, которым Фондаминский старался помочь или внушить «доброе, вечное». Приходили загадочные личности, шпионы, подосланные из Союза, или просто несчастные беженцы, невозвращенцы. Все заворачивали в штаб-квартиру Фондаминского. Когда обнаружилось, что к телефону Фондаминского «подключились» неведомые нам родные «патриоты», он буквально расцвел. На первой странице «Пари суар» крупное улыбающееся лицо Фондаминского сияло от радости – наконец он получил давно ожидаемое признание от Эльбруса Человечества.

Хорошо помню одну русскую тетку – кубышка, грудастая, разумеется, соболиные брови и вдобавок беременная. Только что пробралась в Париж из Турции, где ее муж – Раскольников – советский полномочный

представитель выпрыгнул из окна посольства, а может, бывшие его друзья спихнули посла как персону нонграта с крыши особняка. Этот Раскольников в октябре семнадцатого года пальнул с крейсера «Аврора» по Зимнему дворцу и разогнал последний оплот демократического режима. Фондаминский был тогда комиссаром Черноморского флота, а Керенский – главой правительства и верховным главнокомандующим.

Беременная вдова присутствовала на нескольких наших собраниях и «чаях». Если не ошибаюсь, Фондаминский – святая душа, приютил ее на время у себя на квартире. Она смотрела пристально своими немигающими холодными бесцветными глазами, прислушивалась к нашим импровизациям и, я теперь понимаю, все решала: провокаторы мы или сумасшедшие, а может, и то, и другое. После долголетнего советского опыта она иначе не могла, кажется, думать.

Признаюсь, трепет охватил меня, когда я впервые увидел ее в мирной столовой за стаканом чая визави учтивого Керенского. Еще один круг сомкнулся. Мне вдруг стало ясно, что история имеет смысл, часто даже противоположный нашим ожиданиям, но разобраться в этом трудно, остановившись где-то посередине процесса.

Как эта женщина прошла через годы оккупации, вернулась ли она к Отцу Народов, и что ждало ребенка, я не знаю.

Здесь уместно рассказать об одном эпизоде – не историческом – из моей личной жизни, память о котором вызывает во мне подобный же «священный» трепет.

Через много месяцев после издания моей повести «Любовь вторая» я неожиданно получил письмо из Риги от весьма известного в дореволюционной России писателя Наживина. Ему моя новая книга понравилась, и он «осторожно» мне об этом сообщал. Я ему ответил приблизительно так:

«Дорогой друг! Простите, не знаю Вашего отчества.

Спасибо за ласковое приветствие. Полагаю, что Вам “Любовь вторая” понравилась, иначе зачем было Вам писать мне. Но к делу…

Жил-был мальчик в России. При переходе во второй класс гимназии его наградили “передержкой” – надлежало сдать осенью дополнительный экзамен по французскому языку. В помощь призвали студента Бориса Гейбинера, который подрядился посвятить юнца во все тайны неправильных глаголов. Студент оказался, кстати, вегетарианцем и убежденным толстовцем. Это на меня повлияло, и я немедленно тоже заделался вегетарианцем, впрочем, ненадолго. Сестры не то из родственных чувств, не то из зависти бесконечными укорами заставили меня снова прибегнуть к “питательному” мясу. Но влечение к толстовцам и их книгам сохранилось. Я мог приобретать только дешевые издания “Посредника”, и я составил себе библиотечку из этих брошюр. Среди них была одна – называлась, кажется, “О чем говорят звезды”, где повествовалось о богдыхане, который однажды ночью вышел из дворца и был поражен зрелищем многочисленных мигающих звезд, старавшихся ему что-то внушить. Богдыхан, разумеется, созвал магов и астрологов со всего государства и приказал им немедленно разгадать, о чем говорят звезды.

Задача была нелегкая. Мудрые старцы и кудесники приуныли, но, как полагается, среди них нашелся один посмелее и поумнее. Когда весь ареопаг собрался наконец во дворце, он выступил вперед и с подобающими книксенами сообщил богдыхану: “Звезды, великий государь, говорят о любви”.

Вот эту книжонку я облюбовал и перечитывал несколько раз. Прошло много лет, гимназистик бросил свою библиотеку на произвол судьбы, и не в последний раз, переступил, с визами и без оных, много границ, окончил Сорбонну, изучил почти все неправильные глаголы, написал несколько книг, среди них “Любовь вторая”, где повествуется о заповеди небесной любви для нашей земли. И вот приходит письмо, как рукопожатие, как братское благословение от автора моей заветной сказки “О чем говорят звезды”.

Не знаю, как Вас, Иван Наживин, но меня эта "замедленная" духовная бомба, вдруг взорвавшаяся в парижском отеле и соединившая нас в разных временах и фазах, потрясла, вызвала душевный трепет. Я убедился в осмысленности каждого нашего шага, даже бессмысленного.

Ваш В. С. Я.»

Не уверен, одобрит ли читатель это мое отступление, но я считаю его оправданным, и теперь могу опять вернуться к «Кругу» и его постоянным или случайным гостям.

Савельев, маленький, коренастый «берлинец», по своей инициативе начал вести краткие протоколы наших собраний, которые оказались столь интересными, что их печатали в «Новом граде». Разумеется, мы остались недовольны работой Савельева, его стилем; в результате, милейший и честнейший, но чрезвычайно нервозный Савельев заявил:

– Пишите сами, я вам больше не секретарь.

Как и следовало ожидать, никто не взял на себя эту обязанность, и дальнейших внешних следов наших споров, по-видимому, не сохранилось.

Из присутствующих, однако, не все принимали деятельное участие в разговорах. Думаю, что Шаршун или Емельянов ни разу не раскрыли рта на собрании, и, однако, по-своему они тоже питали нашу беседу.

Штейгер уверял, что он мало говорит в «Круге», потому что все для него важное он высказывает в стихах… И это звучало напыщенной фальшью. Мы тоже самое нужное старались выразить в нашей основной работе. Но встречи в «Круге» служили пробой оружия, там проверяли последние, усовершенствованные модели мысли. Эти собрания несомненно заряжали и заражали творческой энергией; хотелось сразу, завтра же, сесть и доказать свою правоту.

Толстой в «Детстве и отрочестве» пишет именно по этому поводу… «В метафизических рассуждениях,

которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другою и, становясь все более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее».

Нечто подобное, мне кажется, часто происходило в «Круге». И только дурные, мертвые люди могли этого не понимать. Впрочем, парады нюрнбергских шизофреников становились все бойче и назойливее, окрашивая в бурый цвет и наши беседы. Вульгарная политика чаще и чаще отравляла наши души.

В результате этих бесконечных встреч мы действительно начали ощущать себя как некое интеллектуальное или духовное целое. Вокруг наших разговоров, самонадеянных и подчас трескучих, все же иногда носились искры оригинальной мысли, свидетельствующей о подлинной жажде не только понять жизнь, но и служить ей.

А рядом, на широких полках, теснились славные, знакомые фолианты – точно рыцари с поднятыми забралами… Там, там были наши союзники, предтечи, братья. В сущности, «Круг» был последней эмигрантской попыткою оправдать вопреки всему русскую культуру, утвердить ее в сознании как европейскую, христианскую, родственную Западу. И на этом поприще одинаково подвизались наши прустианцы и почвенники, евразийцы и неославянофилы.

Вскоре Гитлер шагнул за Рейн; кто хотел и мог примазался к его обозу. Потом Сталин вступил в Европу. И опять, кто успел или пожелал побежал за ним,

часто именно те, что уже продавались немцам. Мир опять распался на составные враждебные части…

Все мы с самого начала высказались против Мережковских как членов «Круга». И Фондаминский подчинился.

От Муссолини к Гитлеру – тут, в общем, особого сюрприза нет в паломничестве Дмитрия Сергеевича.

А через год Фондаминский вдруг выставил кандидатуру Злобина. Это нас изумило. Злобин политически не лучше Мережковских и не обладает ни их шармом, ни талантами… Зачем он нам?

– Вот именно, – объяснял Фондаминский. – Мережковский сила, с ним трудно и утомительно спорить. А Злобин, кто такой Злобин? Неужели вы боитесь Злобина? Пусть сидит здесь, а потом расскажет Мережковским, может, они научатся чему-нибудь.

И Злобин к самому концу, уже перед войной, появился на собраниях «Круга», сел рядом с Ивановым на диване.

Несмотря на весь демократизм Фондаминского, он умел настоять на своем против воли большинства. Помню очередные выборы в правление «Круга» и мой наивный упрек: «Надо было все-таки им дать возможность высказаться…»

– В чем дело, Яновский, – прервал меня Фондаминский, – неужели вы не понимаете, что настоящие выборы произошли у меня на квартире в прошлую пятницу, днем. Вот тогда мы учли, кто кого представляет, и кто будет полезен делу. А сегодня это пустая формальность. Если окажется, что мы ошиблись, то мы завтра можем кооптировать нового члена или исключить старого, ненужного члена правления.

«Выборы произошли в прошлую пятницу у меня на квартире» – эту роковую фразу я услышал тогда

впервые и только постепенно сообразил, какой грех за нею стоит: увы, все выборы в эмиграции производились таким путем.

С одной стороны, немцы и коммунисты, размахивая пистолетом, предлагают: «Кто против, подними руку»… А с другой стороны, мы – демократы: «Выборы произошли в пятницу у меня на квартире». Сколько зарубежных хороших дел рушилось от этого беспринципного, сволочного, большевистского (эпохи Иоанна Грозного) ловкого приема.

У нас принято перед выборами исключать ненадежных субъектов хотя бы за неуплату членского взноса. Или же наоборот, пополнять кворум десятком новых, милых сердцу, веселых ребят. Как объяснить эту подлую практику в среде уважаемых антимарксистов? Действительно ли тут дело только в Ленине и Нечаеве?

Нет ли более глубоких, интимных причин? Достаточно прочитать про выборы казачьего атамана или приходского совета, чтобы прийти в ужас.

Легко перенять на Западе пятихвостку, импортировать ее! Но тут что-то важное ускользает от русского реформатора… Без свободы не может быть выбора. Обман и подтасовывание при голосовании так же бессмысленны как в церковной службе – подпиливаешь сук, на котором сидишь.

После доклада и короткого перерыва начинались прения, в которых мы все отводили душу. Должно отметить, что та степень свободы, которая досталась нам в Париже тех лет, редко выпадала на долю какого-нибудь другого поколения русских людей: здесь объяснение многих удач того периода эмиграции.

Религия, сексуальность, политика, Петр Великий и Чернышевский, идеалы справа, слева и посередке – все можно было развинтить, разобрать, добираясь до последнего стержня реального. Разумеется, в прошлом

были Ницше, нигилисты и сплошные переоценки ценностей, но они исходили от немцев и бездарно упирались в абстрактный мираж. А здесь решающую роль играла великая, благословенная, цветущая, средиземноморская, свободная внешне и внутренне, вечная Франция – старшая дочь католической церкви и Возрождения…

Наши смелые домыслы в «Круге» могли восхищать или шокировать англосаксов, вдохновлять немцев, но на «французиков из Бордо» они не действовали никак. Любопытно, что тип русского «первого ученика», попав во французскую школу, оказывался в большинстве случаев где-то на задних партах.

Даже православные священники, славившиеся на Руси своей отсталостью и безграмотностью, приобрели к середине тридцатых годов во Франции и культуру, и широту взглядов, и вразумительный социальный опыт, ни в чем не уступая лучшим местным церковным властителям дум; появились иереи, интересующиеся наукой, медициной, математикой, читающие наряду с блаженным Августином и Киркегора, Фрейда, Эйнштейна.

Надо ли удивляться, что и литература парижан зазвучала несколько по-иному, вызывая порицания, а порою и отвращение эпигонов всех мастей и режимов.

За вторым, «ночным» чаем опять ели сладкие булочки. То, что Фондаминский почитал за норму, он уже щедро выставлял на стол без ограничения и экономии.

Сочетание щедрости со скупостью меня поражало в наших меценатах. Я знал в эмиграции людей без сомнения патологически скупых, которые, однако, считали долгом покупать новые книги и приходить на вечера литераторов. Мне казалось, не лучше ли одним отказывать, а другим уже помогать основательнее…

Но нет, они всем отпускали по установленному тарифу и заслужили парадоксальную кличку иудушек, плюшкиных, ростовщиков.

И в это самое время многие «широкие» души, никогда наших изданий не поддерживавшие, но в кабаке иногда угощавшие подвернувшегося поэта, причислялись всеми к очень русским и очень благородным натурам.

Когда будет написана подробная история эмигрантской литературы, то станет очевидным, что выжила она – вместе с Буниным и Ремизовым – только благодаря помощи именно этих скучных, серых Плюшкиных из либерального лагеря. Для «правых» наша литература в целом была проклятием, масонским или коммунистическим заговором, отрыжкой сионских мудрецов. Кадровым правым героям вообще литература не нужна. Они уверяют, что поклоняются Достоевскому. Но фактически одного генерала Краснова им хватает с лихвою.

Вот у Смоленского «закрывают» газ, он идет к Софье Прегель или Цетлиной за деньгами. Я спрашивал этих дам: «Почему вы это делаете? Ведь Смоленский, когда пьян, бросается жидом даже в вашем присутствии…» Мне отвечали: «Как же без газа! У него дети, их надо кормить».

(Смоленского не было в «Круге», стихи его наш альманах печатал.)

Благодаря тому, что Фондаминский карьерно или материально никак не был заинтересован в своей эмигрантской деятельности, он мог оставаться как бы беспристрастным арбитром. Мысль Платона о диктатуре элиты надо понимать в том духе, что философы, жрецы и вожди, уже добившись всего и больше для себя ничего не желающие, могут чинить правый суд и устанавливать нелицеприятные законы.

Не знаю, как вел себя Фондаминский в старину, среди своей «фракции», но здесь у нас он, по-моему, ни в одной интриге не участвовал, смут не разводил и за «власть» не боролся. За ту ужасную эмигрантскую власть, которая потому уже недостижима, что является сплошной фикцией.

Вес и достоинство парижской эмиграции определялись в значительной мере отсутствием «казенного пирога». Благодаря этому мы о многих лицах той эпохи сохраним самую светлую память.

Любопытно, что с появлением «казенного пирога» в Нью-Йорке, когда разные суммы отпускались американскими организациями на нужды холодной (и теплой) войны, сразу появились рвачи, ловчилы, полугангстеры как в среде новых эмигрантов, питомцев советских школ, так и в гуще старых, изнеженных, настрадавшихся от царского режима гуманистов. Перехватить, оттеснить, получить – вот актуальные лозунги бывших комсомольцев и деликатных интеллигентов. Относительно последних это особенно удивительно, ибо в молодости они все пострадали за идеализм и сидели в тюрьмах – любили народ… Очевидно, тогда каторга и другие испытания были в духе времени, эпохи, а не личным подвигом каждого. А теперь те же самые светлые герои, сбрив чеховские бородки, перебегают от одного полуправительственного прожекта к другому, из одной радиостанции в другую, от одного культурного «фонда» к следующему, стараясь побольше урвать для себя и для своей группы.

Из всего вышесказанного, думаю, явствует, что подвиг целого поколения тоже может быть основан на недоразумении или является только выражением условного рефлекса, подобно выделению слюны.

Теория «интеллигентского ордена», творившего русскую культуру, была если не изобретением Фондаминского, то во всяком случае его любимым детищем. В его

определение русского интеллигента укладывались все выдающиеся деятели. Тут и Новиков, и Ленин, Чернышевский, Достоевский и Федоров, Чаадаев и протопоп Аввакум. Всех их объединял жертвенный гуманизм; все они страдали за свою веру. Рыцарский орден, не организованно действовавший в истории… Иногда совершенно открыто, иногда под влиянием насилия уходивший в подполье. И опять наступает время, когда тайный духовный орден сможет спасти основные ценности христианской цивилизации. Это, пожалуй, учение Фондаминского.

Религиозный кризис Фондаминского назревал долго, развиваясь – судя по внешним признакам – с перерывами и медленно… До своего заключения в лагерь Компьень Фондаминский ходил по воскресным дням в церковь, но в таинствах, кажется, не участвовал; крестился он, по-видимому, уже в лагере (1941–1942 гг.). Через Компьень прошла и мать Мария, и многие наши друзья. Есть слух, что Илья Исидорович и там завел кружки, доклады, рефераты, собеседования с общественной нагрузкою. Вскоре он, старый человек, занемог, так что все данные близкой смерти были налицо (даже без газовой камеры).

Люди его поколения никак не могут понять, почему Фондаминский, вырвавшийся из Парижа весной 1940 года, не уехал в Америку подобно всем «общественным деятелям». Он не воспользовался своей «чрезвычайной» визой и вернулся назад в Париж.

В июне 1940 г. Фондаминский жил возле Аркашона; туда к нему на время попала моя жена, там же осели многие друзья. Между прочим, Мочульский. Фондаминский славился всегда своим профессиональным оптимизмом. Но тут вдруг в плане личных невзгод – потери удобной квартиры, привычной обстановки с книгами – он проявляет даже детскую растерянность. Несколько раз обмолвился такой фразой:

– Как я теперь проживу? Ведь я ничего не умею делать, а люди привыкли ко мне обращаться за помощью…

Это замечание вызвало у Мочульского даже ряд ядовитых замечаний. Выяснилось также, что в кабинете у Фондаминского в стене имелся потайной шкаф, где хранилась какая-то сумма в фунтах стерлингов. И хотя деньги были сравнительно ничтожные, но всем вдруг стало ясно, что Фондаминский забыть этого не сможет и должен хотя бы на часок заглянуть опять на 130, Авеню де Версай.

Он и вернулся осенью, когда многие из его друзей тоже очутились в Париже. Снова пошли собрания, доклады, но теперь кроме православного дела или русского театра прибавилась еще если и не прямая конспирация, то некое предвкушение ее… Париж начал организовывать свои первые кружки Сопротивления (резистанса). Вскоре наш общий друг Вильде затеет свою подпольную типографию при музее Трокадеро. Все эти едва ощутимые колебания почвы Фондаминский должен был воспринимать, как боевая лошадь звук военной трубы.

– Вот Федотов сидит уже в лагере под Дакаром, а мы здесь еще работаем! – заявлял он не без насмешки. – Тут еще можно работать.

Увлечение всякого рода организациями гипнотизировало в первую очередь его самого, так что он часто восхищался враждебными ему людьми только за их умение «работать».

– Ах, какой чудный работник! – говорил он с восхищением (о заведомом дураке или даже гаде).

Не мог он не оценить германской распорядительности и сноровки на первых порах оккупации. Этим объясняется некоторое приязненное чувство Фондаминского к немецкому полковнику, приходившему к нему в кабинет и любовавшемуся русскими книгами,

он мог полюбить любого пруссака, цитировавшего на память Шиллера или Гегеля. В конце концов поколение Фондаминского воспитывалось на гейдельбергских дрожжах… Размышляя над судьбой революционеров этого призыва, я убеждаюсь, что основной, исторической чертой их было совершенное неумение разбираться в людях. Та жизненная, практическая смекалка, которая помогает фермеру выбрать себе батрака и жену, а капитану судна подходящего боцмана, эта таинственная особенность ума совершенно отсутствовала у всего последнего поколения русских бунтарей. Здесь, в общем, объяснение легендарного дела Азефа – анекдот, кажется, единственный в многообразной истории центрального террора. Были Конрады Валленроды – но это другое. Этим же обусловливаются основные ошибки так называемой февральской революции.

Из Америки прибывали письма, зовущие Фондаминского воспользоваться визой; приятели давно уже бежали из свободной зоны. Керенский еще в июне 1940 г. перешел границу Испании. Зензинов, попавший корреспондентом в Финляндию, через Швецию пробрался в Нью-Йорк. Вся фракция опять бежала, и без особых лавров.

Почему Фондаминский остался в Европе? Свидетельствует ли это о благородстве его, величии души? Или, наоборот, о глупости, параличе воли?

Как все акты, совершаемые людьми на узловых станциях жизни, это сплав разных, часто противоречивых тяготений и расчетов… Фондаминский остался в Париже потому, что вернулся в свою уютную квартиру, и потому, что там он нашел дорогих сердцу старых друзей, а также любимый труд. Фондаминский не уехал потому, что среди бежавших многие ему надоели до чертиков и он решил наконец раз навсегда от них отделаться, физически и духовно. Эти беглецы, о которых

уместно сказать, что «такое не тонет», благополучно переплыли океан и занялись в Нью-Йорке привычным общественным делом после опыта России и Западной Европы… Они отнюдь не смущались и только высмеивали Фондаминского, осуждая его новую веру, объясняя «все это» старческим размягчением мозга.

А в Фондаминском давно уже разгоралась страстная жажда политического борца хоть раз в жизни не отступить с поля брани и если нужно умереть с оружием в руках! Хоть раз не убежать! И в этом акте личного и общественного мужества поддержало его православие той эпохи парижского плена, когда наряду со всеми святыми, просиявшими в земле русской, мы чтили еще протопопа Аввакума и Льва Толстого. Оба отвергнутые административной машиной. Тут все неслучайно и все чудесно, хотя и абсурдно.

V

Вы – тот посыльный в Новый год,
Что орхидеи нам несет,
Дыша в башлык обледенелый.

И. Анненский

Ранней осенью 1928 г. я очутился вечером в отельном номере на рю Мазарин (или Бонапарт), где мне предстояло читать свои первые рассказы; слушателями были Дряхлов, Мамченко, в чьей комнате, кажется, и состоялось собрание, Мандельштам, доктор Унковский, неоднократно фигурирующий в ремизовских снах. Позже появился Терапиано, уже тогда с натугою подставлявший одно, будто бы лучшее, ухо.

Так началось мое близкое знакомство с Дряхловым и Проценко. В трудные дни я шел в их мастерскую шарфов и галстуков на работу, что давало мне возможность протянуть от одного экзамена до другого.

По субботам мы усердно закусывали в ателье, пили красное винцо и спорили до одурения. От этих русских бесед с бранью и насмешками все-таки оставалось впечатление подлинной жажды истины и готовности жертвовать для нее многим.

Такого вдохновенного интереса к новой мысли, такого желания понять и простить «все» я уже потом не встречал в жизни. Очевидно, мы все постепенно изменились! И это словесное откровение было тем более чудесно, что перемежалось оно с откровенной бестактностью и садистической или самоубийственной откровенностью.

В том номере на рю Мазарин, тесном, дымном, перегруженном старой мебелью, с запахом малороссийского борща, который себе готовил на неделю впрок Виктор Мамченко, разводя укроп и петрушку в ящиках на подоконнике, я в продолжение трех-четырех часов упрямо читал свои произведения… Среди них «Рассказ о трех распятых и многих оставшихся жить», напечатанный в газете «За свободу».

Эта повесть посвящена Варавве, которого добрые граждане предпочли Христу. Там заложены уже начала того опыта, который мне яснее открылся лишь потом, в пору «Любви второй»… Несколько десятилетий спустя швед Lagerkvist получил Нобелевскую премию за роман «Варавва» – книгу, которую я никогда не мог заставить себя взять в руки по эгоистическим причинам – из привязанности к моему затерянному детищу.

Именно этот рассказ понравился Мамченко и Дряхлову, и они спорили с остальными. В общем, ни Терапиано, ни Мандельштам мне никогда не были близки. Мамченко – хорошенький мальчик, с казацкой хитрецой – держал себя всегда даже с чрезмерным достоинством; стихи его отметил Адамович, хотя были они неровны, невнятны, и в ту пору, несмотря на всю

напряженность bonne volontee[20], мало что выражали. Позже поэт стал ровнее, подучился ремеслу и языку и как-то утвердился на собственном месте.

Родился Мамченко на юге России и с очевидным упорством тяготел к философии, тоже косноязычной. Он даже проводил в жизнь некоторые свои убеждения с обстоятельною, несокрушимою медлительностью. Он едва ли не один из первых среди нашей молодежи заделался вегетарианцем. Мамченко уверял, что не желает причинять страданий животным, и это у него звучало убедительно, несмотря на всю наивность. Есть такие положительные люди, у которых общие места звучат веско и даже оригинально. Впрочем, рыбу он ел, полагая, что холоднокровные менее или совсем не страдают.

В те годы Мамченко не мог выразить самой простой мысли в общепринятых формах; он закручивал синтаксически и затемнял диалектически любое обыкновенное предложение, выполняя эту мучительную операцию с большим и таинственным достоинством. Одни пробовали над ним смеяться (Ходасевич, Поплавский), а другие (большинство) его уважали, особенно люди с эстетическими тяготениями (Адамович, Мочульский, Гиппиус). Была в Мамченко кроме всего еще хорошая смекалка, знаменитая хозяйская практичность. В своей отельной комнате он разводил свеклу и спаржу, цветочки и даже, кажется, табак. Его личного изделия борщ славился одно время так, что некоторые повадились к нему ходить подкрепляться, что хозяин отнюдь не поощрял.

Работал он спорадически, его подкармливала жена. Но когда мастерил или красил, то делал это отменно

---

[20] Доброжелательность *(франц.)*.

чисто и аккуратно. Вообще в практических делах был полной противоположностью своей диалектической природе.

Дружил Мамченко преимущественно с такими людьми, как Шестов, Мочульский, Гиппиус. Под конец оккупации только он один из приличных людей продолжал ходить к Мережковским.

Адамович, мне кажется, давно разочаровался в его стихах, но никогда его открыто не разбранил: «милосердие, милосердие!»

Злобно издевался над такими, как Мамченко, Ходасевич, считая их «голыми», беспомощными и отнюдь не королями. После войны Мамченко начал издавать какие-то сборники для советских патриотических возвращенцев, но сам, умница, отнюдь не «возвращался».

Дряхлов в Париже после пятидесяти лет сохранил все свои национальные черты. Уроженец Поволжья, – он сочетал в себе многие отталкивающие и привлекательные свойства коренной Руси.

В разговорах мы с ним постоянно доходили до самых границ «достоевщины», в пучине которой он себя чувствовал отлично. Валерьян Федорович хорошо играл в шахматы, и мы упорно сражались, исполненные то надежды, то отчаяния, то симпатии, то ненависти; из чувства мести начинали издеваться друг над другом, касаясь и личных тем, и литературы… А когда положение на доске менялось, мы добрели и проявляли даже чуткое внимание к нуждам полупобежденного противника. Страшная вещь шахматы!

Дряхлов был компаньоном Проценко по шарфам и галстукам; он прямо заявлял, что Яновского надо прогнать, потому что его работа в убыток…

– Вот как Кнут, – ухмылялся Дряхлов очень по-татарски: ядовито и доброжелательно (у Кнута тоже была мастерская по раскраске материй). – Придет

к нему поэт с Монпарнаса, он ему пять франков всунет, а на работу не возьмет, потому что сплошной конфуз.

Наш общий друг Проценко смущенно, однако и забавляясь скандальной сценою, полупьяный, размахивая обнаженными мясистыми, пропахшими красками руками, мягко успокаивал его, усовещивал, посмеиваясь усаживал всех за стол, наливал вина. Через несколько минут Дряхлов, нежно склоняясь ко мне, говорил:

– Я знаю, вам теперь нужна работа. Не могли бы вы хоть немного аккуратнее печатать кружева, а то только плешины у вас получаются…

– Хорошо, постараюсь, – страдальчески соглашался я: мне завтра сдавать физиологию.

– Вы мои лучшие друзья, – говорил Проценко.

Его изуродованный, разделенный глубокою морщиною, словно шрамом, на два этажа лоб и шишка на шее под самым ухом напоминали Сократа… Я его прозвал малороссийским Сократом.

– Вы мои лучшие друзья, – повторял он, осушая стакан. – Вы мне ближе жены!

И начинался сумбурный русский застольный разговор, питавший нас и вдохновлявший, несмотря на свою основную порочность.

Стихи Валериана Дряхлова ко времени первых номеров «Чисел» не были лишены колдовства… Вообще когда перелистываешь старые журналы, внимание привлекают зачастую не «ведетты», а имена поэтов, стоявших «в тени», вроде Заковича, Дряхлова, Ставрова.

Раз весною Дряхлов опасно заболел. Я поднялся к нему в мансарду на Пляс де ля Република. У него оказалась довольно банальная zona ophtalmique. Он очень страдал. Потом вирус вызвал род менингита, и Дряхлова пришлось отвезти в Hotel Dieu, где я работал. Так как при исследовании у него обнаружился еще застарелый процесс в легком, то решили, что у него начался

туберкулезный менингит, недуг по тем временам совершенно роковой. Все случилось так быстро, так неожиданно, что походило на бессмыслицу: только что прошла Пасха, цвела сирень, казалось, сил хватает на оплодотворение целой вселенной… И вот сразу – конец!

– Смысла как будто не видно, но он наверное есть! – сказал я в утешение.

И это нас всех немного успокоило. Ибо смысла мы тогда искали больше, чем примитивного бытия.

Дряхлов вскоре выздоровел; но какие-то следы поражения остались навсегда: невралгия лица, странности, головные боли. Он уже давно увлекался тайными доктринами и эзотерическими докторами – читал Блаватскую и Крыжановскую. Теперь всерьез увлекся Рудольфом Штейнером.

В Париже были разные группы антропософов, враждующие между собою, как православные церкви, объединения монархистов, демократов, врачей, инженеров, казаков, наконец. Одна группа во главе с Натальей Тургеневой, сестрой Аси, жены Андрея Белого; другая велась Киселевой, любимой ученицей доктора Штейнера, которую он якобы вылечил от туберкулеза.

Даже я одно лето ходил в студию Киселевой и выделывал буквы алфавита в соответствии с правилами эвритмии; эти легкие гимнастические упражнения несомненно действовали благоприятно на усталых и беспомощных горожан. Кроме ритмических танцев привлекала еще сама Киселева – вся благородная, скромная женственность. Иногда чудилось – она большая, тяжелая, подбитая птица, легко, к всеобщему удивлению, взмывающая с деревянных мостков.

Наталия Тургенева принадлежала уже к другой породе: интеллектуальная, способная оформить и определить не сказуемое, сильная в теоретических спорах и не всегда деликатная в средствах… Впрочем я Тургеневой

тоже многим обязан и за некоторые эзотерические книги, «на правах рукописи» прочитанные мною, по сей день ей благодарен.

Я никак не мог стать верным учеником такого рода псевдонаучных или псевдорелигиозных школ, но пользу мне знакомство с их дисциплинами принесло. Федоров, Успенский… Никогда ко злу они меня не подталкивали и с Христом не разделяли. Хотя надо признать, что для некоторых душ опасность во всем этом несомненно кроется.

После своего чудесного исцеления Дряхлов всецело ушел в антропософию; погрузился в искусные медитации, перестал курить, пить вино, есть мясо… Одним словом, изменился человек. Может, ему, действительно, открылась аура цветка или «элементарного» духа, но для нас, друзей его, мирян, он был потерян: ни шутки, ни ругани, ни блеска былого. И перестал, кажется, писать (печатать) стихи.

Против всей этой «чертовщины» решительно выступал Проценко, который сам не писал, но на некоторых литераторов косвенно повлиял. При оригинальном, самобытном уме он шел почти до конца в своих логических построениях невзирая на страх или боль. Надо ли пояснять, что выпивал он лишнее, жил безалаберно и умер рано. В какой-то период своего философствования Проценко пришел к выводу, что с кроликом и собакой в человеке не стоит бороться, изводя себя, пускай кролик, и обезьяна, и амеба живут, как положено им, а человек – как подобает ему, рядом, по соседству, не мешая и не изматывая напрасно друг друга.

Бывали в этом ателье шарфов еще Константин Иванович – добрейший, приличнейший холостяк старого закала, инженер-химик, теперь мывший бочки, и Валерьян Александрович – судья, москвич («не хотите ли восприсесть»), любитель церковного пения, клубнички

и дружеских пиров… Наша общая трапеза, а затем игра на бильярде повлияли на мое писательское развитие больше и положительнее, чем вся немецкая художественная проза в целом.

В тот вечер на рю Мазарин после моего чтения Мамченко решил, что я должен познакомиться с Адамовичем.

Как Адамович впоследствии мне со смехом рассказывал, Мамченко ему сообщил, что появился некто Яновский, который пишет «стопроцентную» прозу.

Я должен был явиться в отель Адамовича к полудню какого-то дня… Пришел я точно, как было условлено, но Георгий Викторович еще спал. Пришлось его будить, что критику отчасти не понравилось. Вышел в халате какого-то изумительного желтого цвета.

Догадываюсь теперь, что наша беседа в то утро для неумытого, беспрерывно запахивающего канареечные полы халата Адамовича была глубоко неинтересна. Я успел запальчиво в первые пять минут сообщить, что ставлю «Записки из подполья» очень высоко, что Алданов пишет скверные романы и что Толстой постоянно искал новую форму для своих произведений, как и подобает настоящему литератору. Разумеется, эти утверждения должны были подействовать удручающе на заспанного поэта; высказывался я в те годы очень резко и без всякого внимания к симпатиям собеседника.

Однако Адамович был по-петербургски любезен, обещал на днях прочитать мои произведения, которые я и оставил у него. Держал он эти рассказы, пока не потерял их. Но надо отдать должное его чувству чести и сознанию ответственности, самые неожиданные, но существенные черты в характере Георгия Викторовича, – через З. Гиппиус ему удалось раздобыть другие экземпляры варшавской «За свободы», где подвизался Философов, и статус-кво был опять восстановлен. Весною 1929 года Адамович меня привел к Мережковским.

Я пишу об Адамовиче, близком и чуждом мне, которого я любил и порицал, защищал и клеймил много десятилетий. Эта смесь разнородных чувств, одновременно уживающихся, не только не исказит реального образа, но наоборот, надеюсь, поможет его восстановить.

Адамовича в первую очередь надо благодарить за возникновение и развитие особого климата зарубежной литературы. Конечно, без него существовали бы те же писатели, поэты или даже еще лучшие, быть может, но парижского «тона» литературы, как особого и единого, всем понятного, хотя трудно определимого стиля, думаю, не было бы! И за это, надо полагать, когда-нибудь многие «москвичи» ему скажут спасибо.

Шарм, которым Адамович обладал в большей степени, чем кто-либо другой в эмиграции, шарм этот не должен умалять его подлинных заслуг, несмотря на все слабости и грехи. Основным же грехом его я считаю приблизитилизм!

Кстати, я один из немногих парижан, который умудрялся без всякого заранее составленного плана быть в хороших отношениях одновременно и с Адамовичем, и с Ходасевичем, хотя и по-разному…

Адамович, как это ни казенно звучит, создал школу, или вернее, антишколу, что почти совпадает, объединявшую вокруг себя лучших молодых людей того времени. Без Адамовича, конечно, те же писатели и поэты подвизались бы, но вне какого бы то ни было объединяющего начала. В результате родилось одно органическое сознание: нужного и ненужного, важного и не важного, вечного и временного.

Достойно внимания, что в отдельных случаях Ходасевич был, пожалуй, ближе к ограниченной – литературной – истине, искуснее и даже «честнее». Слово «честный» в применении к художнику ничего не значит,

вернее, играет ту же роль, что и эпитет «храбрый» по отношению к генералам, как объяснил Достоевский в «Записках писателя». Несмотря на весь свой подвиг, Ходасевич «школы» в эмиграции создать не мог. Вернее, ту «школу», которую он создал, не стоило защищать.

Адамович ошибался сплошь да рядом, капризничал, хвалил романы Алданова, ругал Сирина, высмеивал каждого, кто старался на свое «творчество» смотреть серьезно. Адамович ставил на карту виллы и драгоценности, проигрывал свои и чужие деньги, грешил сверхъестественно, уверял, что «литература прейдет, а дружба останется», казался часто только ловким шаркуном, оппортунистом. И все же в решительную минуту мы его всегда видим в строю, на самых ответственных местах.

Адамович – неженка, шалун, ухитряется жить с эмигрантской литературы и «вести» молодежь за собою, не ссорясь ни с Буниным, ни с Милюковым, ни с другими эпигонами… Возвращаясь из Ниццы после каникул, Адамович занимает деньги у мецената якобы для лечения парализованной тетушки и спускает все в баккара. После этого доверчиво объясняет:

– Вы думаете, мне деньги нужны были для докторов, ха-ха-ха, я их профукал в клубе…

Это все при определенной антипатии к Достоевскому.

Адамович в самом начале войны, без малого пятидесяти лет от роду, записывается волонтером в Иностранный легион; там вместе с другими несчастными беженцами и наряду с разными преступными личностями – ибо Легион всех принимает и все смывает – лютой зимою 1939–1940 гг. проходит военную подготовку в условиях воистину удручающих.

Капитан его спрашивает:

– Скажите, почему вы попали в Легион?

– Je hais Hitler![21]

– Oui, oui, je comprends, mais avez vous un Casier judiciaire?[22]

Casier judiciaire – значит «уголовное прошлое».

Командующий этой частью – кадровый офицер, сен-сирец – не может себе представить, чтобы кто-нибудь в здравом рассудке и с непросроченным паспортом по своей воле мог пойти рядовым в Легион.

В этой обстановке Адамович продержался всю «смешную» войну. В 1940 г. их бросили на север. В боях группа, кажется, не участвовала, да и мудрено было «участвовать», так мало длились эти бои. После развала фронта Адамович бежит назад, к Ницце, в тяжелых башмаках французской пехоты «прошлой» войны. Эту обувь Георгий Викторович мне показывал потом в Ницце и объяснял, что осенью он как-то собрался в них на рынок и не добрел: такая мучительная обуза – колодки на ногах! И вот в этих сапогах Адамович вместе с другими собратьями по оружию спешит к Средиземному морю. Немецкие солдаты их перенимают вместе с толпой беженцев. Конец… Но чужой унтер-офицер кричит французской толпе:

– Les civils par ici, les militairs f… le camps!

То есть военные улепетывайте до поры до времени!

И Адамович с удвоенной энергией пускается дальше в своих штиблетах.

Когда на чужом материке я пытался объяснить вдумчивым людям, не знавшим Парижа того времени, но читавшим изредка «Последние новости», когда я тщился им растолковать роль Адамовича в нашей литературе, я всякий раз испытывал чувство, похожее на то, какое бывает, если стараешься словами описать внешность, или запах, или музыку…

---

[21] – Я ненавижу Гитлера!

[22] – Да, да, я понимаю, но у вас уголовное прошлое? *(франц.)*.

Совершенно очевидно, что статьи Адамовича и еще меньше стихи или очаровательная болтовня не исчерпывают его роли. Для себя лично я решил этот вопрос несколько неожиданно. Если бы требовалось одним словом определить вклад Адамовича в жизнь нашей литературы, я бы сказал: «Свобода!»

Как ни странно, не Бердяев, и даже не Федотов с Фондаминским, и еще меньше Милюков-Керенский, Бунин-Шмелев с Деникиным-Красновым, помогли нам усвоить и полюбить этот редкий французский воздух свободы, питаться им, ассимилироваться, перерабатывать наново в продукт живительный, хотя и непривычный для русских легких.

Этот особый воздух зарубежного, или классического, Парижа я определяю словом «свобода»! Насквозь пронизывает чувство: все можно подумать, сказать, и в духовном, и в бытовом плане, все по-иному взвесить, уразуметь, перестроить… Причем это ничего общего не имеет с надрывами Достоевского или Ницше, с пожарами над Рейном или Невою, без всяких даже теорий познаний или хождений в народ, соборности и мифологии. Свобода в каком-то будничном, насущном, уютном, поэтическом сплошном потоке. Это Франция, это Париж, где все еще господствуют Декарт с Паскалем, одинаково в лачугах и дворцах, у природных галлов и у «sales meteques»[23], собравшихся туда, но не случайно, со всего света как будто на пикник.

С этой стихией свободы природно был связан Г. В. Адамович – при всех своих мелочных, вздорных, капризных слабостях. Свобода… Всеобъясняющее чудо.

Таково мое восприятие «старого» Парижа и Адамовича в нем; многим оно может показаться тем более неожиданным, что Адамович только очень редко

---

[23] Чужаков *(франц.)*.

и весьма невнятно о свободе писал и говорил. Но само его присутствие освобождало. В этом суть!

Адамович, увы, слишком охотно ссылался на легкомысленное изречение Пушкина о литературе, которая прейдет, а дружба будто бы останется… Адамович часто грешил – в подтверждение этого вздора. Причем оказывал он «критические» услуги не только друзьям, а иногда просто так (любимое выражение Адамовича, выражающее чувство свободы от причинно-следственной цепи), знакомым или даже врагам.

Врагов у него было много; но, впрочем, и друзей – шарм вывозил. Многие недостатки Адамовича вытекают из его основного качества: при почти абсолютном музыкальном слухе он, естественно, больше всего боялся взять «фальшивую» ноту и предпочитал писателей, которые вообще молчали.

Один из любимых оборотов Адамовича: «Кстати, где-то когда-то, кажется, Розанов сказал…» И это «кажется» должно было спасти от всякой сознательной неточности. Здесь пример того, что я называю «приблизитилизмом» Адамовича. Кстати, Розанов и Леонтьев оказали заметное влияние на нашего критика; вообще же он на редкость мало по-настоящему читал, и образование свое закончил еще вундеркиндом в Петербурге. И несмотря на все эти мелочи: «Вы – тот посыльный в Новый год, что орхидеи нам несет, дыша в башлык обледенелый…»

Воздух Парижа особый. Достаточно взглянуть на пейзаж второстепенного французского художника, чтобы убедиться в этом. Кроме красок, кислорода, азота и других материй в него составной частью еще входит сложная молекула первозданной СВОБОДЫ. Это не юридическая или политическая свобода англосаксов, не казарменная свобода прусских философов, не внутренняя свобода йогов и афонских подвижников при полном закрепощении быта, семьи, искусства.

Во Франции чувствуются еще потоки прасвободы (из которой мир спонтанно возник), чудесным образом преображающих жизнь в целом, будничную и праздничную, личную и общественную, временную и вечную.

Магический воздух, которым мы вдруг незаслуженно начали дышать, пожалуй, возмещал многие потери, порой даже с лихвой. Отсюда присущее нам чувство непрочности обретенного счастья и страха, страха перед грядущим…

Грозные предчувствия начались давно, когда Гитлер, быть может, еще упражнялся в живописи. Нам снилось: по каким-то неясным соображениям надо покидать Париж! И мы просыпались, содрогаясь от слез. Дополнительно нас мучил еще другой кошмар: почему-то очутились на родине… И вместе со слезами умиления холодное отчаяние: это непоправимая, роковая беда!

Самое подлое наказание для иностранцев – это высылка за пределы Франции: в сущности, изгнание из рая. Мы жили трудной, нищей жизнью, но не меняли этого первенства на чечевичную похлебку в Америке или Югославии. Некоторые из нас где-то в других странах оставили разные связи, иногда родных и, вернувшись туда, могли бы устроиться с относительным комфортом. Но это никого не прельщало.

Когда поэтессе Алле Головиной приходилось на время возвращаться в родную Швейцарию, она переживала это, как приглашение на казнь; то же чувствовал ее брат А. Штейгер.

Червинской одно время, казалось, не оставалось ничего лучшего, как уехать в Турцию к вполне обеспеченным родителям… И опять слезы, припадки: потерять голодный, холодный Париж с неоплаченным отельным номером… («Кто забудет тебя».)

Адамович, возвращаясь с каникул в Ницце и попадая на людное собрание, часто повторял:

– Ах, как хорошо, что здесь все по-прежнему! Иногда, на юге, мне представляется: я вернусь в Париж, а там уже все изменилось…

Мы жили в бессознательном, вещем страхе – потери! Недаром Шаршун, одновременно шершавый и без кожи, описывал в диких бредовых отрывках, как его высылают из Франции – везут к границе СССР.

Мы знали, что предстоит еще одна утрата, но не понимали объема ее и не находили разумного обоснования для своего страха.

И однажды это случилось. Париж опустел, как разграбленный улей, как Москва 1812 года. Русские поплыли, словно щепки; они неслись впереди волны, как всякое меньшинство в любой стране, более чувствительное к переменам климата.

Через год я увидал Адамовича в Ницце; он был ласков и ясен, смеялся моим шуткам… Вспомнил, как я однажды, подойдя к бриджевому столу, сообщил: «А я сегодня читал "Бесы" Достоевского, малоталантливая книга». Такие выходки поражали Адамовича на всю жизнь. Итак мы, казалось, по-обычному смеялись, разговаривали. Но что-то в корне изменилось: передо мною был старик! Горечь, характерная для всех поражений и развалов, – желтизна лица, морщинки, потухший взгляд! А ведь этот беззаботнейший человек, один из немногих в наше время, прожил жизнь именно так, как ему хотелось, и, в общем, был на редкость доволен своей судьбою.

До лета 1942 года мы еще несколько раз встречались, иногда случайно, в Казино, над самым ниццким морем. Это он мне показал открытку Фельзена из оккупированной зоны: «Я теперь не бываю у Мережковских. Там теперь бывают совсем другие люди».

Он же мне, невесело улыбаясь, передал содержание письма одной «молодой» писательницы к Бунину,

в Грасс. Она приглашала лауреата назад, в Париж, уверяя, что «теперь стало возможным настоящее объединение эмиграции».

– Эта шкура еще идеологию подводит! – решили мы.

Впрочем, Адамович выразил эту мысль несколько деликатнее.

И наконец, как-то утром, перед отъездом в Монпелье, я забрел к нему. Жил он тогда на задворках, далеко от центра, и Адамович мне молча протянул открытку от Ставрова:

– Такого-то числа Дикой после продолжительной болезни умер в больнице…

Физическая тошнота охватила меня. Здоровый, агрессивный Вильде, последовательно веселый, любящий мысль и устрицы, справедливость, вино, любовь и борьбу, теперь раскачивается на виселице или валяется с простреленной грудью во рву… Хотелось блевать, а не плакать.

По дороге назад к своему отелю на Place Massena я обнаружил очередь, где выдавали вино в обмен на просроченный купон, и получил две бутылки алжирского красного. В ресторане меня уже ждали; я ничего не сказал. Только подкрепившись военным обедом с рутабагой и стаканом вина, получив для собаки корочку и поблагодарив жертвователей («merci pour le personnel»[24]), только после этого я сообщил Ирине Гржебиной о героической смерти Дикого, или, как его прозвали, – «Ванички».

Отношение Адамовича к писателям было, как и многое в нем, совершенно капризное.

Сколько раз он начинал писать обо мне с явно добрыми чувствами, но вдруг, точно образ мой или предмет

---

[24] Благодарю от имени пса *(франц.)*.

книги вызывали волну раздражения, и он наговаривал кучу неприятных и не всегда справедливых истин. (Я все ему, шармеру, кажется, прощал.)

А в то же время было в Адамовиче некое чрезмерное понимание слабостей человека и готовность прощать всем все. Эта достоевщина ему лично, пожалуй, не была нужна, ибо держал он себя всегда с достоинством и даже в особо злостных сплетнях никогда не попадался. И все же это широчайшее, вселенское, распущенное всепрощение! Откуда оно взялось в нем, европейце, петербуржце, любящем приличия и комфорт… Сойдется с человеком, только вчера совершившим подлость, даже оклеветавшим его (например, Г. Иванов), и отделается усмешкою, шуткою.

Однако были у Адамовича и настоящие враги – литературные или метафизические – Ходасевич, Сирин, еще кое-кто. Им он не отпускал вины никак или очень неохотно.

Внешне ссора с Ходасевичем была основана на уездной сплетне… Кто-то пустил слух, что Горький прогнал Ходасевича из Сорренто, потому что застал поэта роющимся в бумагах его письменного стола. На это последовал ответ, что «оба Жоржа» перед отъездом из Петрограда убили и ограбили богатую старушку. Вот такого рода болтовня поссорила двух поэтов, и целое десятилетие они не раскланивались, во всяком случае, не разговаривали друг с другом.

С Ходасевичем, в конце концов, Георгия Викторовича и нас всех свел Фельзен. В эти годы (1936) Монпарнас представлял из себя нечто подобное облаку в штанах: согласие, мир, благорасположение царили на поверхности. Молодежь побеждала по всей линии, старики – дотягивали.

Адамович, по природе – страстный игрок, готов был в любую минуту дня и ночи поставить на карту

многое. За неимением лучшего увлекся бриджем – по маленькой. Ходасевич к тому времени играл уже только в так называемые коммерческие игры. Впрочем, раза два на Монпарнасе, по инициативе фанатика Гингера, мы сражались в покер, и однажды я заметил, как Владислав Фелицианович вдруг начал рыться в уже отброшенных картах, после сдачи дополнительных. Я поспешно отвернулся… Так, в Нью-Йорке, я совершенно случайно уселся в темном зале синема позади знакомого мне русского мыслителя и к ужасу своему разглядел, что он поводит ручкой по пухлому бюсту сосетки, я сорвался и ушел в раек, откуда не мог больше за ними следить.

А вместе с тем я всегда жалел, что не совсем четкая игра Некрасова в клубе не нашла себе более полного выражения в нашей биографической литературе. Мне кажется несправедливым говорить об этих мелочах шепотом и обиняками. А в чем секрет Гоголя? (Тут гомосексуальные элементы даже не упоминаются.)

Азартничал Адамович совсем как дитя. Его явно восхищал самый процесс игры; результаты, обычно плачевные, он воспринимал вполне стоически, хотя по-другому, чем Гингер. Ему случилось в клубе проиграть в баккара огромную сумму, кажется, всю долю своего наследства. Единственный, известный мне прозаический рассказ Адамовича, напечатанный в «Числах», посвящен аргентинцу, проигравшему последние деньги и тут же стрельнувшему себе в лоб. Рассказ, вероятно, наивный, но написанный с подлинной страстью.

Мне Адамович несколько раз передавал подробности этого своего зловещего опыта. Странно закатывая вверх большие, темные, детские глаза с тяжелыми ресницами, он улыбался, точно опять переживая застарелую зубную боль:

– Крупье почему-то слишком высоко поднимал карты, слишком высоко, – недоумевающе повторял

Георгий Викторович. Его бледно-смуглое лицо, густые, синеватые волосы, расчесанные на идеальный, кажется, прямой пробор и «музыкальные» уши в такие минуты делали его похожим на азиатского божка. – Зачем поднимать так высоко карты? Вероятно, передергивал? – задумчиво осведомлялся он, впрочем, не ожидая от меня ответа.

Ходасевич играл в бридж серьезно, без отвлеченных разговорчиков, и ценил только хороших партнеров.

– Ну что это за игра, – дергался он, кривясь. – Только шлепание картами.

Ему было трудно и больно следить за нашими самоубийственными взлетами – в разговорах, спорах. При нем беседа невольно становилась суше, прозаичнее, скучнее, добросовестнее, пожалуй. Диалог, по существу, у нас с ним не получался. И в его присутствии не могло зародиться это торжествующее чувство СВОБОДЫ. Нет, все в мире связано, переплетено причинно-следственной цепью, и чудо узаконено только в гомеопатических дозах.

Ходасевич, мастер, труженик прежде всего требовал дисциплины и от других; он мог быть мелочным, придирчивым, даже мстительным до безобразия. Но зато как он расцветал, когда натыкался на писателя, достойного похвалы.

Ходасевич не думал, что литература прейдет, а дружба останется: во всяком случае, это его не радовало.

Горечь Ходасевича усугублялась еще газетой «Возрождение», в которой он был вынужден сотрудничать. «Возрождение», чтобы отвоевать рынок, должно было, в отличие от «Последних новостей», все больше отклоняться «вправо». И газета, не задумываясь, начала щедро раздавать куски Дальнего Востока японцам, а Украины – немцам. Для такого черного передела туда постепенно начали стекаться веселые ребята, чувствовавшие

себя дома в контрразведках многих тоталитарных (а порой, и демократических) стран. В этой компании поневоле застрял Владислав Фелицианович, который, вероятно, не будь Адамовича, сидел бы в приличных «Последних новостях».

Кстати, когда в эмиграции появился очень талантливый журналист правого толка, бывший сотрудник «Нового Времени» Солоневич и описал сплошной советский балаган, «Возрождение» вернуло ему рукопись, не оценив по достоинству этого замечательного произведения; книга, разумеется, была принята «Последними новостями» и печаталась там из номера в номер, повышая тираж демократической газеты.

Держал себя Ходасевич в «Возрождении» вполне независимо. Такой независимости в органе Милюкова, вероятно, нельзя было бы сохранить: тут сказывалась «принципиальность» наших либералов. Писал он свой четверговый «подвал» о литературе, ни во что больше не вмешиваясь; но всем было ясно, что сидит он там, потому что больше некуда ему податься.

Заработка 300–400 франков в неделю хватало только на самые главные бытовые нужды. О летнем отдыхе нельзя было даже мечтать. Или приходилось клянчить, занимать, писать унизительные письма «многоуважаемым», выводя в конце «Любящий Вас»…

Можно утверждать, что Ходасевич в последние годы своей жизни просто задыхался от нудной работы. Он и стихи перестал писать: это решающий признак в биографии поэта – после чего остается только умереть.

Он всегда выглядел моложе своих лет благодаря прирожденной сухощавости и подвижности. Андрей Белый в воспоминаниях сравнивает его с гусеницей. Он имеет в виду, пожалуй, цвет лица Ходасевича – зеленоватый, отравленный, нездоровый. Маленькая, костлявая голова и тяжелые очки… если угодно, сходство, скорее,

с муравьем. Впрочем, часто, по-юношески оживляясь, он не был лишен своеобразного шарма.

Это было в Лас-Казе, на большом литературном собрании, еще в двадцатых годах: я обратил внимание на очкастого господина, типа вечного русского студента, с неправильным прикусом нижней челюсти… Это оказался Ходасевич, гроза молодых литераторов, нетвердо расставлявших знаки препинания (в первую очередь, Поплавского).

Ходасевич, как я уже упоминал, редко тогда бывал на наших собраниях; он был не в ладах или даже попросту в ссоре с Гиппиус, Адамовичем, Ивановым, Оцупом… Жил обособленно, гордо и обиженно, поддерживая связь, пожалуй, только с Цветаевой.

Молодежь, в общем, его уважала; «Тяжелую Лиру» ценили все. Но не любили ни его, ни даже его стихов, в целом. Близкие ему парижские поэты не всегда были самые интересные: Терапиано, Смоленский, Юрий Мандельштам.

О «парижском стиле», норовившем передать всё или, во всяком случае, самое главное втиснуть в любую страницу, в любую строфу, пусть не на месте, но лучше, чем совсем пропустить (ведь самое главное всюду на месте или, вернее, всегда выпирает), – об этой особенности нашей литературы Ходасевич отзывался даже насмешливо. И постоянные разговоры о самом главном, вместе с общим презрением к «литературе», он не совсем понимал и, во всяком случае, порицал.

Мысль его, вероятно, можно было бы свести к следующему…

Если искусство серьезная вещь, преображающая жизнь вроде религии, – тогда надо к нему относиться с предельным уважением, холить его и следует забыть навсегда, что оно будто бы «прейдет»! Если же искусство только некая игра, детская комедия (а главное – «та француженка, которая перевязывает чьи-то раны»),

тогда нужно к искусству относиться снисходительно, позволяя профессионалам выдумывать, шутить, кувыркаться и не требовать уже здесь всегда «самого главного».

(Рассуждение вполне логичное, но увы, не удовлетворяющее).

По словам Ходасевича, мы все ему напоминали одного знакомого, с которым он раз, летом, в жару, поехал на подмосковную дачу. Тот, приятель, все время восторгался тишиной, прохладой, ароматом леса.

– Ах, какая тишина, ах, какая прелесть! – повторял он без конца, мешая, уничтожая в зародыше эту самую пресловутую тишину.

Вот этот эпизод Ходасевич обязательно вспоминал, когда при нем упоминали о честности или подлинности в литературе – а говорили на такие темы в Париже тогда часто.

Ходасевич страдал особого рода экземой: симметрично, на двух пальцах каждой руки… и бинтовал их. Этими изуродованными пальчиками, сухими, тоненькими, зеленоватыми – червячками, он проворно перебирал карты. В тридцатых годах настоящего столетия его единственным утешением был бридж. Играл он много и серьезно, на деньги, для него, подчас, большие – главным образом, в подвале кафе «Мюрат». Но не брезговал засесть и с нами на Монпарнасе. К тому времени он уже разошелся с Берберовой, и новая жена его, погибшая впоследствии в лагере, тоже обожала карты.

Мне показалось странным, что он – в этом возрасте и без средств – так быстро нашел себе другую даму, к литературе непричастную. Фельзен, считавшийся тогда специалистом по психологическому роману, объяснял нам, что есть такой тип мужчин: они наедине с женщиной становятся вдруг очаровательными, и тут ни наружность, ни возраст, ни положение или капитал роли не играют.

Оставалось только преклониться перед таким типом кавалера. А я в те годы, не имея лишней пятерки в кармане, почитал бесчестным ответно улыбнуться самой эфирной и бескомпромиссно-возвышенной девице у Люксембургского сада.

Я Ходасевичу особенно благодарен за один эпизод в моей литературной карьере. Случилось так, что рассказ «Двойной нельсон», забракованный «Современными записками», вышел наконец в «Русских записках». Номер этот печатался еще в Харбине (или Шанхае) – после редакция перешла к Милюкову в Париже.

Однажды, в субботу вечером, на собрании поэтов в «Мефисто», меня неожиданно вызвал гарсон к телефону: оказалось – Ходасевич! Ему понравился «Двойной нельсон», но одно место для него не ясно; он готовит статью для «Возрождения» – не могу ли я завтра заехать к нему, объяснить… Это спешно и важно.

Чувство от этого телефонного разговора осталось у меня вроде как у Достоевского, когда к нему на рассвете явились Некрасов и Белинский, только что прочитавшие рукопись «Бедные люди». (На такое, разумеется, Адамович не был способен, ибо есть вещи гораздо важнее, чем литература.) И этот субботний вечер в подвале «Мефисто» занял в моем неуютном прошлом эмигрантского писателя место классического монумента.

Поэт жил в тесной квартирке в Пасси; он принял меня торжественно, с подчеркнутым уважением, точно участвуя в определенной, веками освященной мистерии. По-видимому, он догадывался, какое значение это имеет для меня, и радовался как старший мастер, уже прошедший искус.

Не помню, была ли его супруга там; вообще, в литературную жизнь она не вмешивалась или вмешивалась неудачно. Так, после смерти Горького Ходасевич целый вечер прождал на Монпарнасе Берберову, желая

поделить с нею их общие воспоминания о Сорренто (согласовать, что ли). На кроткое замечание жены, что, в конце концов, можно обойтись без этого, он только оскорбительно отмахнулся.

Выяснив все, что ему было нужно в моем рассказе, Ходасевич добродушно заявил, что если бы я поставил в нужном месте многоточие, то никаких сомнений не возникло бы:

– Это вас Джойсы и Прусты сбили с толку! – не без горечи пожаловался он, – ничего постыдного или мещанского в многоточии нет.

Западную, современную литературу Ходасевич не знал, главным образом потому, быть может, что иностранные языки ему давались, – как всем! – с большим трудом.

Вообще, легенда, что русские отлично владеют многими языками, доживает, надеюсь, последние годы. Было время, когда во Францию устремлялись аристократы и эмигранты, типа Герцена или Ковалевской: они владели французским не хуже, а подчас лучше родного, русского. Отсюда возник этот миф, сохранившийся по сей день у булочников, несмотря на то, что последующие волны эмиграции – вранжель и дипи – десятилетиями заикались, объясняясь с полицией. Бунин, через год после Нобелевской премии, поехал раз поездом – «кукушкой» на юг Франции; он не успел запастись билетом и, будучи задержан кондуктором, не смог толком объясниться, а только нелепо кричал, тыча себя пальцем в грудь:

– Prix Nobel! Prix Nobel![25]

Из всей французской литературы он по-настоящему усвоил только Мопассана, да и того предпочитал в русском переводе.

---

[25] Нобелевский лауреат! Нобелевский лауреат! *(франц.).*

Мы преклоняемся перед гением Толстого и его вегетарианством, забывая, что, кроме всего прочего, он еще был самым образованным членом своего круга – и не переставал учиться, совершенствоваться до последнего дня.

За чаем я сообщил Ходасевичу, что года два тому назад «Современные записки» мне вернули назад «Двойной нельсон». Ходасевича передернуло, как от острой боли.

– Ну зачем они берутся не за свое дело, – страдальчески повторял он. – Ну зачем?

Я тогда получил свой первый аванс в тысячу франков под роман «Портативное бессмертие» – еще от Фондаминского, первоначально редактировавшего «Русские записки». И очень этим гордился. Ходасевич, неодобрительно покачивая маленькой головкой, меня просвещал:

– Вы работаете, создаете продукт, и все, что вам раз в десятилетие перепадает, – это тысчонка франков. А Вишняк ничего там не производит, только мешает и получает ежемесячный оклад! Ежемесячное! – он заскрежетал зубами, – жалование.

(Впервые в жизни эмигрантского писателя ему сообщили, что его занятия кому-то нужны и достойны большей награды.)

Успокоенный и подобревший Ходасевич вдруг начал мне передавать содержание давно задуманной им повести; рассказ этот исходил из каких-то интимных глубин поэта и, поскольку мне известно, не был написан.

К сожалению, в моем тогдашнем состоянии я не мог обратить большого внимания на это произведение, да и передавал он его урывками. Насколько помню, речь шла о знакомом нам всем типе интеллигента, горожанина, который внезапно порывает с прежней жизнью и селится в курной избе, где-то в глухих лесах.

Когда, несколько лет спустя, друзья его навестили, то нашли на поляне заросшего волосом анахорета, а у ног его покорно лежал огромный, серый медведь. Что-то в этом духе – во всяком случае, для Ходасевича совсем неожиданное.

Затем он мне почему-то сообщил, как однажды навестил товарища по гимназии, родители которого содержали мелочную лавку… Из-за прилавка вышла красавица девушка, сестра гимназиста: будущая Мария Самойловна Авксентьева-Цетлин (Розанов о ней отозвался в одном фельетоне: эсеровская мадонна). Я ее, к сожалению, уже встречал только в образе «Пиковой дамы».

Ходасевич вообще знал много подробностей из прошлого эмигрантских бонз и любил позлословить. По существу, это был консерватор, и прогресс его отнюдь не увлекал. О своем отце – кажется, поляке, католике – он говорил с большой нежностью и какой-то детской беспомощностью.

В день его юбилея друзья устроили обед по подписке. Я не присутствовал на трапезе, но пришел в ресторан позже, с кем-то из молодых. Ходасевич был определенно нам рад; мы все пошли на Монпарнас и засели – в бридж. Не помню, по какому поводу зашел разговор о теореме «сумма углов в треугольнике равна 2d». Ходасевич усомнился, что кто-нибудь из взрослых способен еще доказать такую теорему. Я вытащил из его кармана блокнот, подаренный ему Цветаевой – с пожеланием писать стихи, и тут же, уверенно, начертил простое доказательство; а снизу страницы я приписал: «Пора, пора, покоя сердце просит…»

Закончив свои четыре пики, Ходасевич заглянул в записную книжку и сердито обратился к Адамовичу:

– Молодежь не умеет себя вести! Вот Яновский, не спросясь, пишет в чужом блокноте, и если геометрия

еще имеет какое-то отношение к разговору, то остальное совершенно неуместно.

– А что он написал? – живо спросил Адамович, человек любопытный и ревнивый.

Ходасевич прочитал вслух мою строку и добавил:

– А ведь он думает, что цитирует Пушкина…

Ходасевич страдал от люмбаго, и я его направил к доктору З., который ему вспрыснул что-то вдоль крестца, боль мгновенно прошла.

– Я спрашиваю, – обиженно рассказывал мне потом поэт, любивший поговорить о болезнях, – скажите, доктор, откровенно, это паллиатив или настоящее лечение? Господи, я ведь, слава Богу, знаю, не в первый раз имею дело с лекарями. А он отвечает: «Забудьте люмбаго навеки». И мы отправились немедленно в гости. А через два часа меня на руках снесли с лестницы и отвезли домой. Ну зачем это нужно? Говори правду, ведь я же знаю, слава Богу…

Думаю, что о слабостях профессионалов, мастеров, адвокатов, художников он действительно многое знал и готов был простить все грехи людям, вполне овладевшим своим ремеслом.

Умер Ходасевич как-то легко, быстро, неожиданно. Незадолго до того вышла его книга «Некрополь». Я вел тогда критический отдел в «Иллюстрированной России». В его книге воспоминаний были отличные главы о Брюсове, но попадались и условные, попросту серые страницы. Я так и написал в своем отчете: ведь никто не догадывался, что Ходасевич умирает.

Через несколько дней его хоронили; желчные камни обернулись чем-то гораздо более серьезным.

Его отпевали в невзрачной протестантской церкви. Когда выносили гроб, я подошел к Рудневу, решив воспользоваться случаем и спросить о судьбе своей затерянной рукописи. Но Руднев, бледный, взволнованный, печальный, мягко улыбнулся и решительно заявил:

– Не сегодня, Василий Семенович, не сегодня, когда-нибудь в другой раз.

И мне почудилось, что Ходасевич опять мучительно кривится от острой боли и вскрикивает: «Ну зачем они берутся не за свое дело! Ну зачем…»

На кладбище, уже после стука осыпающихся комьев глины, по дороге назад, у ворот ко мне проворно подошел худощавый тогда и в спортивных брюках «гольф» Сирин; очень взволнованно он сказал:

– Так нельзя писать о Ходасевиче! О Ходасевиче нельзя так писать…

Я сослался на то, что никто не предвидел его близкой смерти.

– Все равно, так нельзя писать о Ходасевиче! – упрямо повторял он.

Фельзен, шедший рядом, тихо что-то сказал, примирительно-рассудительное, и мы смолкли. Но мне поведение Сирина очень запомнилось и понравилось. Существовала легенда, что он совершенно антисоциален, ни в каких общественных делах не участвует и вообще интересуется только собой и своей графологией. Очевидно, это не совсем так. В данном случае, например, он выполнил то, что почитал своим общественным долгом.

С кладбища я, Фельзен и, кажется, Р. Н. Гринберг поехали назад в кафе «Мюрат»; там, на террасе, под тентом, мы пили коньяк и наслаждались небом Парижа, особенно прекрасным после очередных похорон. (У меня дома хранился огарок церковной свечки, которую я в первый раз зажег при отпевании Поплавского.) Думаю, что друзья после похорон должны выпить в память усопшего. Старинный обычай справлять тризну – есть блины, пить водку, петь и играть на могиле покойного мне кажется мудрым и достойным подражания.

Ходасевича-поэта я любил давно, но с годами мне стало понятным, что и в критических статьях своих он

занимал особое, героическое место, ни разу в жизни, кажется, не похвалив заведомой дряни, всегда спеша первым с радостью отметить то новое, что он считал хорошим, даже если это исходило из враждебного ему лагеря. А это не о всяком русском критике скажешь.

Он первый, если не единственный, недвусмысленно отметил Сирина, назвав его труд подвигом. Это когда «Числа» во главе с Ивановым травили автора «Подвига» самым неприличным образом.

Ходасевич единственный в эмиграции критик (не считая В. Мирного) разругал так называемые романы Алданова. Статья в «Возрождении», посвященная главам «Начала конца», где Ходасевич заявляет, что такому писателю нет пути в русскую литературу, наделала в свое время много шума в эмигрантском корале. Фондаминский на очередном собрании «Круга», разливая чай, оживленно осведомлялся:

– Как вы думаете, кого имел в виду Ходасевич в своей статье, героя романа или самого Алданова?

На что Зензинов в сердцах отвечал:

– Вот видишь, ты сам способствуешь распространению сплетен.

В этот вечер Алданов зачем-то забежал к Фондаминскому до начала нашего собрания: может быть, чтобы поздороваться с приехавшим из Берлина Сириным. Пожимая его руку, Марк Александрович похвалил начало «Дара», появившегося в той же книге «Современных записок».

– Замечательно, замечательно, и читаете вы замечательно! – повторял он часто и быстро, опасливо озираясь, точно ожидая погони.

Моя повесть «Вольно-Американская» тоже печаталась в этой книге журнала, и в другое время Алданов не преминул бы обратиться ко мне с прохладным комплиментом. Но теперь, после статьи Ходасевича, ему было не до западноевропейских тонкостей.

Этот сбитый с толку, раненый, неуверенный в себе, страдающий одышкою, пухлый господин в котелке, всю жизнь занимавшийся не своим делом, я разумею его романы-кирпичи типа «Ключ», напомнил мне эпизод из «Анны Карениной», когда дворяне собираются забаллотировать своего старого предводителя, а он в панталонах с галунами, похожий на травимого зверя, мечется по залу и с надеждою взглядывает на Левина, не разбирая, враг это или друг.

В этом победа писателя. Пруста или Толстого вспоминаешь почти ежечасно – в постели, на службе, в клубе… Они постепенно «перекрывают» всю жизнь.

– Почему вы так дурно отзываетесь об Алданове? – спросил меня раз Фондаминский.

Я объяснил, потом добавил:

– Через двадцать лет после смерти автора никто серьезно не вспомнит про его романы.

Фондаминский отрицательно покачал головой:

– Вы ошибаетесь. Не через двадцать лет, а гораздо раньше! – и рассмеялся.

Тут, конечно, для многих все было ясно. Но Ходасевич находил справедливым про это внятно сказать, не считаясь с «тонкой» литературной политикой. В чем она заключалась, я никогда не мог понять… Утверждали, что Алданов масон и потому его надо хвалить. Но это вздор, в литературе было много масонов и их позволялось поругивать. Хотя бы Осоргина.

Когда Адамович хвалил Алданова, ему, вероятно, казалось, что большого греха в этом нет, через пятьдесят лет все равно лопух вырастет… Для Ходасевича в литературе не было важного и неважного, большего и меньшего. Здесь все одинаково значительно. А забавляться мы будем вечером за бриджем!

Часто во время игры, когда я следил за его зелеными пальчиками-червячками, перебиравшими бубны и трефы, я невольно шептал.

Друзья, друзья, быть может, скоро
И не во сне, а наяву,
Я нить пустого разговора
Для всех нежданно оборву…

Он оборачивался ко мне и сердито бросал:

– Ну что это за игра, только шлепание картами!

В конце 1971 года Адамович прилетел в Нью-Йорк, где я с ним встречался. Он несколько раз обедал у нас вместе с Оденом. По-видимому, они понравились друг другу, что меня и обрадовало, и удивило. В один из этих вечеров, уже в январе 1972 года, жена сфотографировала нас. Вероятно, это последний снимок Адамовича: он умер 22 февраля.

VI

Георгия Иванова, несмотря на его нравственное уродство, я считал самым умным человеком на Монпарнасе.

Трудно сообразить, в чем заключался шарм этого демонического существа, похожего на карикатуру старомодного призрака… Худое, синее или серое лицо утопленника с мертвыми раскрытыми глазами, горбатый нос, отвисшая красная нижняя губа. Подчеркнуто подобранный, сухой, побритый, с неизменным стеком, котелком и мундштуком для папиросы. Кривая, холодная, циничная усмешка, очень умная и как бы доверительная: исключительно для вас!

Понимал он почти «все» (в разговоры теологические никогда не ввязывался). А главное, допускал «все». Сказать, что он прощал все – нельзя. Ибо существо его, насквозь эгоистическое, было совершенно безразлично к любому визави. Кроме того, простить – значит, признать реальность вины, преступления, греха. Этого Иванов не мог разглядеть, как слепой – краски. Но стихи он любил и для них, пожалуй, жертвовал многим (indirectement).

Такого сорта монстры встречаются на каждом шагу в искусстве; в Париже того времени Иванов не являлся исключением; он становился чем-то единственным только благодаря высокому классу своих стихов. Смоленский, Злобин принадлежали к той же «аморальной» семье.

Иванов – человек беспринципный, лишенный основных органов, которыми дурное и хорошее распознаются, – Георгий Иванов был членом «Круга» и даже пользовался там влиянием. Чем он это достигал, трудно сказать. В те годы многие считали, что поэтически он вышел из двух-трех строф Фета и ловко жонглирует ими (Ходасевич). Но молодежь его боялась, слушалась и любила.

Монпарнас, несмотря на внешнюю неряшливость, все же ценил «мораль», в отличие от пресловутого Серебряного века. Мы пытались мистику слить со здравым смыслом; Толстого со святым Иоанном Креста… Этим, пожалуй, определялась наша квадратура круга. Ибо каждая выдающаяся эпоха бьется над своей собственной квадратурой круга, и это решает ее стиль и дух.

Так, Мережковский смущенно заметался, когда я неожиданно ему сообщил, что деяния человека свидетельствуют о его духовном состоянии: как сыпь на коже от внутренней болезни… «Ну, это очень трудно так прямо сказать», – мямлил он неуверенно.

Влияние Иванова на молодых поэтов объяснялось не только его стихами. Тут роль играл шарм и ловкость его литературной кухни. Он был умницей, поскольку можно считать умным человека, ставившего на бракованную лошадку. Лаской и таской он упорно добивался своего. Так, Варшавский, заслуживший репутацию «честного» писателя, по требованию Иванова пишет ругательную статью о Сирине (Набокове) в «Числах». («И зачем я это сделал? – наивно сокрушался он двадцать лет спустя, в беседе со мною. – Не понимаю».)

Иванов обходит богатых евреев и занимает у них деньги. Потом он проделывает почти то же самое с немцами. И все-таки ему подают руку. Иванов ходит в Национальный Союз Трудового (или Молодого, не помню уже) Поколения – в те годы откровенно погромная организация… Потом на Монпарнасе он мило рассказывал, что там Достоевского называют жемчужИной русской литературы. Всякий раз, отправляясь к ним, Иванов объяснял: «Нет, сегодня я иду к жемчужИнам». Там на открытом собрании, устроенном по инициативе Иванова, называют Адамовича Смердяковым. Но Иванову все же удается сохранить дружеские отношения с «Жоржем». Только последний, вероятно, знал всю степень духовной беспомощности Иванова.

И опять Иванов отделывается каламбуром, а назавтра распространяет злейшую сплетню и снова прибегает мириться с Адамовичем.

В жизни всякого писателя, ученого, трибуна наступает время, когда ему хочется подлинной славы: учеников, аудитории, даже памятника на площади в родном краю. Причем это не только голос честолюбия, гордыни, а некая нормальная потребность роста.

Такого признания захотелось наконец Иванову – всенародного, великодержавного. В сущности, нам всем в разное время нужна тысяча студентов и студенток, рукоплещущих, выпрягающих лошадей из коляски, несущих орхидеи на эстраду…

– Во второй раз эмигрантом я не буду! – угрожающе предупреждал он. – А в Москву я готов вернуться даже в обозе Гитлера.

Вот немцы наконец во Франции; многие друзья Иванова бедствуют, а он старается использовать новых знакомых по старому рецепту. Когда они разбиты (это ли не скверная лошадка) и бегут из Парижа, Иванов собирается немедленно записаться в Союз Советских Патриотов. Его отговаривает писательница Б.

А там он опять ведущий поэт, почти идеолог – на этот раз дипийцев! Иванов шармер, несмотря на свое внешнее и внутреннее безобразие, его обаяние привлекало людей…

– Вот вы написали в рассказе про человека, у которого синее лицо утопленника, – говорил он конфиденциально, вполголоса. – Сумели же вы такое увидеть.

В другой раз:

– Вы великодержавный писатель, не то что эта мразь.

По каким-то соображениям он тогда считал нужным мне польстить. А такого рода похвала пленяла и помогала многое прощать. Кстати, Иванов уверял, что лесть всегда действует положительно, даже если ей не поверят! (Польсти, польсти! – по Достоевскому.)

В связи со скандалом Иванов-Буров я был вовлечен в грязную склоку. Я тогда встречал Бурова и знал, где он по утрам гуляет в одиночестве. Когда последний в ответ на требования денег разослал всем циркулярное письмо касательно коммерческих операций Г. Иванова, Георгий Владимирович решил встретиться с ним и наградить его оплеухой. Но я отказался выдать доверенный мне секрет, то есть место его ежедневных прогулок. Это очень удивило наших честных молодых писателей, только Адамович заявил, что я совершенно прав.

Передаю эти подробности, чтобы показать, как легко, в сущности, было сохранить хорошие отношения с Ивановым, не идя на особые компромиссы с совестью. Но «недуг» Поплавского «перехамил или перекланялся»… оставался очень распространенным.

Иванов не играл ни в какие игры, азартные или коммерческие; его сексуальная жизнь довольно сумрачная картина.

В «Круге», явно враждебном морально-политическому облику Иванова, поэт все-таки пользовался и уважением,

и вниманием. Показательно, что Ходасевича мы не пригласили, хотя печатали его в нашем альманахе.

Перелистывая Фета, я всегда вспоминаю Иванова; по сей день не могу понять, почему последний так пришелся по вкусу изголодавшейся новой эмиграции… Разумеется, это настоящий поэт, но были же у нас Ходасевич, Цветаева – не меньшего размаха! Думаю, что не в одной поэзии тут дело; читая Иванова, бессознательно чувствуешь, что все трын-трава: можно в одну контрразведку заглянуть, затем в другую, противоположную, позволительно ошельмовать кулака отца, у еврея денег перехватить, затем у немецкого полковника, в Национально-Трудовой Союз записаться, потом к советским патриотам примкнуть. Все извинительно…

Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер!
Только в мире и есть, что лучистый
Детски-задумчивый взор!

Это строки Фета, а не Иванова. И еще:

Люди спят, – мой друг, пойдем в душистый сад:
Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят,
Да и те не видят нас среди ветвей
И не слышат, – слышит только соловей,
Да и тот не слышит: песнь его громка,
Разве слышат только сердце и рука…

Проза Иванова – трехмерная, на редкость безблагодатная («Петербургские зимы» в стороне, я разумею «романы» Иванова). «Распад атома» любопытен, пожалуй, с точки зрения автобиографической.

Тяготел он всегда скорее к «реакционному» сектору в своих взглядах, хотя убеждений, принципов у Иванова почти не было. Бессознательно любил и уважал только сильную власть и великую державу; требовал порядка и, главное, иерархии, при условии, что он, Иванов, будет причислен к элите.

После благополучного завершения войны я получил письмо от Иванова с юга Франции. Тогда печатался в «Новом журнале» «Американский опыт», и Г. Иванов похвалил его: «вот такие именно писатели нам нужны...» Затем что-то намекал насчет возможного (при его связях) устройства французского перевода. И в заключение просил послать отрез серого сукна на костюм. Это все типичный Иванов; надо только помнить, что если бы я ему отправил подарок, он бы мне обязательно, немедленно отплатил гадостью.

– О костюмчике не может быть и речи! – отвечал я ему.

Это был любимый анекдот одессита Ставрова... Гражданин высовывается из окна горящего здания и зовет на помощь. Ему кричат снизу, прыгай! Но он отвечает: «О том, чтобы прыгать, не может быть и речи». На Монпарнасе очень ценили эту шутку.

Вот я стараюсь, по-видимому, честно рассказать о человеке, которого знал, и чувствую, как сущность этой души, секрет ее ускользает. Неправда, что только Пушкин (Ленский) унес в могилу тайну своей личности. Мы все, и особенно такие искаженные образы, как Ивановы, храним и лелеем скрытую рану (язву), о которой можно догадаться только благодаря усердию, с которым мы толкаем посторонних, друзей и врагов, на ложный след.

Я назвал Иванова совершенно аморальным; но это неверно по отношению к его труду. Для стихов своих он, вероятно, многим жертвовал и, пожалуй, признавал некоторые, хотя бы им самим установленные, правила и законы. Возможно, что всю остальную жизнь он почитал вздором, скрашиваемым только комфортом, и поэтому ничего не стоило врать, шантажировать, предавать. Единственно, стихи свои он воспринимал как настоящую реальность и тут не жалел себя.

К концу 30-х годов, когда тень Гитлера падала уже за Рейн на французский пейзаж, наши нервы понемногу начали сдавать. В воздухе запахло кровью, быть может, кровью близких, и шуточки Иванова становились опасными; кроме того, полиция тоже вдруг, казалось, проснулась. Тогда он повел себя осторожнее; то ли дело во времена «народного фронта» – сколько язвительных, пророческих анекдотов порождал Иванов.

В «Круге» последний год Иванов сидел молча, с каменным лицом. Только изредка подталкивал к несдержанным рейдам нашего единственного (платонического) гитлеровца – Лазаря Кельберина… Сей последний вообразил себя, временно, помесью Паскаля с Розановым.

Вот к выкрикам Кельберина обычно тихохонько примазывался Иванов, покровительствовавший ему.

Раз, придя на заседание правления «Круга», я узнал, что будет обсуждаться кандидатура нового члена – Злобина. Каким образом Иванов убедил Фондаминского и кто еще участвовал в этом заговоре, не помню; но возражать пришлось только мне, даже Федотов только брезгливо отмалчивался.

– Помилуйте, – возмущался я. – Мы не пригласили Мережковских, у которых могли бы все-таки чему-то научиться. А тут вы предлагаете кандидата со всеми пороками Мережковских, но без их заслуг…

– Вы боитесь Злобина? – победоносно спрашивал Фондаминский, зная что я отвечу. – Ну вот. Значит, пускай себе сидит и слушает. Может, даже мы на него повлияем. А Мережковские сильные противники. Кому охота теперь с ними спорить о самых элементарных началах и терять время. Только Кельберин еще соблазнится их речами да еще кое-кто. Нет, Мережковских я не хочу здесь. А Злобин не опасен.

Его настойчивость, а главное, аккуратность, с какой он начинал опять спор именно с того места, на котором

давеча прервал, действовали на многих из нас парализующе, и мы уступили.

Так, в 1939 г. появился на этих собраниях заложник Мережковских – Злобин. Человек, вероятно, в большой степени ответственный за все безобразия последнего периода жизни Мережковских. Держал он себя тихо, подчеркнуто гостем, сидел на диване рядом с Ивановым, составляя некую темную фракцию; однако изредка задавал «каверзные» вопросы, например, после доклада Керенского:

– Не думаете ли вы, Александр Федорович, что Гитлер помимо эгоистических видов на Украину искренне ненавидит коммунизм и хочет его в корне уничтожить?

На что Керенский, кокетничая беспристрастием, ответил:

– Я допускаю такую возможность.

Керенский был у нас заложником исторического чуда. Несколько месяцев он возглавлял и защищал воистину демократическую Россию, тысячелетиями превшую в тисках великодержавных шалунов. Этого уже не удастся зачеркнуть!

«Верховный главнокомандующий, – насмешливо, но и с петербургским трепетом повторял Иванов. – Вы заметили, как он меня держал за пуговицу и не отпускал? Подумайте, Верховный великой державы, во время войны».

Когда, случалось, цитировали знаменитый белый стих Ходасевича: «Я руки жал красавицам, поэтам, вождям народа…» – Иванов неизменно объяснял:

«Это он Керенского имел в виду, других вождей народа он не знал».

Как-то раз случайная дама из правого сектора сообщила за чайным столом Мережковских, что встретила Керенского в русской лавчонке – он выбирал груши.

«Подумайте, Керенский! И еще смеет покупать груши!» – вопила она, уверенная в своей правоте.

В этот день обсуждалась тема очередного вечера «Зеленой лампы». Мережковский с обычным блеском сформулировал ее так: «Скверный анекдот с народом Богоносцем…»

К нашему удивлению правая дама, запрещавшая Керенскому есть груши, возмутилась: «Мы придем и забросаем вас тухлыми овощами, – заявила она. – А может быть, и стрелять начнем».

Но и либералы, эсеры, народники тоже запротестовали, узнав о предстоящем вечере, и пришлось уступить «общественному мнению» – из трусости.

Мережковские закончили довольно позорно свой идеологический путь. Главным виновником этого падения старичков надо считать Злобина – злого духа их дома, решавшего все практические дела и служившего единственной связью с внешним, реальным миром. Предполагаю, что это он, «завхоз», говорил им: «Так надо. Пишите, говорите, выступайте по радио, иначе не сведем концы с концами, не выживем». Восьмидесятилетнему Мережковскому, кащею бессмертному, и рыжей бабе-яге страшно было высунуть нос на улицу. А пожить со сладким и славою очень хотелось после стольких лет изгнания. «В чем дело, – уговаривал Злобин. – Вы ведь утверждали, что Маркс – Антихрист. А Гитлер борется с ним. Стало быть – он антидьявол».

Салон Мережковских напоминал старинный театр, может быть, крепостной театр. Там всяких талантов хватало с избытком, но не было целомудрия, чести, благородства. (Даже упоминать о таких вещах не следовало.)

В двадцатых годах и в начале тридцатых гостиная Мережковских была местом встречи всего зарубежного литературного мира. Причем молодых писателей

там даже предпочитали маститым. Объяснялось это многими причинами. Тут и снобизм, и жажда открывать таланты, и любовь к свеженькому, и потребность обольщать учеников.

Мережковский не был, в первую очередь, писателем, оригинальным мыслителем, он утверждал себя, главным образом, как актер, может быть, гениальный актер… Стоило кому-нибудь взять чистую ноту, и Мережковский сразу подхватывал. Пригибаясь к земле, точно стремясь стать на четвереньки, ударяя маленьким кулачком по воздуху над самым столом, он начинал размазывать чужую мысль, смачно картавя, играя голосом, убежденный и убедительный, как первый любовник на сцене. Коронная роль его – это, разумеется, роль жреца или пророка.

Поводом к его очередному вдохновенному выступлению могла послужить передовица Милюкова, убийство в Halles, цитата Розанова-Гоголя или невинное замечание Гершенкрона. Мережковскому все равно, авторитеты его не смущали: он добросовестно исправлял тексты новых и древних святых и даже апостолов. Чуял издалека острую, кровоточащую, живую тему и бросался на нее, как акула, привлекаемая запахом или конвульсиями раненой жертвы. Из этой чужой мысли Дмитрий Сергеевич извлекал все возможное и даже невозможное, обгладывал, обсасывал ее косточки и торжествующе подводил блестящий итог-синтез: мастерство вампира! (Он и был похож на упыря, питающегося по ночам кровью младенцев.)

Проведя целую длинную жизнь за письменным столом, Мережковский был на редкость несамостоятелен в своем религиозно-философском сочинительстве. Популяризатор? Плагиатор? Журналист с хлестким пером?.. Возможно. Но главным образом, гениальный актер, вдохновляемый чужим текстом… и аплодисментами.

И как он произносил свой монолог!.. По старой школе, играя «нутром», не всегда выучив роль и неся отсебятину, – но какую проникновенную, слезу вышибающую!

Парадоксом этого дома, где хозяйничала черная тень Злобина, была Гиппиус: единственное, оригинальное, самобытное существо там, хотя и ограниченное в своих возможностях. Она казалась умнее мужа, если под умом понимать нечто поддающееся учету и контролю. Но Мережковского несли «таинственные» силы, и он походил на отчаянно удалого наездника… Хотя порою неясно было, по чьей инициативе происходит эта бравая вольтижировка: джигит ли такой храбрый или конь с норовом?

Кто-то за столом произносит имя Виолетты Нозьер – героини криминальной хроники того периода (девица, убившая отца, с которым состояла в противоестественной связи).

– Вот, – заливается Мережковский и ударяет кулачком в такт по воздуху над столом. – Вот! От Жанны д’Арк до Виолетты Нозьер – это современная Франция.

– Ах, какой из него бы получился журналист! – не без зависти повторял Алданов, с которым я вышел оттуда. – Ах, какой журналист! Подумайте, одно заглавие чего стоит: «От Жанны д’Арк до Виолетты Нозьер».

Такими штучками – и в плане метафизическом – блистал всегда Мережковский. Но особой глубины и даже свежести, подлинной оригинальности в них как будто не оказалось. Да и правды не было, то есть всей правды. От Жанны д'Арк до Шарля де Голля – гораздо справедливее и осмысленнее. А Виолетты Нозьер были повсюду, во все времена. Но Мережковскому главное произвести эффект, сорвать под занавес рукоплескания.

Демонизм – это когда душа человека не принадлежит себе: она во власти не страстей вообще, а одной,

всепоглощающей, часто тайной страсти. Думаю, что Мережковский был насквозь демоническим существом, хотя что и кто им владели в первую очередь, для меня неясно.

Собирались у Мережковских пополудни, в воскресенье, рассаживались за длинным столом, в узкой столовой. Злобин подавал чай. Звонили, Злобин отворял дверь.

Разговор чаще велся не общий. Но вдруг Дмитрий Сергеевич услышит кем-то произнесенную фразу о Христе, Андрее Белом или о лунных героях Пруста… и сразу набросится, точно хищная птица на падаль. Начнет когтить новое имя или новую тему, раскачиваясь, постукивая кулачком по воздуху и постепенно вдохновляясь, раскаляясь, импровизируя, убеждая самого себя. Закончит блестящим парадоксом: под занавес, нарядно картавя.

Люди постарше, вроде Цетлина, Алданова, Керенского, почтительно слушают, изредка не то возражают, не то задают замысловатый вопрос. Кто-нибудь из отчаянной молодежи лихо брякнет:

– Я всегда думал, что Христос не мог бы сказать о педерастах то, что себе позволил заявить апостол Павел.

– Вы будете вечером на Монпарнасе? – тихо спрашивают рядом.

– Нет, я сегодня в «Мюрат».

Мережковский начал с резкого декадентства в литературе. Он был дружен с выдающимися революционерами этого века, такими, как Савинков. Считалось, что он боролся с большевиками и марксизмом, хотя во времена НЭПа вел переговоры об издании своего собрания сочинений в Москве.

Затем он ездил к Муссолини на поклон и получил аванс под биографию Данте. Рассказывал о своей встрече с дуче так:

– Как только я увидел его в огромном кабинете у письменного стола, я громко обратился к нему словами Фауста из Гете: «Кто ты такой? Wer bist du denn?..» А он в ответ: «Пиано, пиано, пиано».

Можно себе представить, как завопил Мережковский, вывернутый наизнанку от раболепного восторга, что дуче тут же должен был его осадить: «Тише, тише, тише».

Мережковский под этот заказ несколько раз получал деньги. Переводил этого Данте известный итальянский писатель, поэт русского происхождения Ринальдо Петрович Кюфферле, переводивший и мои две итальянские книги: Альтро Аморэ и Эсперианцо Американо. От него я кое-что слышал о трансакциях Мережковского.

Сам Дмитрий Сергеевич, отнюдь не стесняясь, рассказывал о своих отношениях с Муссолини:

– Пишешь – не отвечают! Объясняешь – не понимают! Просишь – не дают!

И это стало веселой поговоркой на Монпарнасе применительно к нашим делам.

Мережковский сравнивал Данте с Муссолини и даже в пользу последнего: забавно было бы прочесть теперь сей тайноведческий труд по-итальянски.

Впрочем, вскоре поспел Гитлер, и тут родные гады откровенно зашевелились, выползая на солнышко из темных углов.

Мережковский полетел на нюрнбергский свет с пылом юной бабочки. Идея кристально чиста и давно продумана: в России восторжествовал режим дьявола, предсказанный Гоголем и Достоевским… Гитлер борется с коммунизмом. Кто поражает дракона, должен быть архангелом или, по меньшей мере, ангелом. Марксизм – антихрист; антимарксизм – антиантихрист: quod erat demonstrandum![26]

---

[26] Что и требовалось доказать *(лат.)*.

О Муссолини он еще осведомлялся: кто ты есть?.. Но тут, с немцами, и спрашивать нечего: все понятно и приятно.

К тому времени большинство из нас перестало бывать у Мережковских. Кровь невинных уже просачивалась даже под их ковер, в квартирке, украшенной образками св. Терезы маленькой, любимицы Зинаиды Николаевны. Там, на улице Колонель Боннэ, вскоре начали появляться, как потом выразился Фельзен, «совсем другие люди».

Иванов, конечно, пристроился к победному обозу и собирался наконец превратиться в отечественного поэта, кумира русской молодежи. Впрочем, думаю, что вполне уютно тогда чувствовал себя только один Злобин.

Злобин, петербургский недоучившийся мальчик, друг Иванова, левша с мистическими склонностями, заменил Философова в хозяйстве Мережковских. На мои недоумевающие вопросы Фельзен добродушно отвечал:

– Мне сообщали осведомленные люди, что у Зинаиды Николаевны какой-то анатомический дефект…

И, снисходительно посмеиваясь, добавлял:

– Говорят, что Дмитрий Сергеевич любит подсматривать в щелочку.

Как бы там ни было, но Злобин постепенно приобрел подавляющее влияние на эту дряхлеющую и выживающую из ума чету. Вероятно, он ее пугал грядущей зимою: холодом, голодом, болезнями… А с другой стороны, борьба с дьяволом-коммунизмом, пайки, специальный поезд Берлин-Москва, эпоха Третьего Завета, новая вселенская церковь и, конечно, полное издание сочинений Мережковского в роскошном переплете. Влияние, любовь, ученики.

Догадки, догадки догадки… Но как же иначе объяснить глупость этого профессионального мудреца, слепо

пошедшего за немецким чурбаном. Где хваленая интуиция Мережковского, его знание тайных путей и подводных царств, Атлантиды и горнего Ерусалима? Старичок этот мне всегда казался иллюстрацией к «Страшной мести» Гоголя.

Недаром на большом, сводном собрании, где выступал Мережковский вместе с Андре Жидом, французская молодежь весело кричала:

– Cadavre! Cadavre! Cadavre![27]

Гиппиус милостиво подавала свою сухую ручку гостям и, улыбаясь, говорила любезность: «А я вас читала сегодня» или «Хорошее стихотворение ваше…» Впрочем, кое-кому она молча совала лапку – почти с ожесточением. В общей сутолоке, среди перепутавшихся рук, прощаясь, Закович будто бы однажды поцеловал кисть Мережковского, чему последний отнюдь не удивился.

Беседуя, Гиппиус произносила имена св. Терезы маленькой или св. Иоанна Креста, точно дело касалось ее кузенов и кузин; то же о Третьем Завете или первородном грехе. Если бы Мережковский не занимался метафизикой, а марксизмом или физиологией, то Зинаида Николаевна, вероятно, заигрывала бы с Энгельсом или цитировала бы Павлова. Несмотря на всю свою поэтическую самостоятельность, теологическую заинтересованность, это первично недоброе существо я рассматриваю в порядке «Душечки» Чехова. Повествовали о ее «ангельской» красоте в молодости; вероятно, это правда. Хотя я заметил, что такое рассказывают про многих темпераментных литературных старух. В мое время она уже была сухой, сгорбленной, вылинявшей, полуслепой, полуглухой ведьмой из немецкой сказки на стеклянных негнущихся ножках. (Что-то «ботническое»

---

[27] Труп! Труп! Труп! *(франц.).*

все же оставалось в красках.) Страшно было вспомнить ее стишок: «И я такая добрая, Влюблюсь – так присосусь. Как ласковая кобра, я, Ласкаясь обовьюсь»…

Она любила молодежь и поощряла некоторых поэтов; думаю, что многие ей должны быть благодарны. Из прозаиков бедняжка похвалила одного Фельзена (до прихода немцев, разумеется).

А затем немцы начали отступать, Мережковские остались одни. Даже «единомышленники» вроде Иванова скрылись, стараясь где-то застраховаться. Об этой поре гордая Гиппиус писала: «Одно утешенье осталось – Мамченко».

Так себе утешение…

Полагаю, что от стихов Гиппиус сохранится многое: больше, чем от декламации Мережковского. Но вообще что-то неестественное, духовно разлагающее характеризовало эту чету.

Раз на большом собрании не то «Зеленой лампы», не то «Чисел»… «Числа» в нашей жизни сменили «Зеленую лампу», как потом «Круг» вытеснил «Числа», но на стыках они некоторое время «перекрывали» друг друга. Итак, на большом собрании Иванович-Талин громил зарубежную литературу, утверждая, что у нас осталось всего два стоящих писателя, но один устремлен исключительно в прошлое, а другой видит в жизни только дурное. Мережковский, председательствовавший, оживился и начал расспрашивать: «Может быть, писатель, обращенный в прошлое, ищет там ответа на современные вопросы?»... – и так далее, очевидно, полагая, что речь идет об авторе «Атлантиды» или «Леонардо да Винчи».

На что Талин с места крикнул:

– Меня заставляют назвать трех писателей, тогда как я имел в виду только двух: Бунина и Алданова.

И весь зал в ответ захлопал, заулюлюкал, завыл, на редкость единодушно ликуя. Алданов рядом со мною в тесном для него кресле беспокойно ерзал, вздыхая и оглядываясь.

– Видишь, а ты думал, что о тебе… – с грустной иронией отозвалась Гиппиус, сидевшая тоже на эстраде.

И серый, зеленый, согнутый Мережковский в продолжение нескольких минут вяло мямлил что-то такое, стараясь с честью выйти из неловкого положения. Было тяжело смотреть на него и противно – на ликующую толпу. Откуда эта стихийная радость всей аудитории? Почему такое всеобщее одобрение ловкому удару, нанесенному ниже пояса?

Я случайно видел Мережковского в церкви на рю Дарю. В будний день, пустой собор; и его сухое тельце в российской шубе с бобровым воротником – похожее на высохшее насекомое или на парализованного зверька!.. Он долго лежал на полу, напоминая финальную сцену из лесковского «Чертогона».

Из старших у Мережковских бывали Керенский, Цетлин, изредка Алданов, Бунин и случайные иногородние паломники.

Присутствие Керенского создавало в гостиной всегда праздничную атмосферу. Я мог поклясться, что иногда различал лавровый венок на его голове, постриженной ежиком. Есть такие счастливцы и неудачники, которые, как метеоры, как яркие кометы, проносятся по небосклону, оставляя необъяснимый, подчас незаслуженный след в сердцах. Такое чувство я испытывал при виде Керенского, Линдберга, Одена, Сирина, Джона Кеннеди, Поплавского, Вильде. Это тайна Падающих Звезд, по-английски shooting stars.

Но стоило Александру Федоровичу открыть рот, и я начинал краснеть за него. Он был во власти стихийного потока: его несло, но неизвестно куда, и не на большой

глубине. Он принадлежал к породе «недогадывающихся»: по-моему, он был попросту неумен.

Как случилось, что его выпустили «уговаривать» солдатскую или мужицкую Русь, для меня остается загадкой. Впрочем, возможно, что это объясняется глупостью, «недогадливостью» целой эпохи.

В ответ на одно такое мое высказывание он раз сказал мне: «Все, что теперь происходит в Европе и перемалывается ею десятки лет, началось в России, как в прологе к греческой трагедии, как в пантомиме, понятной зрителю только в конце представления. Если бы мы имели опыт того, что потом произошло в Италии или Германии, мы бы совсем иначе себя вели».

Я передаю его слова по памяти, но за общий смысл ручаюсь.

В Нью-Йорке мы с ним часто встречались на собраниях «Третьего часа» в тесной квартире Е. А. Извольской. Но он уже тогда начал хворать, прошел несколько операций, ослеп и неуклонно разрушался. Его партийные или идеологические друзья с ним постепенно разошлись, до того изменились его «взгляды». Если не ошибаюсь, кто-то его даже обвинил в антисемитизме.

Есть такой дом для стариков, выздоравливающих, Nursing Home. На углу 79-й улицы и Третьей авеню. Туда поместили Керенского после его возвращения из Англии. Раз, очутившись в том районе, я решил наведаться к нему, в сущности, попрощаться. Мне назвали этаж и комнату и позволили подняться туда. В пустом широком коридоре не было никого. Я постучал и в ответ на хриплый возглас вошел.

– Кто это? – не то растерянно, не то испуганно.

Он сидел в кресле, с ногами, завернутыми в железнодорожный старомодный плед, и напряженно смотрел в сторону двери, хотя я уже был в центре довольно большой светлой комнаты.

– Это Яновский! – крикнул я поспешно. – Зашел вас проведать.

– А! Нет. Я очень занят теперь.

– Понимаю. Я сейчас уйду. Вас часто оставляют здесь одного без присмотра?

С профессиональной точки зрения это граничило с преступлением.

– Нет, не часто. Она пошла что-то купить себе.

В связи с нашим журналом «Третий час» мне поручили собрать некоторые сведения относительно одного эмигранта, который просился в сотрудники журнала и с которым Александр Федорович встречался в Мюнхене. Я задал ему соответствующий вопрос, и Керенский сразу оживился:

– О, это ужасный человек. Он не понимает, что нельзя американцам позволить так разговаривать с русскими. Он откровенно сознался: «Мне на все наплевать, я коплю деньги и хочу купить виллу в Италии. Все остальное меня не касается: делаю что приказывают»… Вот какой это тип!

– Как ваше здоровье, Александр Федорович!

– О, гораздо лучше. Я сделал ошибку, что поехал в Англию. Там они меня почти доконали.

– Можно вам как-нибудь позвонить, у меня еще есть вопросы к вам.

– Да-да, позвоните, – откровенно обрадовался он, – а теперь я занят, – и он повернул головку в сторону телефона, которого он достать рукой не мог и очевидно не собирался.

Его слова мне напомнили эпизод из жизни Салтыкова-Щедрина, который умирал от мучительной болезни, и когда к нему приходили с визитом, гости слышали, как он из соседней комнаты кричал слуге: «Занят, скажите, умирает». В коридоре я встретил сиделку-японку, ухаживавшую за Керенским многие годы.

Я постарался объяснить ей, что для многих русских неудачников, вроде Горгулова, стрельнуть в Керенского было бы прямой «путевкой» к славе. Но японка меня не поняла или не поверила мне.

Бунин порой вызывал улыбку за чайным столом Мережковских, где спорили о Третьем Завете, о Прусте, о доктрине Трубадуров. Следует помнить, что Бунин был конкурентом Мережковского по линии Нобелевской премии, и это не могло порождать добрых чувств. Он все реже заглядывал в эту гостиную.

Придраться к Бунину, интеллектуально беззащитному, было совсем не трудно. Как только речь касалась понятий отвлеченных, он, не замечая этого, терял почву под ногами. Лучше всего ему удавались устные воспоминания, импровизации – не о Горьком или Блоке, а о ресторанах, о стерляди, о спальных вагонах петербургско-варшавской железной дороги.

– Это бритая лошадь! – скажет он об одном уважаемом политическом деятеле, и сразу какой-то туман прояснится: действительно, лошадь и бреется!

Вот в таких «предметных» образах была сила и прелесть Бунина. Кроме того, разумеется, личный шарм! Коснется слегка своим белым, твердым, холодноватым пальцем руки собеседника и словно с предельным вниманием, уважением сообщит очередную шутку… А собеседнику мерещится, что Бунин только с ним так любезно, так проникновенно беседует. Да, колдовство взгляда, интонации, прикосновения, жеста… До чего этим шармом была богата старая Русь, и куда все девалось? Среди новых беглецов все налицо как полагается: талант, эрудиция, подчас убеждения, идеалы, а благодати шарма, обаяния – нет и нет.

Если по соседству с Алдановым неизменно приходила в голову сказка о голом короле, то с Буниным судьба сыграла совсем противоположного рода шутку,

душевно ранив его на всю жизнь… Бунин, с юношеских лет одетый изящно и пристойно, прохаживался по литературному дворцу, но был упорно провозглашаем полуголым самозванцем. Это еще в России, при вспышках фейерверка Андреева, Горького, Блока, Брюсова.

Нетрудно заметить, что именно российская катастрофа, эмиграция, выдвинула его на первое место. Среди эпигонов за рубежом он воистину был самым удачным. А в Советском Союзе теперь о Бунине пишут: «так и просится в хрестоматию…», не догадываясь, что место большого писателя отнюдь не в школьных пособиях.

Итак, Бунин легко занял первое место в старой прозе; молодая, вдохновляемая европейским опытом, определилась только в середине 30-х годов и должна была еще воспитать своего читателя. Но стихи Бунина вызывали улыбку даже в среде редакторов «Современных записок». Он их, кажется, не печатал больше и не писал до Второй Отечественной войны, когда круг исторический опять сомкнулся и снова появился спрос на отечественный пейзаж с коровьим мычаньем и запахом полыни или парного молока. Говорят, что мастера социалистического реализма теперь смакуют вирши Бунина, восхищаясь их монолитностью.

Горький опыт непризнания оставил у Ивана Алексеевича глубокие язвы: достаточно только притронуться к такой болячке, чтобы вызвать грубый, жестокий ответ.

Имена Горького, Андреева, Блока, Брюсова порождали у него стихийный поток брани. Видно было, как много и долго он страдал в тени счастливцев той эпохи.

Бунин прошел мимо всего русского символизма, не задетый им нисколько, упорно продолжая перекликаться с дубравами, березками и жаворонками. Осмеянный,

но самостоятельный отщепенец, он теперь мстил своим мучителям, брал реванш. Нельзя сомневаться, что для современного политбюро стихи Бунина все еще понятнее и ближе, чем поэмы Андрея Белого или Анненского.

К чести Ивана Алексеевича надо признать, что он не кривлялся, не подражал, не бежал за модою, оставался почти всегда самим собою: гордым зубром, обреченным на вымирание.

Тексты Бунина как будто уже знакомы нам по произведениям других, более ранних авторов. Но «делает» он свои вещи, пожалуй, лучше самых великих предтеч. Это закон эпигонов! Бунин описывает ветлы на заливном лугу и щиколотки баб, может быть, удачнее Тургенева или Толстого. У него вино пьют из фужера… Но заслуги Тургенева и Толстого не в этом или не только в этом.

Можно проделывать чистенький акробатический номер в губернском цирке, над прочно растянутой сеткой… Это судьба эпигонов. То ли дело первые циркачи, которым приходилось кувыркаться с трапеции на трапецию без спасительной сетки внизу.

Замечательно, что «последователь» Бунина Зуров, то есть эпигон эпигона, еще искуснее описывает поцелуй крестьянки или зимний наст. Тут выражена какая-то закономерность.

Бунин на собраниях или в гостиной был наряден и любезен. Тщательно выбритый, с белым лицом, седой, иногда во фраке, подчеркнуто сухой и подтянутый, дворянин, европеец.

– Это он после того, как ему вырезали геморрой, начал себя так держать! – уверял Иванов, еще больше оттопыривая нижнюю губу.

Ночью на Монпарнасе, у «Доминика» или в «Селекте», подсаживаясь к нам, Бунин был мужественно изящен

и прост. С ним нельзя было, да и не надо было, беседовать на отвлеченные темы. Не дай Бог заговорить о гностиках, о Кафке, даже о большой русской поэзии: хоть уши затыкай. Любил он чрезмерно Мопассана, которого французы не могли считать великим писателем, как и американцы Эдгара По! Что не мешало обоим этим литераторам сводить с ума Россию.

Боже упаси заикнуться при Бунине о личных его знакомых: Горький, Андреев, Белый, даже Гумилев. Обо всех современниках у него было горькое, едкое словцо, точно у бывшего дворового, мстящего своим мучителям-барам.

Он уверял, что всегда презирал Горького и его произведения. Однако лучшая по старым временам поэма Бунина «Лес точно терем расписной…» была посвящена в первом издании Максиму Горькому. Позже, в эмиграции, он перепечатывал ее уже без посвящения.

– Не трогайте о. НН! – выкрикивал он вдруг в порыве какого-то душевного великодушия, хотя мы ничего дурного об о. НН не собирались говорить. – Не трогайте его, это мой Митя!..

Тут, конечно, любопытное противоречие, бросающее свет на процесс творчества Бунина и на ограниченность его кругозора: в «Митиной любви» герой кончает довольно банальным самоубийством, тогда как на самом деле молодой человек из его повести постригся в монахи и вскоре стал выдающимся иереем.

Натуральной склонностью обиженного в молодости Бунина было высмеять, обругать, унизить. Когда богатый купец угощал Бунина хорошим обедом, он, показывая независимость, привередничал, браковал вина, гонял прислугу, кричал:

– Да если бы мне такую стерлядь подали в Москве, так я бы…

Глядя на него, можно было легко поверить, что в России неплохие люди, единственно чтобы показать

самостоятельность, мазали горчицей нос официантам и били тяжелые зеркала. А ресторатор это понимал не хуже Фрейда или Адлера.

Бунин интересовался сексуальной жизнью Монпарнаса; в этом смысле он был вполне западным человеком – без содроганий, проповедей и раскаяния. Впрочем, свободу женщин он считал уместным ограничить, что сердило почему-то поэта Ставрова.

Семейная жизнь Бунина протекала довольно сложно; Вера Николаевна, подробно описывая серую молодость «Яна», позднейших приключений его не коснулась, во всяком случае, не опубликовала этого.

Кроме Кузнецовой – тогда молодой, здоровой, краснощекой женщины со вздернутым носиком, – кроме Галины Николаевны, в доме Буниных проживал еще Зуров. Последний был отмечен Иваном Алексеевичем как «созвучный» автор, и его выписали из Прибалтики. Постепенно, под влиянием разных бытовых условий, Зуров вместо благодарности начал испытывать почти ненависть к своему благодетелю. К тому же, несмотря на заботливый уход Веры Николаевны или по причине его, Зуров вдруг тронулся рассудком, подвергаясь периодически припадкам помешательства. Он уже давно писал огромную эпопею «Зимний дворец», которую по многим причинам не мог или не желал печатать в эмиграции.

В свои последние годы Бунин сообщал гостям, насмешливо кивая в сторону комнаты Зурова:

– Вот «Войну и мир» все пишет, ха-ха-ха.

Рассказывая мне об этом в Нью-Йорке, Алданов неизменно добавлял:

– Уважаю, очень уважаю, но сам я не могу десять лет работать над одной вещью.

Когда Алданов писал пьесу для театра Фондаминского, он систематически прочитывал все известные драмы: новые и классические.

– Хороших пьес нет! – сообщил он мне с некоторой печалью.

Мы сидели наверху в «Мюра». Бунин только что вернулся из Италии и с радостью повторял слова, недавно сказанные Муссолини о том, что он не позволит поделить Испанию на две части! Надо было, конечно, объяснить Алданову, почему он не заметил хороших пьес, но тут Бунин вмешался и рассказал, что тоже когда-то начал писать трагедию, но неудачно, и поэтому уничтожил рукопись.

– Вот этого я не понимаю, – хозяйственно упрекал его Алданов. – Ну, отложите в сторону, спрячьте. Когда-нибудь пригодится!

– Это бы меня беспокоило, – нехотя поучал Бунин своего друга. – А сжег, конец!

Кузнецова, кажется, была последним призом Ивана Алексеевича в смысле романтическом. Тогда она была хороша немного грубоватой красотой. И когда Галина Николаевна уехала с Маргаритой Степун, Бунину, в сущности, стало очень скучно.

Бывало, на юге, в Грассе, утром выходит из комнаты Ивана Алексеевича Кузнецова и обращается к Вере Николаевне (заикаясь, со вздернутым смазливым носиком):

– Иван Алексеевич получил очень интересное письмо из Парижа…

– Ну, если оно интересное, то он мне сам расскажет, – при людях сдержанно отвечала Бунина.

Ходасевич называл Кузнецову-Зурова – бунинским крепостным театром.

На Монпарнасе Бунин хаживал в отдельные комнаты наших поэтесс, стараясь проникнуть в местные тайны; потом говорил:

– Душечки, вы ничего нового не выдумали. Вот была у нас в Москве Инна Васильевна…

Типичнейший перебор зубров: при виде Лувра вспомнить родную каланчу; читая Пруста, похвалить

симбирского самородка, спившегося 50 лет тому назад. Зайцев был гораздо культурнее, знал языки и ценил Запад, разумею, искусство Запада.

Вспоминаю эти ночные часы, проведенные в обществе Бунина, и решительно не могу воспроизвести чего-нибудь отвлеченно ценного, значительного. Ни одной мысли общего порядка, ни одного перехода, достойного пристального внимания… Только «живописные» картинки, кондовые словечки, язвительные шуточки и критика – всех, всего! Кстати, Толстой крыл многих, но обидели его не Горький с Блоком, а Шекспир и Наполеон.

– Как изволите поживать, Иван Алексеевич, в смысле сексуальном? – осведомлялся я обычно, встречая его случайно после полуночи на Монпарнасе.

– Вот дам между глаз, так узнаешь, – гласил ответ.

И этот старинный прием: между глаз… звучал, как вальс «На сопках Маньчжурии».

Единственное что меня потрясло в его речах, и я вспоминаю часто, как цитату из Пруста или Достоевского, это его слова относительно критики, рецензий, отзывов:

– Вот до сих пор еще, а ведь сколько этого было, – услышал я от него раз в «Доминике». – Увидишь свое имя напечатанным, и сразу тут, в сердце, – Бунин поскреб щепотью свою грудь слева, – тут почувствуешь нечто похожее на оргазм.

Вот такие откровения чувственного мира для него характерны. И еще памятно… Раз во время оккупации в Ницце Адамович мне показал открытку от Бунина. Иван Алексеевич писал, что к ним приехал один господин и отделаться от него по нынешним временам нельзя, «да и ему, вероятно, некуда идти». Последние слова я помню точно. И это прозвучало для меня, как пушкинское «И милость к падшим призывал»… Неожиданно и прекрасно.

Когда Иван Алексеевич удостоился Нобелевской премии, все корреспонденты, и русская печать в особенности, описывали, как изящно, по-придворному, лауреат отвесил поклон шведскому королю. И фрак Ивана Алексеевича, и рубашка – все выглядело безукоризненно. Об одном почти забыли упомянуть или упоминали только мельком – это о содержании его речи. Кем-то переведенная для Бунина, может быть при участии А. Седых, и произнесенная с плохим французским выговором, она была плоска и бесцветна.

Казалось бы, вот оказия выпрямиться во весь рост, выкрикнуть что-то свое о большевиках, о войне, о подвиге эмиграции, о свободе явной и тайной. Весь мир через час услышит, прочитает, повторит.

Но нет, Ивану Алексеевичу нечего прибавить к своим произведениям. Он локальное, русское, литературное явление. Европу, Америку он может удивить только европейским фраком и придворным книксеном.

У меня с Буниным, несмотря на частые встречи, личных отношений почти не было. Раз мы просидели целый вечер одни в коридоре, дожидаясь конца собрания, на котором Адамович, Гиппиус, Вейдле и даже Ходасевич славословили прозу Фельзена (тут же прочитавшего несколько отрывков). Бунину было так же трудно переварить этот «социальный заказ» наших критиков, как и мне! Так мы шептались часа два, беседуя и сплетничая. Это был умный, ядовитый, насмешливый собеседник, свое невежество искупавший шармом.

Все, что я писал, Бунину было совершенно чуждо; его «психологические» романы казались мне повторениями века Мопассана или Шницлера, по-русски, то есть с обильной закуской, жаворонками и закатами.

Когда выходила моя новая книга, я ее аккуратно посылал лауреату с любезной надписью. При встрече он

благодарил, иногда делал двусмысленный комплимент. Так, о «Любви второй» сказал приблизительно:

– Хорошо у вас там религиозное преображение. А вот героиня упоминает о менструации: не знаете вы женщин, никогда они про это не заговорят.

Оставалось только томительно вздыхать и улыбаться: не спорить же с ним об этих предметах.

– Иван Алексеевич, – скажешь ему наконец. – Ведь вы только знаете русских старорежимных женщин. Сознайтесь, ведь у вас никогда не было романа с европейкой…

– Вот стукну между глаз, тогда узнаешь!.. – гласил незамысловатый ответ.

Вера Николаевна довольно часто спорила с мужем относительно бытовых подробностей того или иного описанного им происшествия: где, когда, с кем… Это была русская («святая») женщина, созданная для того, чтобы безоговорочно, жертвенно следовать за своим героем – в Сибирь, на рудники или в Монте-Карло и Стокгольм, все равно! Случилось, что на каторгу ей не пришлось идти, но, конечно, она не побоялась бы разделить судьбу Волконской и Трубецкой, даже, может быть, предпочла бы это – Грассу и 1, рю Жак Оффенбах.

Для бала Союза Молодых Писателей и поэтов или для наших больших общих, и индивидуальных, вечеров Бунина неутомимо собирала пожертвования, продавала билеты, просила, кланялась, с достоинством благодарила… Ходила по русским бакалейным лавкам, унося для буфета дареные рижские шпроты и польскую колбасу.

Принимала участие в судьбе любого поэта, журналиста да вообще знакомого, попавшего в беду, бежала в стужу, слякоть, темноту. Был такой сотрудник «Возрождения», ныне москвич – Рощин; это он рассказывал с гордостью, что Куприн, которого он угостил хорошим

обедом и заставил прослушать свою новую повесть, Куприн, попросив еще коньяка, благодушно воскликнул:

– Пишите, пишите, пишите!

Кстати, считалось, что именно Куприн сложил не совсем лестный стишок про Рощина: «У малютки труд упрощен: сел на… и подпись Рощин».

Итак, Рощин вдруг сманил законную жену одного русского таксиста (с ребенком), а потом никак не мог их прокормить своим трудом. Вера Николаевна и этим делом занялась вплотную, о чем, думаю, Зуров или Кузнецова когда-нибудь подробно расскажут.

По окончании парижского университета мне по закону полагалось для получения звания доктора Сорбонны напечатать свою диссертацию. А для этого нужны деньги.

И Вера Николаевна носилась по тучным меценатам с подписным листом, собирая на these de Paris[28]. Мне было совестно; в конце концов диплом ничего общего с литературой не имеет, зачем ей стараться! А она с холодной улыбкой на бледно-матовом лице, что-то похожее на Джоконду, объясняла:

– А мне очень приятно ходить именно по такому делу. Обычно я обращаюсь к солидным, практичным людям и прошу на какие-то стишки, которые они не знают и вряд ли когда-нибудь узнают. А тут вдруг впервые я могу их обрадовать понятным и приятным образом: помилуйте, на докторскую диссертацию, устроится человек и другим начнет помогать… Это они чувствуют!

Зуров в присутствии Бунина вел себя по меньшей мере странно: молчал, редко обращался к нему прямо, а когда Иван Алексеевич что-то рассказывал, то Зуров прислушивался с улыбкой, мною названной горгуловской. Точно Зуров знал какую-то правду о Бунине, которая противоречила всей видимости.

---

[28] Парижскую диссертацию *(франц.)*.

Позже, когда Зуров заболел, он грозился неоднократно зарезать Бунина, и на долю Веры Николаевны выпала нудная роль не только ухаживать за больными, но и охранять их от острой бритвы.

В сенях на рю Жак Оффенбах, когда гость, бывало, старается повесить пальто на первый попавшийся гвоздь у вешалки, Вера Николаевна шепотом предупреждала:

– Нет, это крючок Леонида Федоровича (Зурова). Он может рассердиться. Повесьте на соседний гвоздик.

Бунину ничего не нравилось в современной прозе, эмигрантской или европейской. Похваливал (тепловато) одного Алданова. Когда начали выходить «Русские записки», то там опять Алданов, параллельно своим романам в «Современных записках», занимал по 50 страниц в номере. На Монпарнасе шутя утверждали, что после смерти Алданова в зарубежной прессе станет просторно; увы, мы не догадывались, что и другие уйдут, а в первую очередь – культурный читатель.

В связи с очередной продукцией Алданова «Пуншевая водка» я Бунина даже пристыдил и заставил объяснить, что в ней хорошего!.. Исчерпав ряд доводов, он наконец неубедительно закончил:

– Но как это написано!

– Плохо написано, Иван Алексеевич, – ответил я. – Алексей Толстой пишет божественно в сравнении с такой подделкой.

Алексея Толстого Бунин, конечно, ругал, но «талант» его (стихийный) ставил высоко. Думаю, что у Бунина вкус был глубоко провинциальный, хотя Л. Толстого он любил всерьез.

По своему характеру, воспитанию, по общим влечениям Бунин мог бы склониться в сторону фашизма; но он этого никогда не проделал. Свою верную ненависть к большевикам он не подкреплял симпатией

к гитлеризму. Отталкивало Бунина от обоих режимов, думаю, в первую очередь их хамство!

В Германии, куда он поехал проведать Кузнецову, его на границе обыскали СС (залезали пальцем в анус): искали бриллианты, что ли?.. Помню, с каким бешенством он про это рассказывал. Догадываюсь, что такие эпизоды в жизни физиологически цельного Бунина сыграли большую роль, чем все теории и программы.

Мне Иван Алексеевич за все годы писал раза 2–3, и всегда кратко, деловито. Только однажды получилось иначе. Летом 1942 года перед отъездом в США я написал ему из Монпелье, прося какой-то американский адрес, может быть, Алданова. Бунин мне ответил из Грасса тотчас же, чуть ли не обратной почтой, и вполне обстоятельно. Сообщал нужные адреса, присовокупив еще некоторые от себя. «Пишете ли Вы что-нибудь, разумею – литературно?» – осведомлялся он и дальше увещевал: надо писать! Именно в такое время! Это единственный достойный ответ, доступный еще нам! Не помню дословно. Письмо это было тем более трогательно и ободряюще, что ему мои писания ни с какого боку не подходили, я это знал. Вот эта смесь природного изящества, такта, милосердия наряду с грубостью недоросля из дворян особенно умиляла в Бунине.

На балу русской прессы в Париже 13 января ночью я очутился рядом с облаченным во фрак стройно-сутуловатым, поджарым Буниным. Кругом носились полуобнаженные женщины в нерусском танце, музыка играла греховно-обнадеживающе.

– Иван Алексеевич, – обратился я к нему, – Вам не кажется, что мы, в общем, профуфукали жизнь?

Бунин не удивился этому странному вопросу и не обиделся на фамильярное «мы»; подумав, он очень трезво ответил, не отводя, впрочем, глаз от кружащихся пар:

– Да, но ведь что мы хотели поднять!

В те годы Алданов неизменно делал комплименты Мережковскому:

– Вас, Дмитрий Сергеевич, считают в Германии первым русским писателем, но реакционером. «Берлинер Тагеблатт» так и пишет: эйнгефлайштер реакционэр.

Мережковский польщенно осклаблялся и горько повторял: «Эйнгефлайштер реакционэр»… Он себя таковым не считал.

Когда начали печатать бесконечную трилогию Алданова «Ключ», последний одно время довольно часто наведывался к Мережковским. Раз в углу гостиной происходил такого рода разговор:

– Марк Александрович, я собираюсь выругать «Ключ», вам это будет очень неприятно?

– Очень, Зинаида Николаевна. Вы себе даже не представляете, как это мне будет неприятно.

Ну, Гиппиус, кажется, о «Ключе» не написала.

– Это, собственно, что же такое ваш роман, авантюрный? – спрашивает Зинаида Николаевна, вертя во все стороны лорнет, не решаясь упереться взглядом в ответственного сотрудника «Последних новостей».

– Это психологический роман, – вкрадчиво объяснял Алданов, озираясь, точно боясь быть услышанным посторонними.

– Марк Александрович, – крикнет Мережковский, прерывая спор о Маркионе. – Мы решили, что Зина должна начать сотрудничать в «Последних новостях». Что вы об этом думаете?

– Многие не поймут этого литературного развода, – мягко отвечает Алданов.

Чудом карьеры Алданова надо считать факт, что его ни разу не выругали в печати, за исключением Ходасевича. Я часто недоумевая спрашивал опытных людей:

– Объясните, почему вся пресса, включая черносотенную, его похваливает?..

Даже ди-пи начали ловко вставлять в текст своих статей комплимент Алданову: концовку вроде как бывало раньше в Союзе похвалу «отцу народов». Они дошли до этого инстинктом и уверяют, что таким образом статья наверное пройдет и без больших поправок, даже встретит сочувственный отзыв влиятельных подвижников.

В чем тайна Алданова? Неужели он так хорошо и всегда грамотно писал, что не давал повода отечественному исследователю его вывалять в грязи (по примеру других российских великомучеников)?

Толстого ловили на грамматических ошибках. Достоевского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Державина и Пастернака. Кого в русской литературе не распинали на синтаксисе! Но не Алданова. Алданова никогда ни в чем не упрекали: все, что он производил, встречалось с одинаковой похвалой. Что случилось с зарубежным критиком?

На Монпарнасе Иванов цитировал строчку из нового отрывка Алданова: там его героиня Муся старалась походить на женщину. Алданов, увы, был вне сексуальных тяжб. Как многие наши гуманисты, он, однажды обвенчавшись, этим самым разрешил все свои интимные проблемы: ни разу не изменив жене и ни разу не прижив с ней ребенка. Вишняк, Зензинов, Руднев, Фондаминский, Федотов, Бердяев и разные марксисты – все это люди бездетные. Сколько было скопцов в том поколении, поразительно.

И строчки, где бедная Муся кокетничает или занимается своим туалетом, приобретали зловеще-комичный оттенок в устах сумрачного Иванова; мы все кругом невесело посмеивались: Алданов занимал в журналах половину всего места, уделяемого прозе. И, пожалуй, половину критических отзывов.

Он считался образцом любезности и доброжелательства: никому отказа не было. Но и пользы большой от его предстательства не обнаруживалось. Меня отталкивала его всегдашняя, подчеркнутая готовность услужить.

Алданов, талантливейший, культурнейший публицист, почему-то задумал писать бесконечные романы. И это была роковая ошибка.

Перечитывая «Похождения Чичикова», я совершенно непроизвольно, однако всегда на тех же страницах, вспоминаю Алданова… «Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: «вы пошли», но «вы изволили пойти», «я имел честь покрыть вашу двойку» и тому подобное».

Галина Кузнецова, писательница деликатнейшая, в своем прелестном «Грасском журнале», где она ни о ком не отзывается резко или худо, все же так повествует о Марке Алданове:

«Всю дорогу туда и обратно он расспрашивал. Это его манера. Разговаривая, он неустанно спрашивает, и чувствуется, что все это складывается куда-то в огромный склад его памяти, откуда будет вынуто в нужный момент. Расспрашивал он решительно обо всем: как мы здесь живем, охотятся ли здесь, ездят ли верхом, почему не охотится Иван Алексеевич, почему не ездит верхом, почему не ловит рыбу…» и так далее и так далее… Как не вспомнить здесь знаменитый ларчик, куда Чичиков «имел обыкновение складывать все, что ни попадалось». А в другом месте «Мертвых душ»: «Потом, само собою разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку, в соседстве с какой-то афишею и пригласительным свадебным билетом, семь лет сохранявшимся в том же положении и на том же месте».

Пошлешь Алданову свою новую книгу и обратной почтой получишь летучку или открытку с благодарностью и пожеланием успеха. Бунин если отвечал, то только предварительно перелистав или прочитав книгу.

– Над чем изволите теперь работать? – осведомлялся Алданов, и молодой литератор недоумевающе оглядывался не зная, к кому обращаются с этим вопросом.

А получив ответ, вежливо продолжал:

– У кого предполагаете издавать?

Последний вопрос, уместный, может быть, в Москве, в наших условиях был совершенно бессмыслен.

Мне случалось наблюдать за Алдановым на одном полуполитическом собрании, и я многое понял… Союз журналистов по требованию председателя Милюкова собрался, чтобы исключить члена Союза Алексеева, заподозренного в сотрудничестве с советской контрразведкой. Заседание было «бурное», защищали Алексеева сотрудники «Возрождения», в первую очередь светлой памяти Сургучев (чьи скрипки в июне 1940 года зазвучали по-весеннему).

Коллеги Алексеева упрямо повторяли, что обвинение не доказано.

– Позор! – выкрикивал Сургучев.

– Позор! – подхватывал спереди Мейер. И маленький зал Российского музыкального общества совсем немузыкально содрогался.

Почему-то в этот вечер присутствовало много молодых, имевших еще свой Союз писателей и поэтов. Очевидно, была произведена мобилизация «передовых» сил.

Председательствовал генеральный секретарь Зеелер, для меня тоже вышедший из «Мертвых душ» – Собакевич. Выступали разные «беспокойные» личности, путавшие и раздражавшие Зеелера. Наше отношение к чекисту было вполне определенное, и все спокойно

ждали голосования. Надо отметить, что в Париже собралось несколько десятков литераторов в продолжение всей эмиграции, с посольством на рю Гренель не заигрывавших. Позже они зеленых мундирчиков не надевали и в «освободительных» газетках не сотрудничали. Историку отечественной словесности этого периода когда-нибудь придется с похвалою отметить сей факт. То, что случилось с Маклаковым, особое послеоккупационное явление – реакция на чудесное спасение России.

В перерыве я спросил Алданова:

– А вы, Марк Александрович, что думаете по этому поводу?

– Очень грустно все это, – ответил он неохотно. – Что тут думать.

Почти то же самое он мне сказал позже, в Нью-Йорке, по поводу ссоры Бунина с Зайцевым-Зеелером.

Когда приступили к голосованию, в самую напряженную минуту я случайно оглянулся и заметил, как пухлый Алданов, похожий на моржа (с ластами вместо рук), проворно скользнул за дверь и скрылся, от явного голосования уклонившись.

В нем многое казалось и было подделкою. Его желание выглядеть петербуржцем или западноевропейцем… Утверждали, что Алданов много пьет и пишет свои произведения в кафе: совсем как poetes maudits[29].

Даже на его доброжелательности, услужливости, порядочности был какой-то налет лжи, которую так ненавидел обожаемый Алдановым Лев Толстой.

– Ведь ключ к «Войне и миру» потерян, его нельзя найти! – жаловался он в минуту откровенности.

Предполагалось что к каждому литературному произведению имеется «Ключ», и если Марк Александрович его не нашел, значит, его уже никто не сыщет.

[29] Проклятые поэты *(франц.).*

Алданов понимал, что Пруста надо хвалить, но думаю, что он его не читал. Отзываясь уважительно о Прусте, он тут же упоминал имя какого-нибудь другого писателя, которого нельзя поставить рядом, например, Марквенда. Да и никаких следов, оставленных Прустом, нельзя было заметить в Марке Александровиче. Но он часто повторял, что не может себе простить двух роковых ошибок – не съездил в Ясную Поляну и не видел живого Пруста… а обе эти возможности были ему доступны. Характерно для Алданова: читать Пруста не обязательно, а поглядеть на него из угла кафе полагается.

Кстати, какой это страшный литературный анекдот – единственная встреча Пруста с Джойсом (при жизни). Их представили друг другу в людном и модном салоне. Они постояли с минуту рядом, обменялись условным приветствием и разошлись: им абсолютно не о чем было разговаривать.

Здесь уместно вспомнить эпизод из моей личной жизни на другом уровне, но тоже свидетельствующий о трагической близорукости людской породы… В июне 1942 года мы отплыли из Касабланки в США на португальском теплоходе «Serpa Pinto». После скучных остановок на Азорах и Бермудах нас прибило к берегам Нью-Джерси в конце июня того же года, а не в июле, как ошибочно указано в некоторых очерках.

Среди наших пассажиров я обратил внимание на одну девицу, растрепанную, нечистоплотную, всегда в том же серо-коричневом, пахнущем потом, платье. В довершение беды она, казалось, ни на минуту не смолкала, и хотя ее французский был безупречен – на манер Декарта или Паскаля, – но тон ее речи – ровный, без пауз, упрямо-долбящий, истерический – пугал меня не на шутку. Мы избегали ее как заразы и, завидев на корме корабля, бежали на нос (или наоборот – с бака на корму). Я ни разу не попытался подойти к ней поближе.

Имя этой девицы было Симона Вейль.

VII

Одно время я жил в Ваиве, на рю де л'Авенир (см. «Портативное бессмертие»); против моего окна разверзалось железнодорожное полотно – на Медон. Если перейти миниатюрным туннелем на другую сторону дороги, то сразу начинался Кламар. Там можно было встретить Бердяева. В синем берете, серебристо-седой, величественный, красивый старец, судорожно сжимающий в зубах толстый мундштук для сигары – спасаясь этим от тика! Он выходил из своего домика с каменным крылечком, подарок американской поклонницы, и осторожно спускался по улице к станции Кламар или к трамвайной линии, бежавшей до площади Шатлэ. В другую сторону трамвай подымался до самого края медонского леса.

Бердяев один из немногих в эмигрантском Париже сохранил барское достоинство и аристократическую независимость. Ибо рядовые «рефюже» были затасканы и задерганы обстоятельствами до чрезвычайности. Процесс, в общем, напоминал метаморфозу еврейского племени в изгнании… Предержащие власти, модные депутаты французские, патриотические (почвенные) газетки сплошь и рядом обвиняли бывших штабс-капитанов, адвокатов, шоферов, академиков и их жен в семи смертных грехах! Какой тут может быть спор: во всем виноваты sales meteques[30].

И действительно, при внешнем взгляде на эмигрантскую массу поражала общая неосновательность, лживость, даже бесчестность, какая-то особая непрочность всего существования с нелепыми затеями и грандиозными прожектами без достаточных фондов. В придачу – полное неуважение к местным законам… Страх перед городовым, неуверенность в собственных

---

[30] Чужаки *(франц.)*.

правах, просроченные документы, хлопоты о праве на жительство, о праве на труд (ави фаворабль) и обилие пораженческих анекдотов.

Все это способствовало сближению разных поколений, слоев и волн русской эмиграции, закаляя ее творческие черты, собирая в один живой кулак... Впрочем, некоторую роль играли, конечно, и воздух французский, пейзаж, виноградный сок, наконец – закон (lex). Особенность французской культуры несомненно в ее чисто римском критерии национальности: юридическая принадлежность, паспорт окончательно решают этот вопрос. А англосаксы и русские все еще главным образом руководствуются расовыми или религиозными соображениями. Здесь преимущество латинских стран при неминуемой встрече с народами Азии и Африки.

Два колосса готовятся к взаимному истреблению во имя свободы и прогресса: СССР и США. Два примитива почти одинаково материалистически настроенные. И обе эти империи не разрешили еще в основном своих племенных и расовых противоречий.

Франция подобно великому Риму руководствуется исключительно юридическим признаком. И наши доморощенные философы, списавшие Марианну в расход, может быть, чересчур поспешили, ибо примат правовых и культурных ценностей над древней генетикой в христианском мире – бесспорная истина.

Итак, во Франции наблюдался процесс «ожидовления» русской эмиграции. Процесс общий, если не считать счастливых архидюков и просто дюков, сохранивших в банках царское золото, а в Ментоне удобные виллы, и живших совершенно независимо. Впрочем, до прихода Гитлера они культурно все меньше и меньше себя проявляли.

Правая эмиграция билетов на наши вечера не покупала и литературу не поддерживала по причине равнодушия, а порой и страха: «Все вы масоны», – говорили эти мудрецы и подмигивали многозначительно. Все, кроме генерала Краснова, им казалось уже совершенно ненужным, даже подозрительным; правда, некоторые ссылались еще на Достоевского, но вряд ли его читали.

Сотрудники «Последних новостей» изобрели подобие смешной игры; неожиданно один или одна говорили громко:

– Господа, вот отворяется дверь и входит согбенный живой Чехов с очередным материалом… осведомляется, принимает ли редактор…

Надо было найти воображаемую ответную реакцию; все хохочут и подсказывают:

– Опять старый черт приплелся со своими рассказами!

Правда этого анекдота заключалась в том, что на малом эмигрантском рынке с огромной конкуренцией, с излишком предложения и ограниченным спросом Чехову пришлось бы унижаться, как Ремизову, чтобы пристроить рукопись и прокормиться. Да, одна декада безнадежной нужды коренным образом изменила русского интеллигента, даже барина, превратив его, трезвого, в попрошайку.

Однако встречались еще и другого типа люди; даже в пресловутой игре «Последних новостей» наступала вдруг заминка, когда двери распахивались и входил воображаемый Лев Николаевич… Все мысленно расступались, пропуская его немедленно в кабинет к Демидову: тут покровительственный тон или фамильярность были явно неуместны.

Вот кем-то из этой породы «львов» держал себя в эмиграции Бердяев, и без всякого усилия – по праву. Он и происходил будто бы из царского рода Бурбонов,

и вел себя соответствующе, как надлежит первому среди равных или равному среди первых.

Бердяева я впервые увидел на каком-то русском собрании. В переполненной, неуютной комнате все стулья были давно заняты, и я уселся на столике у дальней стены, глядя вперед через многоцветные эмигрантские головы на трибуну, откуда монументальный философ бросал свои короткие фразы. Вдруг я заметил, что лектор делает в моем направлении резкие, судорожные знаки головою и кистью руки, предлагая, по-видимому, слезть с удобного места. Нехотя я уступил, сетуя: «радикальный мыслитель, а малейшей экстравагантности не разрешает даже своим слушателям…»

Об этом я и пожаловался после собрания и был встречен дружным хохотом. Оказалось, что я принял его знаменитый тик за жестикуляцию, обращенную ко мне. Этот упорный тик, направленный одновременно на каждого в аудитории, не был, разумеется, случайным явлением и свидетельствовал о каком-то давнем ушибе, оставившем неизлечимую рану. Здесь, собственно, разница между мудрецом и философом; первых было много в античном (аграрном) мире; последние же размножаются со времени изобретения печатного станка.

Мудрец живет в соответствии со своею мыслью, со своим учением. От «философа» требуются только знания, таланты анализа или обобщения. Верю, что Сократ, Диоген. Толстой или Сковорода могли бы избавиться от бердяевского тика; но не Шопенгауэр или Соловьев.

Другому нашему профессору, Степуну, врачи как-то запретили курить, и он начал унизительно сосать потухшие окурки, поглядывая на хронометр, высчитывая, сколько минут осталось до следующей папиросы, жалуясь на свою судьбу – в пору самой ответственной работы приходится отказаться от табака! Жена Федора Августовича, женщина простая и умная, в сердцах

сказала ему: «Наплевать, что ты философ! Если ты не можешь преодолеть одной своей слабости, то ты просто тюфяк!»… (Передаю со слов Маргариты Степун.)

Думаю, что всякий мудрец, то есть живущий в согласии со своим учением, является одновременно учителем жизни. И польза от него большая, даже если система внешне примитивна. Философ же, к сожалению, только преподает философию. Мы как-то забыли обо всем этом. А в «остальных странах», между прочим, по сей день еще полно мудрецов, то есть людей, соединяющих акт с мыслью воедино.

От Бердяева я унаследовал только одну ценную мысль социального порядка. От него я впервые услышал, что нельзя прийти к голодающему и рассказывать ему о Святом Духе: это было бы преступлением против Святого Духа.

Такая простая истина указала мне путь к внутренней Реформе. Я понял, что можно участвовать в литургии и тут же активно стремиться к улучшению всеобщего страхования от болезней; борясь с марксизмом, оставаться братом эксплуатируемых…

За это скромное наследство я прощаю Бердяеву его «новое средневековье», мессианизм, особенности «национальной души» и прочий опасный бред.

Пора, пора вспомнить, что «национальная идея» – это выдумка немецкого, и очень языческого, романтизма. А мыслители, даже боровшиеся с прусскими системами и защищавшие христианскую церковь, все же ссылаются на пресловутую «национальную душу» с таким видом, как будто она является реальностью христианского опыта.

У отцов церкви или у святых, не говоря о евангелистах, понятия «национальной души» не найдешь! Этой сомнительной ценностью они не оперируют. У них упор на личное, персонально отобранное, очищенное в огне Святого Духа.

Национальная душа существует в натуральном, дохристианском, архистадном порядке жизни. «Иудеи жаждут чудес» – это национальная идея до второго рождения: «Эллины ищут мудрости…»…«А мы проповедуем Христа распятого». Все христиане: и эллины, и иудеи, и японцы, и римляне, отныне имеют уже только одно спасительное Имя, одну дверь, один путь. В пределах христианской теологии орудовать «национальной идеей» так же бессмысленно, как укладываться на кушетку Фрейда или, задрав штаны, бежать за Дарвином.

В 1931 г. вышел мой роман «Мир», который я послал Бердяеву и удостоился нескольких писем от него. Он уверял, что я нахожусь под влиянием недавно вышедшей книги «Voyage au bout de la Nuit»[31]. Я объяснил в ответ, что будучи подобно Селину парижским врачом, естественно, подвергаюсь соблазну тех же тем и приемов.

Вообще Бердяев относился к молодежи внимательно и в «Круге» появлялся сравнительно часто, только уезжал пораньше в свой Кламар. Читал он доклады обычно пользуясь кратким конспектом. Заглядывал на минутку, затем продолжал свою ясную речь, состоящую из очень простых и сжатых фраз. Слушал он наши возражения терпеливо и спорил серьезно, не обижаясь.

Существует довольно распространенное мнение, что в парижскую эпоху на русскую эмиграцию влияли Бердяев, Федотов, Адамович… Это, конечно, верно; но не исчерпывает предмета. Ибо было и встречное, наше воздействие. Так что трудно оценить даже, кто на кого и как влиял. Я, например, думаю, что иные выступления Поплавского (и еще молодых) действовали гораздо

---

[31] «Путешествие на край ночи» *(франц.)*.

чаще на Бердяева, Федотова и других «властителей дум» и вызывали творческий отклик.

В тридцатых годах в Париже артель мастеров укладывала сложнейшую и прекраснейшую мозаику; если угодно, собирали мед – все или многие, с одинаковым рвением! В этом ценность той эпохи; и только благодаря участию целой артели удалось добиться единства стиля, вкуса, красок, тона. До известной степени.

Предполагать же, что пока были живы Куприн, Бунин и Ходасевич с Мережковским, зарубежье культурно процветало, а с их кончиной – захирело… Высказывать такого рода суждения могут только люди, не понимающие основного чуда эмиграции…

Случилось так, что жена моя, которую я выпроводил из Парижа 10 июня 1940-го, через сутки попала в дом к Бердяеву (на юге); там ее не знали. После непродолжительной и вполне оправданной заминки ее впустили в дом и пристроили на несколько дней, пока она не переехала в Аркашон к Фондаминскому. В этом испытании было много соблазнов, но Бердяев из него вышел, как подобает мудрецу и учителю жизни.

Я читал в «Круге» свой «План Свифтсона», который потом печатался в «Новом граде»; Милюков, взявший «Портативное бессмертие» для «Русских записок», зачеркнул эту главу под тем предлогом, что он не разделяет высказываемых там суждений.

В этом моем плане всевозможных реформ говорилось, между прочим, что вождями наших ячеек надо избирать худших братьев, а не лучших: тогда не будет борьбы и ревности! То же относительно экуменической литургии: следует признать церковь послабее, менее удачную и принять ее ритуал. Фондаминский, веривший наивно в «элиту» (интеллигенцию), спешил выяснить именно этот поразивший его вопрос «до ухода Бердяева». Последний с улыбкой меня поддержал.

За Бердяевым стояла какая-то благодатная «подлинность»; купить этого «барина», разумеется, никому бы не пришло в голову. У Мережковского некое метафизическое продажное начало сразу бросалось в глаза.

Время оккупации Бердяев провел в героическом и почетном одиночестве. После победы, в которой русские «катюши» сыграли такую большую роль, «признание» Бердяевым сталинской империи было так же психологически неизбежно, как и визит Маклакова на рю Гренель.

В нью-йоркском журнале «Третий час» (Извольская, Манциарли, Лурье, Яновский) мы еще долго продолжали печатать на первом месте великодержавные статьи Бердяева, что возмущало Федотова. Теперь, конечно, понятно, что последний был прав. Мы посылали Бердяеву черную гречневую крупу, которую наш европейский философ бурбонских кровей прямо-таки обожал.

На панихиде по Бердяеву в кафедральном соборе ко мне подошел Федотов и с привизгом, с интеллигентским забеганием вперед, даже внешне неискренне прощая ему все, хотя Бердяев ни в чем не извинялся, восторженно заявил:

– Он умер, как солдат на посту, за письменным столом! Как солдат на посту!

Я ничего не ответил: было тяжело и стыдно. За всех и все. За Федотова с его «неосновательным» тоном или жестом; за себя и собственные беспомощные оценки. За покойника, пусть даже умершего «на посту»… Нас путала ужасная Россия, «патриотизм», родина. Что истинно в Париже, должно быть правильным в Кремле; свет для англичанина не может быть тенью для русского, и наоборот. «Наше отечество там, где наш Отец небесный». Когда десятилетие спустя кардинал Спеллман посетил Вьетнам и заявил там американским солдатикам; «Right or wrong, my Country…»,[32] то нам всем

[32] Праведно это или неправедно, но за нами Отечество *(англ.)*.

хотелось зажать нос от густого запаха воскрешаемого язычества. Пусть права для себя лично Анна Ахматова, не желавшая, как кошка, оставить родной дом, но трижды права и святая эмиграция, в пророческом гневе стараясь отбросить, связать дорогого буйнопомешанного, надеть на него смирительную рубашку!

А Бердяев, действительно, ежедневно сидел на своем посту за рабочим столом. Всю жизнь он по утрам писал! После завтрака спал часа три – усадебным сном. Потом чай и опять возвращался к своему основному занятию. Мережковский тоже регулярно по утрам часа четыре строчил. Так в продолжение 65 лет. И Ремизов. Других развлечений у этих подвижников не было. Ни спорта, ни женщин, ни вина, ни карт.

Сколько можно написать фолиантов таким путем? И что это докажет? Трудоспособность человека? Дар? Или совершенная непригодность к другой действительности?..

Мне случалось присутствовать при встрече двух мудрецов и друзей: Бердяева и Шестова. Это было весьма трогательное зрелище: оба старца говорили друг другу «ты». Что-то мальчишеское проглядывало, когда они произносили такое необычное слово. Робко, целомудренно, неуверенно звучало это их, вероятно, последнее живое «ты».

– Почему ты не пошлешь в «Современные записки»? – заботливо осведомлялся Бердяев.

– Они уже раз меня напечатали, – объяснял, оправдывая журнал, Шестов.

Высокий, сухой, сутулый, в сюртуке, с козлиной седой бородкой, он походил на фельдшера из уезда, которому «старожилы» больше доверяют, чем врачу.

– А вы почему не пошлете в «Современные записки»? – любопытствовал я.

– Мне не надо, – снисходительно отвечал Бердяев. – Впрочем, я иногда им даю.

Бердяева охотно печатали иностранцы. Почему-то очень много в Южной Америке. Были у него поклонники и во Франции, и в Испании.

Расшалившись, старцы начинали шутить; Шестов рассказывал старинный анекдот, а Бердяев рассеянно и светло улыбался… Смутно помню нечто юмористическое про читателя. Кажется, Ремизов обращается к Шестову:

– Лев Исаакович, я вчера на Невском видел вашего читателя: он осторожно пересек проспект и остановился у витрины.

Что-то в этом роде, но гораздо смешнее.

Отсутствие читателя меня тогда еще не угнетало; предполагалось, что это временное, преходящее явление. Двести, триста человек покупали наши книги, приходили на собрания, участвовали косвенно в литературном хозяйстве. Казалось, что этого пока довольно. Главное, написать и обнародовать: бросить очередную рукопись в бутылке. А океан – время.

Георгий Иванов определял писателя как литератора, нашедшего своего издателя: без издателя ты, может быть, гений, но не профессиональный писатель!

Лишь потом, в других десятилетиях и полушариях, я понял: слово должно быть сказано и услышано (двумя или тремя), иначе оно не слово, а только звук. Вся фауна и даже флора издают звуки.

Наши читатели вымерли, увы, быстрее своих писателей; новые ди-пи не могли стать подлинными собеседниками. Они вернули эмиграцию к двадцатым годам, в провинцию, с ее обличительной литературой «наоборот»! Подавляющее большинство этих беглецов к религиозным вопросам равнодушно и лишено теологической интуиции. Недаром Белинский и Тургенев утверждали что «русский мужик Бога слопает». А ведь как нам одно время внушали, что это народ-Богоносец,

православнейший христианин и бескорыстный подвижник… А в придачу еще великолепный бунтарь, взыскующий Правды или Истины (тут тонкое различие).

Оказалось, что русский мир – косная биологическая стихия, все принимающая в трезвом виде, мечтающая об индивидуальной телке и о полоске частного огорода. Если очень круто придется, то мы под пьяную руку разобьем чужую усадьбу, пианино загадим и заночуем в участке или в вытрезвителе.

А теологическая интуиция никому не нужна; народ, по-видимому, доволен своим социалистическим реализмом, и давно уже. Позволили бы ему только кормить поросенка под печью или в ящике письменного стола. Новый беженец, приезжая сюда, с радостью отправляется в церковь и разговляется поросенком с хреном. Но в старом русском и эмигрантском диалоге о Боге-Любви и Боге-Силе, о свободе и предопределении, о реальности очевидной или действительной, о несостоятельности энтропии и о воскресении во плоти… в этих несущественных спорах «ссыльно-каторжные» почти не участвуют.

Мистика враждебна, чужда не только комсомольцу, но и беспартийному. А понятия чести нет и не было! Тот гонор, над которым издевался Достоевский, описывая полячишек и французишек; да и Толстой не одобрял.

Без рыцарской чести и без теологической культуры обижаемый православный народ будто бы воспитал в себе чуткую «совесть», инстинктивно тяготея к справедливости и Правде… Но и это оказалось ложью в советской действительности.

В русской истории исключительную роль сыграла баба. Это она отгребалась от внутренних и внешних врагов, строила казармы и метро, кормила поросят в бане, копалась в огороде между двумя сверхурочными

сменами, учила ребят мудрости Ленина и пытала «беляков» в пору гражданской войны. У бабы не бывает прогулов.

Вообще участие женщины в истории каждого народа характерный признак. Удельный вес роли жены и мужа в разных культурах – иной! Здесь новое поле для исследователя.

Совершенно очевидно, что участие русской бабы в истории значительно превышает деятельность ее немецкой товарки. Ничего отдаленно похожего на Марфу Посадницу (и Зою Космодемьянскую) у фрицев нет. А Жанна д'Арк опять-таки стоит совершенно обособленно. За прусскую историю, какая бы она ни была, отвечает в первую очередь немецкий солдат. Баба ему помогала в том смысле, что, получив с Восточного фронта пеленки и сало, запачканные кровью, она с благодарностью пользовалась этим добром. Но, повидимому, мечты Гретхен или Маргариты не исчерпывались этими приношениями, иначе они не сходились бы так охотно с унтерменшами.

Русская баба самодовлеющая величина! Если бы кобели ее оставили в покое, она давно бы построила крепкое и практичное хозяйство-государство, оттребаясь от орд захватчиков не хуже прежнего. Без теологии, но с церковным пением, наливками, закусками, плясом и хоровыми играми: государство-хозяйство, прочное и образцовое. Русская баба имеет в себе элементы гермафродитизма, чего такие певцы дамских плеч и кос, как Толстой и Тургенев, не заметили. (Пушкин и Достоевский снизошли к дамским ножкам.)

Американская женщина, в принципе, гомосексуальна. Она до того развила в себе мужские черты характера, что, сходясь с мужем, в действительности спаривается с себе подобным, однополым существом.

Марфа Посадница и Зоя Космодемьянская в мирное время строят метро. А Жанна д'Арк между двумя

войнами становится хозяйкой политического и художественного салона, где Монэ, Клемансо или Пруст находят себе покровителей.

Сколько русских женщин стреляли в генерал-губернаторов, а иной раз и в царя. Не хуже Шарлотты Корде. А вот среди всех святых, просиявших в «земле русской», нет ни одной женской святой общемирового значения класса обеих Терез или Екатерины Сиеннской… А ведь задуматься над этим стоит.

В тридцатых годах русский Париж был настроен сугубо мессианистически. Бердяев немало способствовал расцвету этих «пореволюционных» настроений. Мы были готовы защищать все достижения Октября – при условии «примата духовного начала» (официальная формула того времени)! Тут получалось дикое скрещивание, гибрид славянофилов, евразийцев и западников, марксистов с христианами. Царь и Советы – другой пример такого сплава.

Шестов в этой свистопляске не принимал участия. Уходя от него после первого визита, я на рабочем столе заметил три фолианта, расположенных не без драматической экспрессии вокруг листов писчей бумаги: Аристотель, Гегель и еще кто-то авторитетный.

– Вот продолжаю с ними бороться! – сказал Лев Исаакович, добродушным жестом охватывая эти три книги и себя.

Он боролся с очевидностью и линейной логикой вполне успешно; так что гитлеровские теоретики поначалу даже ссылались на Шестова в своих мифах. Пока не разобрались точнее.

Роман «Мир» я послал философу с замысловатой надписью, если не ошибаюсь – «Льву Льва Шестова»… В ответ получил приглашение на чай. Он жил в Пасси, близко от потом поселившегося в тех же краях Ремизова.

Мы пили вдвоем чай на кухне, и он по-старинному обстоятельно, то есть с ссылками на текст, говорил о моем романе. Там встречались разные «богоборческие» дискуссии в духе классической словесности, что Шестову определенно нравилось.

Он повторил несколько раз чье-то изречение, возможно, что Достоевского: «Если хочешь, чтобы читатель заплакал, ты сам должен испытывать боль…» Или нечто в этом роде.

Высокий, сухой, сутулый старик в сюртуке и с козлиной бородкой. Немного наивный, почти смешной. А вместе с тем его тяжба с «очевидностью» была очень серьезна и опасна.

Жизнь Шестов прожил длинную, чистую и вероятно ни разу не произнес злого, лживого слова. И в наш «железный век» никогда не поступал дурно. Тут какое-то недоразумение. Наивный философ дорожит блестящими безделушками вроде Регины Олсен или жертвы Авраама по Киркегору, а подлинного «золотого песка» у себя в огороде не замечает! Воистину жизнь Льва Шестова самое его глубокомысленное произведение.

В те годы мне казалось, что я увлечен трагической фигурой Спинозы – Бога называвшего «субстанцией»! Собирался даже написать biographic romancee[33] этого упрямого шлифовщика стекол. Шестов меня поддержал, но тут же подчеркнул диалектические трудности: ему представлялось, что для такой цели необходимо овладеть всем учением философа.

– Спиноза весь в броне своего геометрического метода. Пока вы не прогрызете этот защитный панцирь, невозможно докопаться до основного.

---

[33] Романизированная биография *(франц.)*.

Меня увлекали в Спинозе поэтические метафоры: «…сколько общего между созвездием Пса и псом лающим животным» или «если бы падающий вниз камень мог думать, то он думал бы, что падает по собственной воле». Тут «прустианский» метод сравнения предметов или явления из совершенно разных областей. Благодаря этому возникает еще одно измерение, и действительность, подлежащая изучению, освещалась вдруг новым, неожиданным светом. Возможно, что за обоими этими поэтами-мыслителями стоит одна древняя литературная школа. Эти сравнения до того совершенны и творчески заразительны, что уже приобретают самостоятельную ценность: забываешь, по какому поводу они были приведены…

В самом деле, почему падающий камень подумал бы, что он падает по собственной воле? Где и когда такое случилось? Наоборот, нам известны обстоятельства, при которых свободные гении воображали себя инертными исполнителями чужой, объективной, воли. А падшие ангелы сплошь и рядом ссылаются на условия и среду, их якобы заевшие.

В официальной биографии Спинозы я нашел имя девицы, с которой философ одно время встречался. Потом связь резко оборвалась. Из этого эпизода я полагал возможным развить целый психологический роман; Шестову такое антраша явно не понравилось, но все же он снабдил меня несколькими трудами Спинозы. Впрочем, я вскоре остыл ко всей затее.

Для русских, а может быть, и для французов, Шестов «открыл» Киркегора. Мне кажется, что он чересчур раздувал личную драму датчанина (импотенцию) – до пределов космической катастрофы. Было немного смешно слушать старца с наивной и целомудренной бородкой, рассказывающего о любовных неудачах молодой датской четы. Причем Бог-Отец, Творец вселенной,

и Бог-Любовь обвинялся в этом очередном кви-про-кво – как в злоключениях мальчика из Великого Инквизитора Достоевского.

В обширной статье по поводу книги Шестова Бердяев писал назидательно: «Может быть, в план Бога именно входит, чтобы Киркегор не женился на девице Олсен…»

Нечто язвительное в этом роде.

В Шестове можно было наблюдать редкий случай плагиата «наоборот». Изредка сочинители присваивают себе чужие достижения или труды. Но Шестов приписывал свои мысли, и наиболее блестящие, другим философам. Прочитав книжку Шестова о Брандесе и потом приступив к чтению самого Брандеса, ей-Богу, испытываешь только разочарование.

Жена Шестова, врач, в Париже превратилась в сиделку (скудный заработок).

– Это очень легко, – чистосердечно объяснял мне философ. – Надо только по своей инициативе не раскрывать кошелька. Я покупаю только то, что мне жена велит, по списку…

Шестову тоже, как Ремизову, а потом и нам, было тяжело без читателя. И он ценил интерес молодежи к себе; а под конец страдал, чувствуя себя пережитком, нечто вроде мамонта. К нему часто ходил Мамченко, благодаря косноязычию иногда поражавший своим глубокомыслием. Очень хитрый мальчик, «ласковый», то есть сосавший двух маток. Впрочем, Шестова он, кажется, по-настоящему любил.

В связи с нашей выставкой зарубежной литературы и подпиской на издания зародилась мысль создать подобие русского Prix Goncourt[34], чтобы «заманить» читателей и книгопродавцев. В жюри мы с Фельзеном

---

[34] Гонкуровская премия (*франц.*).

наметили Шестова, Гиппиус и еще спорного третьего. Как пример наших тогдашних настроений сообщу: мы серьезно обсуждали кандидатуру Бориса Прегеля для жюри.

С Гиппиус должен был переговорить Фельзен, с Шестовым – я. По этому делу мне приходилось встречаться в самое неурочное время с добрейшим, чистейшим и наивнейшим мыслителем. Ему очень не хотелось участвовать в литературной склоке; но, с другой стороны, Шестова притягивала живая деятельность, общество молодежи, выход из почетного одиночества, разумеется, без компромиссов с совестью. Вот он и тянул, все не решаясь сказать «да» и не желая отказаться.

Я забегал к Шестову в какую-то школу, где он числился профессором, вероятно, Институт восточных языков. Там, в классной комнате, уставленной ученическими партами, он читал свой курс о Киркегоре. На скамьях сидели сплошные серые старушки с постными лицами; казалось, если им вручить даровой билет в соседнее синема, то они все разбегутся.

Я сказал Льву Исааковичу:

– Напрасно вы читаете по рукописи, получается монотонно.

Он ответил:

– Это чтоб не видеть лиц слушателей.

В эмиграции Шестов «открыл» «Записки сумасшедшего» Толстого и его же «Хозяина и работника», он представил эти рассказы Толстого с такой проникновенной зоркостью, что мы все заговорили об «арзамасском» ужасе как о хорошо знакомом нам и близком явлении.

Шестов был очень чистым существом и, вероятно, никому в жизни не сделал гадости, думаю, никогда в жизни не испытывал в этом смысле соблазна. Не знаю, опроверг ли он очевидность – новейших теорий

современной физики он избегал – и положил ли Аристотеля на обе лопатки, но в Толстом он мне раскрыл многое:

– Вы думаете, что Лев Николаевич читал Ницше? – улыбаясь говорил Шестов. – Разумеется, нет. Зачем? Услышал: «По ту сторону добра и зла…» – и этого вполне достаточно для него.

Наше предложение относительно жюри он в конце концов отверг. К его семидесятилетию друзья устроили торжественное собрание – это было похоже на похороны. Явилось несколько десятков человек постарше, молодежи почти не было.

И вдруг Лев Исаакович начал терять вес; пошел к доктору З., который лечил его тертыми яблоками с орехами. Мне З. признался, что это, «вероятно», рак, но оперировать поздно: «У него весь живот покрыт морщинами!» – что доказывало общую дряхлость пациента по мнению врача. Жена повела Шестова к специалисту; Лев Исаакович лег в частную клинику в Пасси. И через несколько дней, подобно Эйнштейну, мирно отдал Богу душу без сложных медицинских изысканий и операций. Что свидетельствует о какой-то несомненной внутренней мудрости.

Были еще философы в русском Париже. Но все они интересовались больше литературными темами, чем теорией познания. Опять Алеша Карамазов и Платон Каратаев – эти «очи черные» русской религиозной мысли.

Мочульский целиком вышел из «литературы». В двадцатых годах меня с ним свел Адамович, полагая, что религиозная тема нас объединит. Мочульскому понравился мой рассказ «Служитель культа», где священник во времена военного коммунизма кончает самоубийством, ссылаясь на евангельский текст: придите ко мне все страждущие и обремененные… Но настоящей

близости между нами не было. Потом, в тридцатых годах, мы часто встречались в «Круге».

Мочульский прошел через тяжелый путь гомосексуализма. Тяжелый, потому что он сопротивлялся. Пережив религиозный кризис, он «выправил» свой сексуальный счет, победив все такого рода соблазны.

Мочульский был близок к Православному Делу матери Марии и проводил на рю Лурмель весь свой досуг; дружил с ее сынишкой Юрой. Они сидели в углу столовой – большой, темной, пропахшей капустой и скоблеными, мокрыми досками, – и беззаботно посмеиваясь играли в шахматы. В шахматы они играли прескверно, однако поучать себя никому не позволяли.

Раз я прикатил на съезд Православного Дела на велосипеде, Фондаминский с Федотовым ехали автобусом, то обгоняя, то отставая… Если не ошибаюсь, все собирались в загородном доме матери Марии в Nogent.

Ночью все мужчины спали в одной комнате. Я на полу. Юра, по западной привычке, без рубашки, с голым торсом, лежал на узких нарах, едва прикрытый армейским одеялом. Его молодая грудь могла, вероятно, показаться девицам соблазнительною. Рядом, под прямым углом, изголовье к изголовью, покоился уже на более удобной постели Мочульский, конфузливо хихикая в ответ на шуточки Юры.

Лежа на полу, я вдруг подумал: ведь для Мочульского это как если бы тут, рядом со мною, лежала обнаженная по пояс отроковица. И я пожалел его от всей души, даже помолился за него в темноте.

За полночь стало холодно, из щелей в дверях и окнах дуло. Нащупав рукой, я сорвал с гвоздя чье-то пальто, укутался и сладко заснул до галльских торжествующих петухов. Оказалось, что я укрылся рясой ученика православной академии Ж., мечтавшего об иеромонашестве. Вскоре он женился на англичанке и сделался протестантским священником.

– Быть вам монахом, – шутя заметил Ж., подбирая с полу свою рясу.

– Или вам грешником, – возразил я, не подумав.

Мочульский в ту пору все еще напоминал сорокалетнего, сильно полысевшего витального холостяка, из тех, что не курят и не пьют, но увлекаются слабым полом. Он отдаленно напоминал Василия Борисыча – «В лесах» Мельникова-Печерского.

В русской философской мысли он «танцевал», как уже повелось давно, только от Достоевского и Соловьева. Советские теоретики пляшут от печки Маркса-Энгельса и делают это, по-видимому, с наслаждением. Любит русский человек больше немца – порядок, чин, иерархию поклонов и заздравниц в церкви, на пиру и в науке. Этого тоже, кажется, наши классики не заметили.

Другого порядка был голос Вейдле. Тоже «литературовед» и тоже заинтересованный в экуменизме, он, однако, меньше других танцевал от обычной русской печки Толстоевского. Вейдле отлично знал и любил западноевропейское искусство. В литературе, мне кажется, он хуже разбирался. Так, желая нас оглушить, он вдруг решительно заявил, что существует новая замечательная американская литература. Думаю, что он ошибался.

В споре Вейдле любил ссылаться на много второстепенных имен и подавлял слушателей своей обстоятельностью. Он, пожалуй, все знал, но не все понимал.

Начинал карьеру Вейдле очень скромно: статейка о лирике Ходасевича или «мозаика раннего Ренессанса». По наружности он походил на прибалтийского доцента; в минуты раздражения я называл его Генералом Пфулем. Раздражение могло возникнуть только по линии отвлеченных идей, ибо ни содержанием, ни формою своих выступлений Вейдле не давал повода к обидам и к вражде.

В своем влиянии Вейдле рос очень медленно и неуклонно. В какую бы область он ни заглядывал, религия, литература, живопись, политика, он всюду видел первенство европейской цивилизации над остальными цивилизациями, действовавшими в истории. Это иногда возмущало, особенно если спор касался Индии времен Ганди. Но, в общем, он был прав.

Оживляла его, чрезвычайно неожиданно, тема любви. Лирика Тютчева с вечной, непреходящей памятью о прошлом, когда-то смертельно ранила Вейдле. В минуты волнения он начинал заикаться. И образ почтенного, гологолового, желтовато-лимфатического, веснушчатого доцента, рассказывающего заикаясь о старческой любви Тютчева, казался и смешным, и трагичным.

Вопреки европейской рассудительности и всем похвальным мыслям относительно религии и искусства, что-то в нем свидетельствовало о глубоком личном неблагополучии. Мне всегда казалось, что Вейдле самого главного, может быть, бессознательно не договаривает.

Формально он сотрудничал вместе с Фондаминским, Федотовым и Степуном в «Новом граде», но был это человек совсем другого склада. «Безумие креста» для Вейдле отражалось только в искусстве. Федотов, отчасти бунтуя, все же принимал это «безумие» без оговорок.

В одном споре о культуре я сослался на индусских монахов и на древних христиан, не овладевших даже элементарной грамотой. Вейдле, криво усмехаясь, возразил:

– Вы сразу стреляете из пушек даже по воробьям.

Вот разговор о «воробьях» (архитектура, ноты, мозаика) без ссылки на самое главное, мне тогда казался непонятным, смешным и даже вредным. А вместе с тем, здесь секрет культуры: в самоограничении, дисциплине и классификации материала.

Прискорбно, что даже Герцен, проживший всю зрелую жизнь на Западе, все же ругал европейцев за мещан-

скую скупость, узкую методичность, за умеренность и расчетливость. В самом Герцене было много ямщичьего удальства, как, впрочем, и в жандармах, увозивших его на тройке в Пермь или Вятку.

Главное, чего эти великие европейцы, за исключением одного Тургенева, не могли простить западному миру – это его мелочности. Скупость! Последовательная, сознательная, дающаяся только непрерывным усилием (как всякая добродетель).

Когда в Англии я впервые услышал от джентльмена, покупавшего в лавке трубку: «Нет, это слишком дорого для меня. I can’t afford it…»[35] – я вздрогнул и покраснел от стыда: подумайте, при даме сознался в своей неполноценности! Нам с детства внушили, что порядочный кавалер может себе позволить все! Деньги не помеха, если нужно – украдет, убьет.

Пока древний султанский Восток не поймет, что «мелочность», то есть сообразование с реальными возможностями и средствами, является качеством, необходимым для ведения здорового хозяйства, духовного и материального, пока он этого не учтет, никакие пятилетки не разрубят узлов его соборного неблагополучия.

Несомненно, что лучшие русские западники во главе с Герценом единодушно отталкивались от мнимой европейской скупости. И это доказывает, что они не поняли многого на чужой стороне, проживая там знатными иностранцами. «Широта и размах» в аграрной, нищей, крепостной России вселяли радость в сердца изгнанников; даже противники славянофилов начинали уверять, что православный Восток еще скажет этим «лавочникам» последнее спасительное, христианское, слово, которое прозвучит убедительно, несмотря или вопреки свисту вдохновенных отечественных кнутов и шпицрутенов.

---

[35] Я не могу себе этого позволить *(англ.)*.

А между тем в Европе был свой период феодального размаха. Тогда викинги и рыцари дарили друг другу поселки, замки и жен. Щедро, без колебания и без расчета. Скупость Европы – позднейшего, христианского происхождения, ее осознанного быта или бытия.

В старой России простой человек, бывало, не выбросит даром сухаря, почитая это грехом. И много отечественных мессий восхищались этой чертой народа-Богоносца, как и хлебом, выставляемым за окно «несчастненьким». Вот то же происходит на Западе, только здесь, о, чудо, в этом принимают участие и высшие классы. Причем бережливость касается не только корки хлеба, но и оберточной бумаги или бечевки: грех выбросить нечто, созданное Богом или человеком, все существующее должно как-то проявить себя.

Деньги, как всякий дар, можно тратить, но в меру и с толком. А если капитал собран не тобою, а предками, то он не принадлежит тебе целиком и должен быть передан дальше, достойному.

Алексей Толстой, человек очень ширрррокий, побывал в Англии и возмущался скупостью тамошних писателей: его угостили скудным обедом – демьяновой ухой наизнанку. То ли дело у нас в Москве.

Герцен, благородный, смелый, умнейший барин, Алешка Толстой почти противоположность всего этого… Но «мелочность» англичан они порицают одинаково. Тут что-то странное и легкомысленное.

Кстати, в старину швейцарские крестьяне тоже оставляли в горных шалашах запас хлеба и дров для одиноких путников; а бретонцы клали на ночь за окно хлеб и рыбу для скрывающихся от правосудия.

Из всех наших философов больше всего внешне походил на профессора, разумеется, Степун. С Поволжья, немецкого или шведского происхождения, он

представлял из себя чрезвычайно русское, исконное явление; как, вероятно, и Борис Пильняк.

Беспокойный дух, раздираемый многими противоречиями подсознания и подполья… Несмотря на дубравы классической философии, вокруг Степуна плавали сложные, ядовитые туманы декадентов.

Современник русского «серебряного века», посетитель Вячеслав-Ивановской «башни», ценитель «диалектического маятника» Гегеля, либерал, эстет, поручик, подобно Фету, и ученый, Федор Степун представлял из себя в Париже, куда он наезжал из сумрачной Германии, живописную смесь блеска, эрудиции, глубины и родного, весьма пугающего метафизического гнильца.

Федор Августович в эмиграции придерживался строгих христианских начал. Вместе с Фондаминским и Федотовым он принимал участие в построении «Нового града», а также помогал редакторам «Современных записок» в их кропотливой работе… Это он «проводил» нового автора или статью религиозного философа, может быть, с «правым» уклоном, вопреки воплям Вишняка и Руднева.

Степун был не только кадровым профессором философии, но и талантливым беллетристом… С его мнением «Современные записки» очень считались. Цетлин вообще посвящал себя стихам, проза не была его стихией. Поэтический отдел «Записок» был исключительно хорош: все наши поэты в нем участвовали.

Впрочем, эмигрантская периодическая печать в целом относилась к стихам с сугубой нежностью. От рижского «Сегодня» до «Нового русского слова» в Нью-Йорке, повсюду тщательно набирали стихи Кнорринг, Червинской, Штейгера…

Но судьба прозы была совершенно иная. В прозе эсеры, эсдеки, кадеты и прочие правые-левые интеллигенты отлично разбирались, и советоваться с кем бы

то ни было они не находили нужным. Здесь как ни странно преобладал метод, напоминающий жандармский: «держи и не пущай».

Конечно, стихи портативны, отнимают мало места, их можно вставлять между очередным обзором неудачной пятилетки и разгоном легендарного Учредительного Собрания вроде виньетки. К тому же ничего постыдного нет для старого либерала в признании, что он нынешних стихов не понимает: «раз Адамович одобряет, мы печатаем!»

В прозе же, извините, Руднев и Слоним все постигли, их на мякине не проведешь. Вследствие этих особенностей, психологических, главным образом, зарубежная проза несла и несет двойную нагрузку.

Фондаминский и все его близкие друзья, помогали нам в меру сил и, действительно, постепенно к концу тридцатых годов протащили в «Современные записки» всю молодежь. В «Воле России» печатали тогда уже только переводы из Панаита Истрати.

Первую часть моего «Портативного бессмертия» я послал Фондаминскому для «Русских записок». Зензинов прочитал, но без определенного результата. К счастью, подвернулся Степун, которому Фондаминский передал рукопись… И вот мне вручили тысячу франков. Мой первый и, вероятно, последний «русский» аванс.

Вскоре Фондаминский ушел из «Русских записок», хозяином стал Милюков, при секретаре М. Вишняке. Последний брезгливо жаловался: «Что за порядки? Как это можно раздавать такие авансы?..» Он критиковал Фондаминского и за «христианство», и за дружбу с «фашистами». О себе Вишняк мне с гордостью заявил, что каким он был в 1917 году, таким он останется навсегда, ни на йоту не меняясь. Мне это показалось чудовищной тратой жизни и времени.

Итак, благодаря вмешательству Степуна я получил тысячу франков, что позволило мне летом съездить в Эльзас. Вечером мы опять сидели за чайным столом Фондаминского. Зензинов сердито проходил из уборной в свою комнату; Степун, тяжело переступая узловатыми ногами, точно сдерживаемый коренник, стоял за своим стулом во главе стола и, размахивая то одной, то другой, казалось, тоже узловатою, рукой, уже охрипшим голосом доказывал, что «недействие» в эмиграции тоже действие!

– Откройте скобки, поменяйте знаки на обратные, просверлите еще одну дырку в метафизической пустоте.

Моя тема «памяти» привлекла его внимание. И, должно быть, вспомнив эти наши ночные бдения, он двадцать лет спустя писал о повести «Челюсть эмигранта»:

«Одною из самых существенных, любимых мыслей Яновского представляется мне делаемое им различие между двумя образами памяти: линейной, которая сохраняет лишь то, что свершалось во внешнем мире, и вертикальной, которая как бы при вспышке молнии вспоминает очертания вырванных из второго мира предметов» («Новый Журнал» № 54, 1958).

Особенно смачно Степун изображал своих современников, представляя в лицах то Алексея Толстого, то Вячеслава Иванова. Вообще, по-видимому, что не редкость среди русских писателей, он мог бы сделать удачную карьеру в театре.

За ночь Степун, начав с Учредительного Собрания и Вишняка, секретаря оного, мог докатиться до Андрея Белого и его тяжбы с Рудольфом Штейнером, что не всем присутствующим нравилось.

Вероятно, вспомнив эту нашу русскую ночную беседу, Ф. Степун мне в 1958 году написал длиннейшее письмо, которое я сохранил. Вот отрывки из него:

«В связи с основною религиозной темой меня заинтересовала Ваша близкая мне теория – двойной памяти. Конечно, жизнь протекает в необратимой временной последовательности, тем не менее, ее углубленное изображение в хронологическом порядке – невозможно. Вы правы: линейная память бессильна справиться с этой задачей, потому что прошлое перестраивается в душе по вертикалу, а потому и требует, как вы говорите, «вертикальной памяти»…

…Очень внятно и точно определение любви как «косой форточки в эсхатологию». Очень хорошо и ново феноменологическое осмысливание краткого мгновения, когда человек, просыпаясь, не ориентируется в своей комнате, «как тайны отделения души от памяти». В этих словах сразу приоткрывается проблема платоновской памяти и христианского бессмертия. С тайною отделения души от памяти связана и мысль, что в отличие «от всяких иных реальностей – смерть не имеет прошлого». Не иметь прошлого – значит, не иметь памяти»…

Да, такого рода беседы и письма вознаграждали нас за многие лишения.

Федор Августович лично встречал доктора Штейнера и любил рассказывать, смачно сюсюкая, как Андрей Белый однажды оборвал Штейнера, крикнув при свидетелях: «Herr Doktor, Sie sind ein alter Affe!»[36] Это я слышал и от Ходасевича.

Когда Гитлер пришел к власти, профессор Степун сразу подал в отставку, таким образом решительно отказавшись прямо или косвенно участвовать в немецких мифах.

Другие философы нас, пожалуй, меньше затрагивали. Франк появлялся у Фондаминского редко. Крупный,

---

[36] Господин доктор, Вы – старая обезьяна! *(нем.)*.

что называется, представительный мужчина, по внешности американский executive[37], администратор, управляющий большого концерна. Таким же «крутым» директором выглядел и Карташев.

Франк читал в «Круге» доклад о Пушкине, препарировав его на свой салтык… По его мнению, следует различать два вида религиозного опыта: пророка, громовержца и тихого мистика, блаженного. Вот Пушкин, по схеме Франка, не был пророком, но был мистиком, что гораздо выше, духовнее разных «крестоносцев» или борцов за истину.

Мы возражали: «Гавриилиада» и бокалы, коими надлежит «залить горячий жир котлет», вряд ли совместимы с такого рода духовностью.

Определенно, и всегда, не нравился мне Вышеславцев, хотя он был очень популярен в ИМКЕ среди дам среднего и выше возраста. Большой, статный, длинноногий, с седеющими зеркальными висками… Правильный лоб, тяжелый скандинавский череп и, кажется, синие крупные глаза. Бог наградил его особенными, гибкими, показными бедрами, и он, стоя на эстраде, блистательно, холодно картавя о Святой Троице или Софии, премудрости Божией, кокетливо играл этими удачными бедрами, кладя то одну большую руку, то другую на свой гибкий стан. Играл тазом, но пожиже, еще Смоленский.

Во время оккупации Вышеславцев сотрудничал с немцами; ездил по странам русского рассеяния и что-то проповедовал относительно «нового порядка». Умер этот «рыцарь без страха и упрека» в Швейцарии, не решаясь вернуться в Париж и предстать перед французским судом.

---

[37] Служащий *(англ.)*.

Русские художники в Париже жили обособленно и с нами редко общались, разве только в Брассери де Лила за покером или иногда на больших собраниях. Впрочем, Ларионов снят рядом со мною на фотографии группы «Чисел».

Не был исключением и Юрий Анненков. Только перед самой войной он появился у Фондаминского с предложением поставить в театре Фондаминского «Скверный анекдот» Достоевского, но что-то помешало, и спектакль не состоялся.

Это был загадочный, очень русский человек, хитрый, грубый, талантливый, на все руки мастер.

Раз в конце двадцатых годов я завернул к Осоргину по делу моего «Колеса». Михаил Андреевич пожаловался:

– Вот прислал литератор повесть, я бы хотел ему помочь напечатать ее, отличная книга, а неизвестно, как с ним связаться, адреса нет.

Эту повесть, не помню названия, Темирязева принесла Осоргину какая-то дама, обещала наведаться за ответом и… пропала.

– Догадываюсь, – продолжал Михаил Андреевич, – автор, вероятно, еще проживает по советскому паспорту и боится скомпрометировать себя. Темирязев, конечно, псевдоним.

Действительно, сочинение это оказалось художника Юрия Анненкова. Осоргин горячо рекомендовал эту повесть «Современным запискам», и те ее печатали, вероятно, с купюрами, как водится в свободной прессе.

Я тогда же прочел ее, отрывками: реалистическое произведение, написанное, что называется, экспериментальным, очень культурным языком, но без оригинальной, личной подлинной темы.

И в живописи, графике, в своих декорациях он тоже «делал» то под конструктивистов, то под кубистов, то под сюрреалистов, очаровав последовательно и Блока, и Троцкого.

Когда новой власти понадобился ответственный декоратор советской столицы по случаю первой годовщины Октябрьской революции, Анненков почему-то назначается председателем «флажной» комиссии.

В 1921 году власть «заказала мне портрет Ленина», вспоминает Анненков, и он ездит на сеансы в Кремль к Ильичу… Когда Ленин умер, Высший Военный редакционный Совет поручает Анненкову иллюстрировать книгу, посвященную вождю.

В институте Ленина «меня прежде всего поразила стеклянная банка, в которой лежал заспиртованный ленинский мозг». Анненков его незаметно зарисовывает, а также «я незаметно переписал» краткие, отрывочные заметки, сделанные Лениным наспех».

В 1923 году Анненкову предложили исполнить портреты главнейших руководителей Реввоенсовета и «в первую очередь, Троцкого». И Анненков всех их писал, зарисовывал, иллюстрировал. Он побывал в ставке пять раз, «если не больше». Военные и штатские сановники к нему благоволили, беседовали с ним об искусстве, культурно спорили. Зиновьев, Луначарский, Тухачевский, Радек, Склянский, Ворошилов, Енукидзе и пр. и пр.

Уже в Париже он переписывался с полпредом Раковским, который его приглашает «запросто покалякать» (11 окт. 1926 г.). Тогда же он пишет портрет Красина – посла в Англии.

Наконец, он вынужден всерьез заняться карьерой парижского декоратора, в чем он тоже успевает. Он сходится с лучшими «местными» художниками – от Пикассо до Фужита, собирает их наброски и эскизы.

Когда А. Толстой приезжает в Париж, Анненков с ним пьет коньяк, беседует, хотя знаком вполне с моральным обликом Алешки Толстого; он почему-то везет «графа» на своей машине к Вл. Крымову. То же с Эренбургом, с мерзавцем, который в продолжение

десятилетия обманывал и соблазнял французских интеллектуалов, рассказывая им про сталинский рай, хотя сам валялся в истерике, когда его вызвали на очередную побывку в Москву.

Чекист Эфрон, муж Марины Цветаевой, председатель Союза Советских Студентов, устраивает бал; другой чекист, пражский поэт Эйснер, сочиняет пасквиль – что-то об эмигрантской литературе на выданье… А Юрий Анненков пишет декорации. Никто из приличных людей туда не пошел. (Но Георгий Иванов, конечно, побывал там.)

В годы оккупации Анненков вел себя «тихо» и, насколько мне известно, прилично. Не как Лифарь. Он продолжал работать в театрах как декоратор, за содержание пьес он не отвечал. Удачно женился на молоденькой актрисе, писал «Дневник моих встреч». Вскоре после победы пристал к вполне приличной «Русской мысли», где вел отдел художественных вернисажей.

Без особого труда продал свой архив в Америку и пристроил в хорошем издательстве свои два тома «Воспоминаний», что не всем до сих пор удалось.

Толстой с восторгом отзывается о генерале 12-го года Дохтурове, который как бы случайно, не выставляя себя, всегда оказывается на самых рискованных и ответственных местах. Всякий раз, перечитывая эту страницу в «Войне и мире», я по странной ассоциации вспоминаю Анненкова:

«Опять Дохтурова посылают в Фоминское, и оттуда в Малый Ярославец, в то место, где было последнее сражение с французами, и в то место, с которого, очевидно, уже начинается погибель французов, и опять много гениев и героев описывают нам в этот период кампании, но о Дохтурове ни слова, или очень мало, или сомнительно. Это-то умолчание о Дохтурове очевиднее всего доказывает его достоинства…»

Таким мне представляется Юрий Анненков, только наоборот (au rebours).

Я упоминаю здесь о нем с некоторыми подробностями, потому что это фигура совсем не случайная для эмиграции.

VIII

В начале тридцатых годов многие читатели «Последних новостей» обратили внимание на ряд статей, подписанных, кажется, инициалами. Некая матушка М. разъезжала по Франции и описывала русский провинциальный быт; судьба этих заброшенных «колоний» была во многом печальнее нашей. Там преобладали нищета, бесправие, пьянство и доносы. Особенно волновала глава, посвященная Борису Буткевичу (в Марселе), которого автор представлял в виде безвременно погибшего типичного русского бродяги: он работал грузчиком, спился, заболел и умер (совсем как у Горького). Корреспондент, лично, насколько помню, побывал в морге вместе с друзьями покойного, которые опознали труп Буткевича, маринуемого для анатомического театра.

«А между тем, – цитирую по памяти статью, – уверяли, что Буткевич был культурным человеком, сочинял рассказы, которые печатались даже в «Числах», и его хвалили известные наши критики»… Увы, все это совершенно соответствовало истине.

Буткевич до «Чисел» печатался еще в другом журнальчике, редактируемом Адамовичем и, кажется, Винавером. Помню там его рассказ о бывшем гвардейском офицере, спивающемся в Марселе; это, вероятно, лучшее произведение зарубежья того периода.

Я знал, что Буткевич исчез, растворился в Марселе, но такой дикий, «поволжский» конец меня ошеломил. Действовал и тон статьи: там были настоящая любовь,

забота о человеке, соотечественнике, студенте, офицере, поэте, и в то же время полное отсутствие сентиментальности.

– Кто автор статьи? – допытывался я у знакомых.

И наконец Евгения Ивановна Ширинская-Шихматова мне объяснила:

– Это мать Мария. Бывшая эсерка, террористка, поэтесса, ставшая теперь монахиней особого толка: монахиней в миру!

Она обставила дом и будет там содержать, кормить убогих. И даже похоронит их приличным образом. Вот какой это человек! – восхищалась Евгения Ивановна, вечная институтка.

От нее же я услышал, что мать Мария, для того чтобы прокормить семью, ходила по эмигрантским квартирам и выводила клопов. Давала объявление в «Последних новостях»: «чищу, мою, дезинфицирую стены, тюфяки, полы, вывожу тараканов и других паразитов».

Вообще, в среде нашей эмиграции наблюдалась порой эта благородная национальная черта: не ходить на поклон в разные «фонды» (так или иначе связанные с идеалистическими, свободолюбивыми контрразведками), а честно заняться первым подвернувшимся физическим трудом… Моя сестра двадцать лет работала швеей в пуэрториканском ателье; Галина Кузнецова убирала беженские квартиры – по часам; а мать Мария выводила поколения клопов, уверяя, что это творческий подвиг.

– Вот какой это человек! – ликовала Евгения Ивановна, которую мы в шутку называли княгиней Савинковой.

Активная революционерка, сестра боевика эсера, спасшего из крепости ее будущего мужа Бориса Савинкова и погибшего затем на виселице, Евгения Ивановна была типичным представителем своей эпохи.

Особенностью тех людей являлось, что они довольно часто совершали подвиги, но никогда не трудились сорок часов в неделю, пятьдесят недель в году, до третьего пота.

Евгения Ивановна самолично привозила из Финляндии в Петербург динамит, дружила с невестой Сазонова, терпеть не могла запаха селедки и представляла из себя некую смесь хорошего тона и подполья, конспирации и утомительной болтовни.

Мы жили тогда рядом, на стыке Кламар-Ванв и Исси-Ле-Мулино, часто встречались и все вели переговоры о новом очередном литературном журнале. Я изредка сотрудничал в пореволюционных изданиях Ширинского… А по ночам слушал рассказы Юрия Алексеевича о псовой охоте, о лошадях, о георгиевском «червячке», который труднее достается офицеру пехоты, чем артиллерии.

В кабинете князя висели два портрета: первой жены его и любимой, прославленной на выставках породистой суки (кажется, коккер-спаниель). Его философия собаководства заключалась в том, чтобы спаривать образцовую самку с ее братьями, а затем повторять это же с щенками. Юрий Алексеевич уверял, что в седьмом поколении получится опять образцовый экземпляр псицы, подобной родоначальнице.

Кавалергард, он воевал еще в «той» великой войне, когда рыцарские поединки не были совершенным исключением. Участвовал в глубоких разведках и кавалерийских рейдах. Рассказывал очень убедительно о странном чувстве, впервые испытанном им, когда юношей, спешившись и спрятавшись с разъездом в польской избе, он вдруг из оконца увидал рыжих, тяжелых немцев в касках – которых позволительно убивать!

– Похоже, как если бы нам показали молодых женщин и сказали: «Насилуйте их!..» – так приблизительно определял он этот боевой опыт.

Для меня ночные бдения в его обществе были наслаждением; я часто заставлял себя выслушать в «Пореволюционном клубе» целый доклад относительно будущего устройства народов Государства Российского, чтобы иметь возможность потом наедине продолжать интимную беседу. Быт, с которым Юрия Асексеевича связывали кровные узы, напоминал период, непосредственно прилегавший к «Анне Карениной».

Семья Ширинского-Шихматова принимала участие в придворной жизни; отец его, оберпрокурор святейшего Синода, любил повторять еще в Государственном Совете, что правее его – стенка! Сам Юрий Алексеевич в первые годы эмиграции примыкал к многим реакционным объединениям. Постепенно под воздействием чудесных эмигрантских магнитных полей – тут и евразийцы, и Бердяев, и Франция, и Евгения Ивановна Савинкова, и неуклонная любовь к границам государства российского – в нем произошли сдвиги, в конце концов приведшие его, князя, потомка Чингисхана и Рюриковичей, в немецкий концентрационный лагерь, где он и погиб.

В августе 1940 года моя жена родила в госпитале Порт-Руаяль дочь (Машу); Юрий Алексеевич наведался к ней в палату (Евгения Ивановна смертельно заболела еще весною). В беседе с женой Ширинский-Шихматов тогда вскользь упомянул, что ищет удобного случая, чтобы надеть на рукав желтую (еврейскую) повязку. Даже если он этого впоследствии не осуществил, то все же такого рода слова характерны и для князя Ю. Ширинского, и для нашей «загнивающей» эмиграции, и для Парижа того времени, разбитого, сияющего, обреченного, но по-прежнему вечного Парижа…

Юрий Алексеевич работал таксистом, и на стоянках, в полумраке, жадно читал… Кроме славянофилов, на него большое влияние оказал Бердяев. Излучения Бердяева больше, значительнее, чище (показательнее) самого Бердяева, и поэтому я его в целом принимаю.

В своей «пореволюционности» Ширинский-Шихматов, вероятно, шел слишком далеко, в особенности если дело касалось хоть отдаленно – Третьего Рима.

В «Клубе» князя вскоре начались смуты, обычные для политической жизни Зарубежья, где в разных кастрюлях варят суп все из одного и того же гвоздя (скажем, Бердяева, Милюкова или генерала Краснова).

Нашлись «осведомленные» люди, которые утверждали, что в таком-то году Юрий Алексеевич, ничтоже сумняшеся, завернул на рю Гренель, где советское посольство. Любопытно, что большинство этих свидетелей впоследствии попались на деле «Оборонческого движения» и вместе с М. Слонимом сидели в лагере, созданном французской полицией для коммунистов и попутчиков.

Мы с Юрием Алексеевичем изобрели литературную игру, которую называли гвардейской словесностью.

– Как называлась лошадь Вронского?

– Фру-Фру.

– Кто ее обошел?

Отвечать полагалось:

– Гладиатор, жеребец рыжей масти.

– В каком произведении Достоевского описана собака?.. Как ее звать?

– Из какой материи шаль, которою дорожила жена Мармеладова?

Эта игра показывала знакомое литературное поле под новым углом… А придумывать такого рода вопросы было забавно.

Кстати, Юрий Алексеевич уверял, что у Толстого неправильно описана историческая атака кавалергардов под Аустерлицем. Насколько помню, по его мнению, масть лошадей первого эскадрона неверно обозначена.

К этим разговорам иногда прислушивался подросток Лев Борисович Савинков. Я говорю «подросток» только потому, что когда я его впервые увидел, то он был совершеннейшим юнцом; но потом, как полагается, возмужал, отпустил южноамериканские усики и все чаще высказывал собственные независимые суждения. Мы были дружны… При встречах я часто затягивал шуточный куплет: «Судьба играет человеком…» А он подхватывал: «Она изменчива всегда».

Осенью 1936 г. Левушка укатил в Испанию, где честно воевал полтора года, вернулся раненый, побежденный и разочарованный. Он мне рассказывал, что «там» в тяжелые минуты иногда напевал знакомый куплет: «Судьба играет человеком…»

Летом 1940 года Евгения Ивановна умирала от рака. Душные ночи в полуопустевшем Париже, где хозяйничали ненавистные немцы… лежать прикованной к одру, обреченной – все это было вдвойне мучительно! Тогда надо было обладать чудовищной ясностью духа, чтобы увидеть даль свободного Сталинграда.

У меня хранятся фотографии Евгении Ивановны: в фас и в профиль, снятые департаментом полиции. Тургеневская барышня с косой. Какие они все были молодые и красивые, эти девушки-революционерки. А затем ее рассказы: о первом браке, условном, паспортном; вот Борис Викторович, Финляндия, Ницца, Париж. Куда это все делось… У меня зрело чувство – все это еще здесь, за толстым стеклом, совсем видно! А коснуться, придвинуться ближе как будто нельзя.

Позже князя Юрия Алексеевича Ширинского-Шихматова, по доносу его бывших пореволюционных

или предреволюционных соратников, арестовали и сослали в немецкий лагерь. Передают, что там он вступился как-то за избиваемого соседа и был аккуратно расстрелян.

Разумеется, настоящих свидетелей такого рода деяний нет и не может быть. Как и подвига матери Марии, якобы поменявшейся местами с другой, отправляемой в «печку» заключенной… Замечательно, как молва создает эти благодатные мифы. Ибо душа наша жаждет святого подвига, верит в присутствие рядом духовных воинств и ищет их земного воплощения. Что само по себе уже является чудесной реальностью.

Итак, с матерью Марией меня познакомили Ширинские, и затем, в продолжение многих лет, я встречал ее в разных местах… Крупная, краснощекая, очень русская, близоруко улыбающаяся и всегда одинаково ровная: как бы вне наших смут, вне шума, вне движения. Хотя сама она очень даже двигалась, шумела тяжелыми башмаками и длинными, темными одеждами, громко пила чай и спорила.

Монументальная, румяная, в черной рясе и мужских башмаках – русское бабье лицо под монашеской косынкой! Добрые люди ее подчас жалели именно за эти неизящные сапоги, нечистые руки, за весь аромат добровольной нищеты, капусты, клопов, гнилых досок, наполняющий целиком ее странноприимный дом. Благодаря румянцу на щеках (собственно, сетке алых жилок) она казалась всегда здоровой и веселой.

У себя, на заседаниях или лекциях, мать Мария вдобавок еще всегда занималась каким-нибудь рукоделием, никогда не сидя во время беседы просто так, без дела. Вязала, чинила темные, грубые облачения, перекусывая нитку, по-видимому, крепкими зубами.

Есть такое выражение во Франции – brave femme[38]: это национальный идеал женщины. Днем – хозяйка,

---

[38] Отважная жена *(франц.)*.

ночью – жена, выполняющая все Богом положенные обязанности, толково и охотно. Эти femmes, матери семейств и любовницы инвалидов, сидят в кассе метро, продают билеты, но сверх того еще вяжут свитер или складывают «патроны» – для кройки платьев! Она не прочь согрешить и повеселиться, но не в убыток, а наоборот, повысив месячный заработок. Своего homme она не предаст! Переспать с другим, не вынося добра из дому, не грех; она и хахалю позволит порезвиться в меру. Если ей повезет в жизни, она станет хозяйкой литературного и политического салона.

Я часто представляю себе «брав срам» других народов: ведь на них держится быт, семья и даже государственный порядок… Конечно, мать Мария тоже brave fille[39], только русская: с бомбами, стихами, проклятыми вопросами, символизмом или церковным пением.

Сравнительное изучение этих «брав фам» разных национальностей поможет разрешить многие исторические загадки и даже бросит свет на будущее, скажем, китайской империи.

В круг французской идеальной brave femme входит тяжелый, добросовестный труд на службе, затем дом, семья, homme, и тщательный туалет intime (активная и веселая сексуальная жизнь сама собою подразумевается).

В спокойной, хозяйственной, мужественной, всегда добродушной, румяной матери Марии, с ее прошлым поэта, анархистки, а настоящим – практичной строительницы подворья, игуменьи, мне чудился некий идеал русской brave femme – вечно живой Марфы Посадницы, способной, конечно, в случае нужды, солить грибы, доить коров и даже рыть метро.

Из западных святых она мне больше всего напоминала Терезу Авильскую (Жанна д'Арк не укладывается в русскую действительность).

---

[39] Отважная дочь *(франц.)*.

То, что мы слышали о деятельности матери Марии, наполняло сердца чувством благодарности… Чтобы накормить своих нахлебников, она ночью отправлялась с двухколесной тележкой в Halles. Там «французики из Бордо» ее уже знали и давали безвозмездно остатки зелени, овощей, а иногда сыра и мясных отбросов с костями. (Площадь вокруг Halles надлежало очистить, вымыть – до восхода солнца.)

Погрузив всю эту пахучую прелесть, мать Мария торжественно возвращалась из похода, помогая еще своему кухонному мужику или «шефу», бывшему туберкулезному и душевно больному, катить тележку.

Как общее правило, ее пансионеры – отставные алкоголики и штабс-капитанские вдовы – мать Марию не любили и часто сварливо учили хозяйку истинному православию, подлинному смирению и даже экономии. Некоторые ходили жаловаться то в церковные инстанции, то в полицейские: писали образцовые русские доносы. Думаю, что святость матери Марии сказалась в мирное время в ее доме не в меньшей степени, чем потом в немецком застенке.

Помогал ей в «Православном Деле» Пьянов: тоже очень красочный человек, чем-то напоминающий американского протестанта или квакера. Вообще в США много похожего на Россию и опыт Prohibition[40] по наивности своей не уступает ленинской революции. Только американская brave fille стоит особняком, постепенно вытесняя своего самца. Это она с Библией и ружьем в руках пошла на дальний запад, распевая демократические гимны и рожая детей.

В своей церкви на рю Лурмель мать Мария сама раскрасила витражи, изучив секреты средневекового мастерства. Ее церковь казалась декорацией к Борису

---

[40] Сухой закон *(англ.)*.

Годунову, что многим, вероятно, нравилось (как в опере «Борис Годунов» – церковные мотивы).

Не доходили до меня и стихи матери Марии; она их продолжала сочинять. Даже ее прозу я не мог оценить по достоинству. Можно было ожидать, что человек с ее духовным опытом расскажет гораздо яснее и убедительнее про «Мистику человекообщения». Статью под таким заглавием она дала для нашего первого сборника «Круга». С одной стороны: несомненный религиозный опыт… А с другой: так мало внятного и ценного для действительного питания. Разумеется, вопрос не ставился, печатать или нет труд матери Марии: мы с благодарностью принимаем все, что она дает! Но… В таком духе высказались многие члены редакции. Однако Фондаминский положил конец нашим досужим толкам:

– Какой тут может быть разговор: это ее личный опыт, чего вам еще надобно!

То, что Фондаминский мог такими доводами защищать материал для журнала, доказывает, как далеко он уже успел отойти от своих бывших сверстников типа Руднева-Вишняка.

Статья «Мистика человекообщения» была напечатана в нашем альманахе, и я по сей день ее не дочитал до конца. Вина, вероятно, моя.

На какой-то год очередной пятилетки в России наступил лютый голод. Тогда Ю. А. Ширинский-Шихматов – человек блестящих идей и даже не без способностей к интригам, но, я бы сказал, слабый организатор, что ли, – задумал «мобилизовать общественное мнение на Западе» и, собрав необходимые средства, зафрахтовать пароход, нагрузить его крупой, жирами и отправить в подарок Ленинграду!

Собрание, посвященное этому вопросу, состоялось у матери Марии: весною, вечером, когда весь грязный

Париж благоухал и любовно содрогался, как только свойственно ему.

Думаю, что был май: все цвело на шумных бульварах. В большой, пахнущей мокрыми полами трапезной, за длинным деревянным, часто скобленным столом, сидело человек двадцать пять эмигрантов, неопределенного возраста и прошлого. Жена Фондаминского еще хворала, и его я тогда не встречал.

Мать Мария пристроилась сбоку, слегка на отлете – черная, крупная и спокойная – вязала что-то молча. Только к концу она произнесла несколько слов, заявив, что одобряет начинание, но примет ли прямое участие, она еще не знает, ибо должна посоветоваться с одной особой (я понял, с о. Булгаковым).

В комнату то и дело вбегали загадочно посмеиваясь три девицы, этакие тургеневские барышни, но полегче, пощуплее, в белых весенних кофточках, они щебетали и чему-то радовались, то выбегая на улицу, то возвращаясь в серые, нищие комнаты. Одна из девиц, дочь матери Марии, вскоре уехала в Москву, по ходатайству Алексея Толстого; там она погибла в самое непродолжительное время при не совсем ясных обстоятельствах. Эренбург, повествующий в своих воспоминаниях, с чужих слов, о деятельности матери Марии в Европе, поступил бы честнее, если бы сообщил подробности смерти ее дочери в Москве.

Между тем, собрание по «мобилизации западного общественного мнения» начало заметно оживляться. На Ширинского, к моему наивному изумлению, посыпался рад горчайших упреков самого неожиданного оттенка. Одни уверяли, что появление корабля с хлебом на ленинградском рейде во время голода может вызвать восстание, а Ширинский воспользуется этим для установления своей диктатуры… Страсти разгорались, еще немного и сокровенное словцо «подлец»

или «диверсант» эхом прокатится под сводами. Увы, такова судьба всех эмигрантских объединений.

В «Круге» мать Мария выступала с докладами; один, помню, – о Блоке, личные воспоминания. И опять непонятно: о поэте мог рассказать Ремизов, Адамович, Мочульский… Почему она занимается такими темами?

Иванов в кулуарах пускал язвительные шуточки относительно наружности Марии Скобцовой в пору ее встреч с Блоком.

Я часто спорил с матерью Марией или в ее споре с другими присоединялся к «другим». Признаюсь в этом с грустью: мне хотелось разделять ее взгляды, но на практике не получалось!

В первой книжке «Круга» появился мой рассказ «Розовые дети» с описанием собачьей свадьбы. На собрании «Круга», где обсуждался номер, мать Мария взволнованно сообщила, что редакция поставила ее в затруднительное положение: она собственноручно передала о. Булгакову альманах со своей «Мистикой человекообщения», а он наткнулся на такой рассказ Яновского.

– Если бы редакция меня предупредила, – объясняла матушка, – то я бы не вручала журнала отцу Булгакову.

На это я возразил, что если христианнейшая матушка считает мое произведение воплощением зла, то она тем паче должна была бы сообщить об этом отцу Булгакову, дабы они совместно обсудили меры к спасению моей исковерканной, но достойной возрождения души.

– Вы должны были вместе с батюшкой прибежать ко мне на квартиру ночью и не оставлять меня, пока я не образумлюсь… – так приблизительно убеждал я мать Марию.

Вокруг этого спора создалось нечто похожее на легенду, и какой-то след остался до сих пор. Еще теперь

при встрече с членом «Круга» мы обязательно возвращаемся к этой беседе и поединку с матерью Марией, монахиней, которая, надеюсь, через положенное число лет будет признана святой русской церкви, на чужбине просиявшей…

Жив во мне разговор, происходивший за чаем у Фондаминского: после Мюнхена, когда все чувствовали уже близость конца. Мать Мария, в общем, была вместе с нами, молодежью, против Мюнхена. Но когда это свершилось, она вдруг начала вспоминать прошлую войну в тонах скептических, явно не одобряя эпические затеи… Помню ее рассказ о своем брате, студенте, записавшемся юнкером в артиллерийское училище. Не желая дожидаться очереди в тылу, он тут же зачислился добровольцем в пехоту и ушел на фронт. А дома его долго разыскивали как дезертира из военного училища… Потом она его провожала на юг к Деникину.

– И что осталось от всего этого вдохновения и подвига? – спрашивала мать Мария. От горячего чая ее очки в железной оправе покрывались паром; она их поминутно снимала и вытирала, оглядывая нас выпуклыми, темными, большими, близорукими глазами. – Что осталось от всего этого горения и жертвенного подъема? Ровным счетом ничего не осталось, – продолжала она не спеша, убежденно. – Разве только еще одна могилка у Перекопа. Его гибель была совершенно не нужна и ничего не изменила. А ведь он мог еще жить здесь и с нами работать…

Эти слова «еще одна могилка» и «ровным счетом ничего» были сказаны сестрою с таким чувством, что я считаю долгом их запечатлеть.

Затем мы вместе встречали новый 1940-й год у Федотовых – в последний раз в свободном Париже. Старались даже шуметь, веселиться, но тени близкой европейской ночи уже покрывали наш старый эмигрантский мир.

Мы никогда не узнаем доподлинно, как они умерли: мать Мария, Фондаминский, Вильде, другие… И это совсем не нужно. Есть нечто греховное, суетное в такой жажде реальных подробностей. Несомненно, что все они давно уже шли навстречу своему мученическому концу, не уклоняясь, не отступаясь. И умерли они активной, творческой смертью.

Совершенно равнодушно прошел я мимо некоторых признанных писателей земли эмигрантской (а теперь, пожалуй, советской).

Куприн, Шмелев, Зайцев. Они мне ничего не дали, и я им ничем не обязан.

Бориса Зайцева я все же изредка встречал. Отталкивало меня его равнодушие – хотя и писал он как будто на христианские темы. Стиль его «прозрачный» поражал своей тепловатой стерильностью. Зная немного его семейную жизнь и энергичную жену, думаю, что Борис Константинович в чем-то основном жил за чужой, Веры Александровны, счет.

В 1929 году мне было двадцать три года; в моем портфеле уже несколько лет лежала рукопись законченной повести – негде печатать!.. Вдруг в «Последних новостях» появилась заметка о новом издательстве – для поощрения молодых талантов: рукописи посылать М. А. Осоргину, на 11-бис, Сквэр Порт-Руаяль.

А через несколько дней я уже сидел в кабинете Осоргина (против тюрьмы Сантэ) и обсуждал судьбу своей книги: «Колесо» ему понравилось, он только просил его «почистить». (Подразумевалось – «Колесо Революции».)

Михаил Андреевич тогда выглядел совсем молодым, а было ему, вероятно, уже за пятьдесят. Светлый, с русыми, гладкими волосами шведа или помора, это был один из немногих русских джентльменов в Париже… Как это объяснить, что среди нас было так мало поря-

дочных людей? Умных и талантливых – хоть отбавляй! Старая Русь, новый Союз, эмиграция переполнены выдающимися личностями. А вот приличных, воспитанных душ мало.

Мы с Осоргиным играли в шахматы. По старой привычке он при этом напевал арию из «Евгения Онегина»: «Куда, куда, куда вы удалились?»… Играл он с энтузиазмом.

Чтобы достать шахматы с верхней книжной полки, Осоргину приходилось с усилием вытянуться, хотя по европейским понятиям был он роста выше среднего; его молодая жена, Бакунина, тогда неизменно восклицала:

– Нет, Михаил Андреич, этого я не хочу, чтобы вы делали! Скажите мне, и я достану.

А я, к удивлению своему, замечал, что дыхание этого моложавого, светлоглазого «викинга» после любого резкого движения сразу становится трудным, а лицо бледнеет.

Работал он много и тяжело. Так же, как Алданов, Осоргин любил подчеркнуть, что никогда не получал субсидий и подачек от общественных организаций. Ему приходилось писать два подвала в неделю для «Последних новостей». Даже фельетоны его и очерки свидетельствовали о подлинной культуре языка.

Вообще, русский язык – это живая болячка отечественных писателей: все поминутно упрекают друг друга в безграмотности. Когда-нибудь я соберу и издам антологию отзывов одних знаменитых сочинителей относительно грамматики, синтаксиса и даже орфографии других не менее удачных современников. Это будет воистину грустная и поучительная книга.

Начиная с Пушкина, утверждавшего, что Державин писал по-татарски, вплоть до Ремизова, подчеркивавшего острым карандашом в журнале очередные ошибки

Бунина и Сирина, – в русской словесности тянулась сплошная и безобразная междоусобица, напоминающая лучшую пору смутного времени. Упрекать больших и даже классических писателей в незнании собственного языка редко позволяли себе литераторы западного мира.

Есть общий уровень французского языка, которого достигают все молодые люди, кончившие лицей и сдавшие башо; художники сверхкласса, вроде Пруста или Андрэ Жида, пишут лучше или чище: здесь тайна стиля… То же, по-видимому, происходит в великой английской культуре; юнцы, кончившие Кембридж или Оксфорд, могут иметь различные симпатии и верования, темпераменты и стили, но это не коснется основ языковой культуры. И главное, им не нужно идти на учебу к своему мужику, чтобы усовершенствовать или освежить речь.

Гениальный стилист Джэймс Джойс кувыркается на канате, тогда критика именно это отмечает: акробат!.. Если же неудачник не прошел общепринятой школы, то это так очевидно, что не стоит распространяться: приличные собеседники не замечают, когда рыгают в гостиной.

Как общее правило, на Западе писатели о писателях если и высказываются, то с подчеркнутой вежливостью и осторожностью, принятыми между соперниками на дуэли. Ибо всем ясно, что современники являются конкурентами: отрицать это могут единственно ханжи и лицемеры.

Только в русской литературе, где претензии относительно могучего, богатого, великого языка превышают все другие домогания, только там, из всех великих литератур, писатели сплошь и рядом затевают между собой драки, не брезгуя даже приемами ломовых извозчиков.

И объясняется это совсем не тем, что Достоевский – мистик, а Салтыков-Щедрин – либерал, или наоборот.

Зависть – вполне реальная и общечеловеческая черта. После грехопадения, зависть, ревность, честолюбие подтачивали не только русскую, всеобъемлющую душу. Но к западу и к югу от Рейна, в особенности в англосаксонском мире, всем ведомо, что если один модный писатель начнет подсчитывать промахи другого, то делает он это совсем не по соображениям благородной незаинтересованности. (Даже ссора молодого Толстого с Тургеневым пример того же порядка.)

Зная все это инстинктом воспитанных людей, англосаксонские писатели вообще воздерживаются от критических выступлений по адресу своих соперников.

Впрочем, кроме низкого уровня культуры и дурных русских нравов, тут налицо еще одно обстоятельство, которое следует отметить... Судя по свидетельству весьма авторитетных, хотя и заинтересованных лиц, никто по-русски не пишет правильно. Получается, что грамотно на нем пока еще невозможно изъясняться: иными словами, этот язык еще находится в стадии образования, развития.

Великим, могучим, совершенным я назову язык, который знают в совершенстве академики, а не мужики; великий, могучий, культурный язык должен иметь вполне законченный академический словарь, переиздающийся с дополнениями каждые пять-десять лет... (Старое издание можно купить на рынке за гроши.) Увы, это все достояние только англичан, французов, американцев. (Кстати, архаичный Даль ценился тогда на вес золота.)

«Колесо» прибыло из Берлина, где печаталось, и Осоргин пошел со мною в книжный магазин «Москва»; он один догадывался, что творилось с Яновским, сам я не понимал, что счастлив.

Парижская сырая зима, мокрые улицы возле Медицинской школы; рядом со мною заслуженный писатель:

стройный, – хочется сказать гибкий, – в какой-то заграничной, итальянской широкополой шляпе, весьма похожий на Верховенского (старшего). На рю Мэсье-ле-Прэнс мы вошли в бистро и выпили по рюмке коньяку, трогательно чокнувшись. Все, что мы тогда делали, я теперь понимаю, было частью древнего ритуала.

В «Москве» нас встретил озабоченный и вовсе не романтической наружности гражданин с бритой головою и в тесном берете. Нам вынесли высокую стопку «Колеса» – живые, еще пахнущие типографией листы. Заглавие на обложке было набрано западным шрифтом: буква «л» оказалась опрокинутым латинским «v»… Это была идея Осоргина, и он гордился ею.

Я же считал все вопросы касательно обложки, красок и расположения текста смешными, не относящимися к сути дела.

Михаил Андреевич достал из кармана список лиц, которым я должен был, по его мнению, послать книгу, и я начал вкривь и вкось выводить – «на добрую память… с уважением». Забавно, что Ходасевичу, с которым Осоргин пребывал в ссоре, мы не послали «Колеса».

В серии «Новые Писатели» до меня вышла еще книга Болдырева «Мальчики и Девочки». Предполагался еще «Вечер у Клэр» Газданова, но Черток перебежал дорогу и получил рукопись для своего издательства («Парабола»).

Газданов, маленького роста, со следами азиатской оспы на уродливом большом лице, широкоплечий, с короткой шеей, похожий на безрогого буйвола, все же пользовался успехом у дам. В литературе основным его оружием, кроме внешнего, словесного блеска, была какая-то назойливая, перманентная ирония: опустошенный и опустошающий скептицизм.

Я никогда не мог признать самостоятельной ценности юмора и сатиры. Помню, как я возликовал, когда впервые услышал от Шестова:

– С каких это пор смех – аргумент?..

Болдырев, вскоре после издания своей повести, покончил самоубийством. (Звали его еще, кажется, Шкотт: мать его была шотландкою, что ли…)

С мягким, в общем, очень русским лицом, светлоглазый, медлительный Болдырев начинал всецело под литературным влиянием Ремизова. Он считался отличным математиком и давал частные уроки по этому предмету, чем и кормился. Изредка я его встречал на Монпарнасе в обществе одной не знакомой мне девицы. Однажды я ему сообщил, что предполагается издание нового журнала – не хочет ли он принять участие…

Болдырев посмотрел на меня удивленно, с натугою (в 1941 году в Монпелье я узнал этот взгляд у Вильде, когда я попросил его передать друзьям в «Селекте» привет).

– Нет, это не для меня теперь, – медлительно ответил Болдырев. – Нет, это не для меня.

Мы постояли молча еще с полминуты и разошлись навсегда: через несколько дней он покончил с собой. Как мне потом передавали, Болдырев давно уже хворал, и доктора его уверили, что ему угрожает полная потеря слуха… Глухой, как же он проживет? Это конец. Культивируя в себе английскую отчетливость и шотландское уважение к разуму, он решил, что надо делать безжалостные выводы. И принял соответствующие порошки в надлежащем количестве.

Сколько их, людей, особенно литераторов, погибло на моей памяти, запутавшись в дебрях ложной жизненной или художественной школы. Думаю, что даже весь русский серебряный век мог бы оказаться удачею,

если бы только его главные герои – Вячеслав Иванов, Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Андреев и многие другие – не следовали упрямо за выдуманной ложной школой… А в 19 веке все эти ходоки в народ и певцы заплатанных овчин – от Гоголя до Горького – сплошная жертва собственного, добровольного социального заказа.

– Я не порицаю его, – говорил, волнуясь, Осоргин, закуривая очередную папиросу с русской гильзой, – он прав! Что бы он делал здесь глухой, в этом возрасте? Клянчил бы в Союзе Литераторов?

После панихиды я очутился в обществе двух странных поэтов: Кобякова и Михаила Струве. Объединяла их необычная черта – оба уже пытались кончить самоубийством, но их как-то отхаживали. В «Последних новостях» даже напечатали некролог Андрея Седых, посвященный М. Струве.

– Ошибся маленько Болдырев! – сказал, будто крякнул, Кобяков, и его огромный кадык на тонкой шее дернулся, словно клюв. – Пяти минут не рассчитал Болдырев!

– Да, – рассеянно согласился Струве. – Я тоже так понимаю.

Спорить с этими специалистами не хотелось; что-то их пугало и обижало в решительном прыжке Болдырева.

Таким образом, вся серия «Новых Писателей» фактически свелась к одному Яновскому, и Осоргин сохранил некую отеческую нежность ко мне. Дал все адреса своих переводчиков, и в итоге «Колесо» начали переводить. По-французски оно вышло под заглавием: «Sachka I'Enfant gui a Faim». Только с течением времени, получив некоторые «мертвые» указания от других писателей, я смог оценить услугу Осоргина.

По его совету, я послал «Колесо» Горькому в Сорренто и получил он него два письма, вскружившие мне голову.

В Монпелье однажды Александр Абрамович Поляков, которого я посвящал в тайны белота, передал мне пакет черных маслин, присланных ему Осоргиным, сам Поляков этих залежавшихся оливок не мог или боялся есть.

Я маслины использовал вполне, вымочив их предварительно в вине, и черкнул Осоргину несколько слов благодарности. Получил в ответ длинное письмо – это была наша последняя «встреча».

В Нью-Йорке я узнал о его кончине. Радуюсь, что он умер в родной Европе, в виду Луары, под благословенным галльским небом. Осоргин любил описывать прелести родной Оки или Камы. Но жил он на тех берегах едва ли больше десятка лет. И есть у меня думка: Осоргин в Москве завыл бы от тоски. (Как и многие подлинные эмигранты: Герцен, Тургенев, Гоголь – все разные и в чем-то схожие.)

Мне кажется, что большинство безобразий в истории России объясняются ее отвратительным климатом. Поэты обманывают обывателя, воспевая снега, и мороз – красный нос, и лихую тройку с бубенцами, и жаворонка (высоко, высоко) в синем небе. А ведь, вообще, господа, паскудно жить в России – метеорологически говоря!

Кстати, периодический голод, поражающий Русь (как и Китай) со времен Ивана Калиты до Никиты Хрущева включительно, пещерный голод этот объясняется в значительной мере ее климатом. Подумайте, друзья, ведь есть страны, где собирают ежегодно по два-три урожая. (И березку там не почитают как священное деревцо.)

На пасху я получил письмо от Алексея Михайловича Ремизова – в ответ на мое «Колесо». Трудноразбираемая, своенравная кириллица удостоверяла: «У Вас есть

лирика, без нее не знаешь как прожить на этой земле»… Затем следовало приглашение: такой-то день, такой-то час.

Все воспоминания о Ремизове начинаются с описания горбатого гнома, закутанного в женский платок или кацавейку, с тихим внятным голосом и острым, умным взглядом… Передвигалось это существо, быть может, на четвереньках по квартире, увешанной самодельными монстрами и романтическими чучелами. Именно нечто подобное мне отворило дверь еще в доме на Порт-Руаяль и проводило в комнаты.

Но увы, чувство неловкости зародилось у меня тогда же и только росло, увеличиваясь с годами. Часто, часто я просто не мог смотреть Ремизову в глаза, как бывает, когда подозреваешь ближнего в бесполезной и грубой лжи. Сперва неосознанным образом, но постепенно все определеннее, я начал понимать, что именно раздражает меня в Ремизове и в его окружении… Какая-то хроническая, застарелая, всепокрывающая фальшь. По существу, и литература его не была лишена манерной, цирковой клоунады, несмотря на все пронзительно-искренние выкрики от боли.

В этом доме царила сплошная претенциозность… Вечные намеки на несуществующие, подразумеваемые обиды и гонения. Все «штучки» Ремизова, вычурные сны и сказочные монстры, в конце концов, били мимо, как всякий неоправданный вымысел. Он быстро заметил перемену во мне и перестал надоедать своими рисунками, снами и неопределенными намеками. Стал гораздо откровеннее, проще и ближе.

Любопытно, что приблизительно через такое же разочарование прошли многие наши литераторы, вначале обязательно влюблявшиеся в Ремизова: иные даже кончали подлинной ненавистью, не вынося этой ложно-классической атмосферы.

В конце двадцатых в начале тридцатых годов Ремизов был кумиром молодежи в Париже. А через несколько лет о нем уже все отзывались с какой-то усмешечкой и редко к нему наведывались. Как ни странно, о Ремизове часто отзывались таким образом:

– Вот подождите, я когда-нибудь сообщу всю правду про него.

Правды, впрочем, особой не было… Кроме той, что Ремизов постоянно апеллировал к истине и искренности, а сам непрестанно «играл» или врал.

Говорили, что Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, страдавшая сплошным ожирением тканей, оказала на мужа благодатное влияние. Она преподавала древнюю русскую палеографию, и кириллица Алексея Михайловича, да и много других штучек от нее!

Я в жизни часто убеждался, что так называемое «спасительное» влияние дам в действительности почти всегда является попыткою задушить своего спутника под благовидным предлогом. Это верно от Данте с Беатриче вплоть до Оцупа с его красавицей (впрочем, Данте имел еще других, более серьезных поводырей).

Полагаю, что Серафима Павловна ответственна в значительной мере за ханжество, лицемерие и попрошайничество Алексея Михайловича. В их доме никогда ничем, кажется, не поступились для блага ближнего; а к себе Ремизов постоянно требовал евангельской любви.

Жилось им, разумеется, худо, но я встречал нищих и даже бездомных, которые ухитрялись изредка помогать другим. В доме Ремизова старались каждого посетителя немедленно использовать: хоть шерсти клок. Переводчик? Пускай даром переводит. Сотрудник «Последних новостей»? Пусть поговорит с Павлом Николаевичем, объяснит, что Ремизова мало печатают. Богатый купец?… Пожалуй, купит книгу, рукопись, картинку. Энергичный человек? Будет продавать билеты

на вечер чтения. Молодежь, поэты? Помогут найти новую квартиру и перевезут мебель. Доктор Унковский? Должен поправить старую, прогнившую резинку от клизмы: для этого пригодится именно доктор, хе-хе-хе. Кельберин? Передаст Оцупу, что тот приснился Алексею Михайловичу (и все обстоятельства, предшествующие этому событию).

Ибо у Ремизова выработалась неприятная, на границе с шантажом, практика: видеть разных важных персон – во сне! Причем, он мог управлять этими грезами: одни являлись в лестной для них обстановке, а другие – в унизительной. И Ремизов опубликовывал эти сны с комментариями.

Так что Ходасевич даже раз был вынужден написать Ремизову:

– Отныне я вам запрещаю видеть меня во сне! – и это, кажется, помогло.

Ремизов с детства по многим социальным и психологическим причинам почувствовал свою одинокую беспомощность, пожалуй, ничтожность. И оценил значение организации, общества, союза. Присоединиться одним из равных или последних к чужому объединению ему казалось невыгодным… Он придумал собственную «обезьянью» ложу, магистром которой назначил себя; а приятным людям выдавал соответствующие грамоты. Это, конечно, была игра, но, как все в этом доме, – двусмысленная игра!

Гость, усаживающийся за чайным столом у Ремизовых, сразу начинал задыхаться от какого-то томительного чувства… Алексей Михайлович своим московско-суздальским говором, тихим, но таким внятным и четким, точно он чеканил ртом добротную монету, сообщал замысловатую историю, из которой можно было догадаться, что его опять обидели, обошли, подвели.

Само собою подразумевалось, что все благородные и умные люди только и ждут случая, что бы вступиться

за Ремизова. Предполагалось, что весь мир в заговоре против хозяина, а мы, теперь собравшись, обсуждаем меры противодействия силам тьмы и зла. Невольно каждый начинал себя чувствовать заговорщиком, что и создавало удушливую атмосферу лжеклассической драмы.

Алексею Михайловичу совсем не жилось хуже, чем другим писателям его поколения. Он занимался исключительно своим любимым делом и жил в оплаченной, правда, с опозданием, квартире, с кухней и ванной.

Писал он много, очень много, так как редко выходил из дому, и, по слабости зрения, читал все меньше и меньше. Думаю, что после него осталось больше сотни ненапечатанных книжек: пересказов былин, снов, дневников и повестей. Но и издавал Ремизов изрядно: во всяком случае, не меньше Зайцева, Цветаевой или Шмелева. Так что опять-таки его беда являлась частью общей эмигрантской болезни.

Иногда при мне он заканчивал какую-нибудь запись, близоруко переписывая ее в последний раз: тщательно выводя каждую букву отдельно… Это действовало на случайного свидетеля, заражая его энергией мастерства! Полуслепой, плотный карлик, припавший выпуклой грудью к доске стола, строчит: дьячок московского приказа, быстро, быстро пишет, выговаривая губами отдельные слоги.

Уходя от него после такого урока, хотелось немедленно сесть за рукопись и вот так, смачно «ощупывая» ртом всякую букву, пропустить текст через сито ремесленного искусства.

Он учил нас обращать внимание не только на слова, но и на слоги или буквы, учитывая соотношение гласных и согласных, шипящих, избегая жутких русских причастий, вроде: кажущийся, чертыхающийся, являющийся и т. д. и т. д…

– Я видел ваш почерк, – весело, на ходу, занятый более важными гостями, бросил мне Ремизов при первом визите. – Надо выписывать каждую букву отдельно, в этом секрет хорошего письма.

О «Воспоминаниях» Бунина часто отзывались с возмущением… В самом деле, ни к одному из своих современников он не отнесся с участием (одно исключение, кажется, Эртель).

Но то же самое проделывал и Ремизов: всех разносил, ругал и порицал. С той разницей, конечно, что был он типичным неудачником, без Нобелевских медалей, и ему должно прощать известную долю завистливой горечи.

Все писатели, разумеется, не знают русского языка и берутся не за свое дело… Особенно доставалось тем, кому хоть немного везло, – Бунину, Сирину. Ремизов хватал очередную книжку «Современных записок», где тогда без перебоя, из номера в номер печатался Сирин, и, читая вслух старательно подчеркнутую фразу, например, «От стихов она требовала ямщик-не-гони-лошадиного…», возмущенно жаловался: – Вот давно избитое выражение «цыганщина», «романс» он заменяет строкой из пошлой песни и думает, что состряпал нечто новое! А все потому, что берутся не за свое дело.

В его злобном отношении к Бунину чувствовалось нечто классовое, сословное. Даже когда Осоргину, благоговевшему перед Ремизовым, привалило счастье и он сорвал десяток тысяч долларов в Америке, Алексей Михайлович немедленно обиделся…

В этих рейдах против врагов Серафима Павловна его молчаливо поддерживала. Вся она расплылась от волн жира… Без шеи, лицо, пожалуй, сохранило черты былой миловидности… детский, маленький носик.

Несмотря на свою ужасную болезнь, сущность которой заключалась в том, что она все превращала

в жиры и откладывала их, или, может быть, по причине болезни, Серафима Павловна беспрерывно что-то жевала. Она ежедневно проводила несколько часов в магазине друзей, помогая у кассы и уничтожая гору изюма, пастилы, орехов.

Популярность у молодежи льстила Ремизову; на этой карте он удачно обошел Бунина. Одно время за его воскресным чаем собиралось человек тридцать новых литераторов. Но продолжалось такое оживление не долго. Уход молодежи оставил еще одну язву в обиженном сердце.

У Ремизова я познакомился с Замятиным после его приезда в Париж. Впечатление осталось: крепкий, целеустремленный ремесленник.

Покинув СССР, Замятин, однако, вел себя с примерной осторожностью, не желая или не умея порвать с потусторонней властью. От него ждали пламенных слов, смелых обличений – обвинительного Акта… Чего-то среднего между Золя и Виктором Гюго. А он читал на вечерах свою «Блоху» (из Лескова) и сочинял сценарии для «русских» фильмов во Франции: «Les Batelliers de Volga»[41]. Он рассказывал о московских писателях. О Шолохове сообщил, что во втором томе «Тихого Дона» автор, по-видимому, использовал чужой дневник. Твердо помню, что речь шла только о втором томе и отнюдь не о «Тихом Доне» в целом.

Тогда еще были живы многие писатели, замученные Отцом Народов (увы, только ли Отцом), Мандельштам, Бабель, Зощенко, Пильняк… Замятин догадывался о ждущей их судьбе, но этой темы он не касался. Знаю, что он дорожил успехом «Блохи» в Москве и все еще получал оттуда деньги. Над его письменным столом

---

[41] Бойцы Волги (*франц.).*

в Пасси висел большой советский плакат «Блохи». И своего «Обвиняю» или «Проклинаю» он так и не произнес.

Клеймить его грешно: так вели себя и другие сочинители, попадавшие проездом в Париж: Бабель, Киршон, Пастернак, Федин, В. Иванов, А. Толстой.

В русской классической литературе есть разные образцы высоких подвижников: старец Зосима, Платон Каратаев, Алеша Карамазов… Это святой жизни личности, но понятия о чести они не имеют! Ибо над западной, католической честью (honneur) наши художники старого стиля считали обязательным глумиться, как и над французиками и полячишками. Посмотрите, сколько все-таки примерных бар, не только крестьян в «Войне и Мире», и ни одного стоящего француза. Наполеон с маршалами и все другие иностранцы говорят сплошную чушь, с ложным пафосом… И это у Толстого. А Достоевский – уже неприличный пасквиль или клюква!

Задолго до большевиков начали на Руси издеваться над такими буржуазными условностями, как честь и достоинство личности. До христианства и гоголевского православия не докатились, а «гонор» профуфукали: не только фактически, но что хуже, и в идеале – метафизически!

Русский мужик, как и боярин, испокон веков верил, что от поклона голова не отвалится, а покорную голову и меч не сечет, и тому подобную мудрость. Танцует Хрущев гопака вокруг стола Отца Народов и думает: «Быть мне помощником письмоводителя!» А другие кандидаты смотрят на него с одобрением и завистью.

После внезапной смерти Замятина Ремизов мне сообщил:

– Вчера я видел во сне Евгения Иваныча… Нос у него совершенно сплюснутый, раздавленный и оттуда кровь капает. Я понял – это душа Зямятина… Хрящ

перебит, и густая, темная кровь течет. Понимаю: страдает очень, а помочь нельзя, поздно! Он сам искалечил себя «Блохой» и тому подобным успехом.

Передаю по памяти, уверен, что среди бумаг Ремизова сохранилась соответствующая запись. Алексей Михайлович не забывал таких снов и не сжигал своих блокнотов.

Раз я не явился на его очередной весенний вечер – с какой яростью он меня потом ругал:

– А билетом моим, что я вам послал, вы в клозете подтерлись, подтерлись! – со жгучей обидой повторял он, точно речь шла Бог весть о каком кощунстве. (Билеты свои Ремизов подкрашивал и подклеивал рождественской мишурою всю зиму.)

После выхода в свет моего романа «Мир», главы которого он читал в гранках, Ремизов похвалил в нем только одно неприличное место:

– Это хорошо, что кот съел, – блаженно улыбаясь сквозь толстые стекла, говорил он. – Я вчера показал это описание Мочульскому и тот просто ужаснулся: а ведь сам, небось, шалун… Я тут иногда смотрю на гостей и думаю: как ты, голубчик, все делаешь дома? – опять загадочно ухмыльнулся он.

Разные его позы – гнома, колдуна, болотного попика, недотыкомки – были игрой, обязательной данью того времени. Тут и Блок, Лесков, «Мелкий бес», Мельников-Печерский со всеми Ярилами и Перунами.

– Читайте мою «Посолонь», – советовал он поклонникам. – Там вся тема.

Я возражал, что, вероятно, Флобер со своим методом каторжной работы и «чистки» тоже повлиял на Алексея Михайловича. Ремизов осклабился:

– Это, что и говорить, это верно, но это потом. А начало свое, в «Лесах» Мельникова-Печерского.

(«Ремизов – почти гений, а учился у скверного писателя», думал я с удивлением.)

Усвоив огромный опыт нужды, Алексей Михайлович больше всего негодовал, когда на его скромную просьбу отвечали: «нынче всем худо». Это он считал пределом эгоизма и лицемерия.

Во время бегства из Парижа мне пришлось таскать с собою повсюду щенка, подброшенного нам в Тулузе. И люди кругом, беженцы негодовали, а иногда и затевали драку под предлогом, что «теперь не до собак, детки гибнут»… Тогда я вспомнил и оценил вполне эту ремизовскую ненависть к обывательскому «нынче всем плохо»!

Как-то летом, во время каникул, когда все в отъезде, Фельзен начал по воскресным вечерам ходить к Ремизову с визитом. Туда же являлась одна его дама сердца. Посидев немного, они уже вместе отправлялись дальше.

А зимой на мой вопрос, почему он перестал бывать у Алексея Михайловича, Фельзен сообщил:

– Ноги моей у этого ханжи не будет больше! Звоню, отворяет дверь сам Алексей Михайлович и сразу говорит: «А знаете, Николай Бернгардович, у меня не дом свиданий».

– Ну! – ахнул я. – Что же вы?

– Я ничего, – снисходительно рассказывал Фельзен, и я понял – он прав, именно так надо себя вести! – Я ничего не ответил, – уверенно продолжал Фельзен. – Прошел, как полагается в столовую, там уже сидела Н. Н… Поздоровался со всеми, поболтал минут пять и вышел. Больше ноги моей у него в доме не будет.

Ремизов тоже передавал мне этот эпизод со смесью гордости и страха.

– Вот вы это поймете! – несколько раз повторил он таким тоном, что я подтвердил:

– Конечно, вы правы, Алексей Михайлович.

IX

В те героические годы в Париже процветал «Союз писателей и поэтов» – организация молодых… А «Союз писателей и журналистов» состоял уже тогда из стариков, полудоходяг.

Председателем нашего Союза часто избирался Софиев. Поручик или корнет артиллерии (гражданской войны), он происходил из семьи кадровых артиллеристов, кажется, Михайловского училища; дед его – Бек-Софиев – полковник, еще был магометанином.

Стихи Софиева не лишены гумилевской нотки. Был он отличным товарищем, несмотря на естественную склонность к интриге и смуте. Рыжеватый блондин с кудрями, несколько похожий на древнего галла, он зимой, на рассвете, мыл стекла окон больших магазинов и контор со стороны улицы: кожа его рук об этом свидетельствовала. Поднаторев на мучительной работе, Софиев вполне проникся классовым сознанием, на всех наших собраниях (и даже внутреннего «Круга») он защищал интересы трудового народа…

К религиозным вопросам оставался нечувствительным. Но обожал песню, стакан вина в кругу друзей и по-гусарски просто влюблялся. Летний отпуск он проводил на велосипеде; жена – Ирина Кнорринг, тяжело болевшая диабетом, не могла его сопровождать. Возвращаясь опять в Париж, Софиев привозил вместе с памятью о виноградниках и замках на Луаре какую-нибудь вполне невинную романтическую историю… Восхищался западной готикой, церквями, каменщиками и всем колдовством «закрытого» средневекового общества. Был у них сынишка, раз при мне сказавший: «Надоело спать…» И еще: «Негрщик пришел» (то есть угольщик)…

Софиев теперь в Средней Азии (если еще жив); Ирина Кнорринг давно умерла, а мальчик их, вероятно,

уже среднего возраста дядя, глава семьи и проч. (Жизнь, можно утверждать, продолжается.)

После победы парижские эмигранты (не все) пошли на поклон в советское посольство: Софиев, разумеется, был с ними… Он подобно Ладинскому – тоже боевому офицеру – не только взял паспорт, но и честно уехал в Союз… Затем, несмотря на свой уже полувековой возраст, Софиев отправился «добровольцем» в экспедицию за Урал (Ладинский все же умер в Москве; там же обретаются Любимов и Рощин, но это уже люди совсем иной формации).

В архиве нашего Объединения хранились разные интересные документы; в какой-то год меня избрали секретарем Союза и я тут же спросил Софиева, где эти «исторические материалы» (например, заявление Горгулова-Бреда о поступлении в наш Союз; помню выражение в конце письма: «Точка, как бочка»)…

– Я их храню отдельно, чтобы не пропали, – заверил меня Юра.

Где теперь эти уники, не знаю.

Софиева после очередной склоки обычно мучили угрызения совести, отсюда его покаянная жажда дружбы, любви, доверия.

Нас во внутреннем «Круге» он старался любить. По коренным чертам характера ему было легко словом, шуткою «предать» ближнего… Но как он винился потом и сожалел, а мы ему верили!.. Верили не тому, что он отныне будет «верным мужем, хорошим отцом, близким другом», а тому, что в сущности именно этого Юра жаждет.

Как председатель Объединения Софиев бдил за единством молодой зарубежной литературы… Он ставил себе целью подобно Ивану Калите «собрать и организовать» всех писателей и поэтов на чужбине сущих – под культурным водительством Парижа. Этот

государственный (имперский) пафос нас смешил, но все же изредка служил причиною лютых междоусобных (удельных) войн, угрожавших благополучию монолита.

Так Терапиано с Раевским затеяли новый поэтический кружок и журнал «Перекресток». (Название это предложил Давид Кнут: «Мы сошлись на перекрестке».) Предполагалось ориентироваться на Ходасевича («Формальный метод»). Ясно, что ни Поплавский, ни Червинская туда не пошли.

Состоял «Перекресток» из пяти-шести человек; самым ярким из них, кажется, был Смоленский (Раевский, брат Оцупа, в то время часто ронял такую фразу: «Я и моя группа»)…

Вот против них-то и ополчился Софиев, клеймя попытку разбить «организационное единство». Впрочем, группа эта сама собою вскоре рассыпалась и без особых заслуг со стороны Софиева. Лучшее что осталось от «Перекрестка», полагаю, тетрадь, куда члены кружка записывали коллективные стихи огорченных и веселящихся поэтов. Помню эпиграмму на меня (автор, кажется, Смоленский):

Блажен прозаик, отстранивший лиру,
Он легкой музыкой несом:
То «Колесом» прокатится по миру,
То «Мир» прокатит колесом.

Кстати, прозаиков в «Перекрестке» почему-то представлял Алферов; он появился на Монпарнасе с одним рассказом «Дурачье». И больше, пожалуй, никогда нигде не обнародовал. Иванов его прозвал «Восходящим светилом малярного искусства». Ибо кормился Алферов именно малярным ремеслом (а в то время другой «живописец» – за Рейном, – добился уже полного признания).

Действительно, Алферов вскоре встретил милую и богатую русскую барышню из правого лагеря и как подающий надежды сотрудник «Чисел» без труда обвенчался с нею… Он зажил сложной, обеспеченной жизнью человека делового, вспоминая, вероятно, с ужасом свое монпарнасское прошлое.

Впрочем, многие литераторы продолжали навещать его в книжном магазине, поддерживая связь. Поначалу он охотно помогал мелочью пристававшим сверстникам, но постепенно такая роль ему, разумеется, надоела. (Мне Алферов по первому слову однажды вручил несколько сот франков на квартирный «терм», сделал это легко, просто и без напутственной проповеди.)

Было в нем что-то старинно-русское, мягкое, вернее, славянское, «откровенное» и, естественно, талантливое, так что его успех у барышень вполне оправдан. А литература его не вышла! Искусство профессиональное – вещь противоестественная.

Беседовать с Алферовым было приятно, но не интересно – проза, как кредитный билет, требует наличия настоящего золотого запаса; только поэзии позволительно быть глуповатой.

Случилось, что Алферов наконец отказал в какой-то мелочи упорно надоедавшему приятелю НН… Последний это пережил как разочарование мирового порядка. Оказывается, уверял НН., он ходил к Алферову так часто единственно чтобы защищать его от налетов бесцеремонных знакомых. (Иначе говоря, НН. боялся, что без его советов и помощи Алферов раздаст всем свое имущество… В этом анекдоте много характерного для парижан 30-х годов.)

Судьба Варшавского в Париже была исключительная: все его любили и даже уважали. Причем не только как человека и гражданина, умного собеседника или благонамеренного демократа, но именно как писателя,

беллетриста… А ведь за все довоенные годы он напечатал только два рассказа: книгу свою он написал уже после войны.

С легкой руки Адамовича – особенно ценившего именно то, что ставило под сомнение дальнейшее существование литературы, – Варшавского называли «честным писателем». Под «честным» в то время подразумевали серьезный, без выдумок, правдивый, на манер Толстого… Причем забывали, что сам Толстой, кроме честности и гения, имел за собою еще сумасшедшую фантазию: он постоянно искал не только Бога, но и новых форм – от «Холстомера» до «Истории фальшивого купона». Встреча Нехлюдова с Катюшей на суде тоже может показаться «надуманной».

Мне эпитет честный по отношению к писателю напоминал главу из «Записок писателя», где Достоевский высмеивает французов, в один голос твердивших, что Мак-Магон «храбрый генерал»!

– Когда про генерала можно только сказать, что он храбрый, то это означает, что генерал сей особым умом не блещет… (Цитирую по памяти.)

Вот нечто подобное мне чудилось всегда за упорно повторяемым эпитетом «честный» (и ничего больше) относительно беллетриста.

– Что ж, написал один рассказик и всю жизнь будет считаться писателем! – возмущался Поплавский, где-то с Варшавским не поладив.

Варшавский внушал доверие своей «скромностью», подчеркнутой совестливостью, ложной растерянностью, смесью принципиальности и деликатной уступчивости.

Мысли его, не всегда оригинальные, были из лучших источников: Бергсон, Толстой… И высказывал он их с такой откровенной взволнованностью, что нельзя было не проникнуться симпатией к этому милому молодому человеку.

Раз после доклада Варшавского кто-то из публики крикнул: «Лошади едят сено!..» И Адамовичу стоило большого труда потом убедить слушателей, что даже такая простая истина не лишена ценности в наш век!

И никто, кажется, не догадался, что Варшавский больной мальчик, что он родился левшой, которого «переобучили». Что он органически не в состоянии «закончить» работу, будь то собственный рассказ или чужое философское сочинение.

Прожив много лет без отца, в одной комнате с матерью, Варшавский упорно искал «героя», отдавая себя чересчур охотно под покровительство то Адамовича, то Фондаминского, то Вильде, то о. Шмемана или Денике и многих других. «Влюбленным» он мог быть одновременно в нескольких и слушался своих наставников не за страх, а за совесть, что последним почти всегда нравилось. Варшавский честно участвовал в «смешной» войне и, вернувшись из плена, был удостоен французской военной медали. Впоследствии, возмужав, он написал и издал две ценные книги…

Кроме удачной женитьбы Алферова припоминается мне еще один буржуазный монпарнасский брак… Адамович привел к нам именно с этой целью дочь Стравинского. И Юрий Мандельштам с ней обвенчался. Новобрачная хворала туберкулезом, совсем как в романах 19-го века: через непродолжительное время она скончалась, оставив мужу младенца, девочку.

В 1937 году, кажется, я проезжал на велосипеде по Эльзасу и вблизи Кольмара наткнулся на Юру Мандельштама; там, на горе Шлютц (или что-то фонетически похожее) я подержал на руках сверток с его дочкой – четверть века тому назад. Говорили мы о Грюневальде, которого я тогда «открыл».

Мандельштам был очень предан литературе и писал с большим рвением главным образом серые стихи. Играл он с азартом в шахматы и бридж, но прескверно.

Адамович, критик, можно сказать, мягкий, тактичный («музыкальный») после десятилетия творческой деятельности Мандельштама раз написал в своей очередной рецензии: «Кстати, право, еще не поздно Мандельштаму начать подписывать свои стихи каким-нибудь псевдонимом…» (цитирую по памяти).

Но Мандельштам не собирался отказаться от своего имени. Родители его – москвичи, милейшие люди – души не чаяли в сыне и дочке (Татьяне Штильман). Из всей семьи только Юра принял православие, пережив соответствующий религиозный опыт; и он же один погиб в немецком лагере. Произошло это как ни странно в связи с бриджем… Юра обожал карты, хотя больших способностей в игре не проявлял. Раз вечерком он пробрался из своей квартиры на следующий этаж (в том же доме) на квартиру другого сотрудника газеты «Возрождение». Там вчетвером сели за карты. А Мандельштаму, между прочим, как еврею «по расе», полагалось после 8 часов сидеть дома.

Полиция случайно нагрянула и арестовала нарушителя закона. Юрия Владимировича увезли в лагерь Компьень, где он имел еще возможность общаться с матерью Марией и Фондаминским. Затем они все исчезли. Какой набор бессмысленных случайностей!

Мандельштам принадлежал к «группе» Терапиано. Многие начинающие поэты, в том числе и Смоленский, отдавали себя под опеку Терапиано. Но, расправив собственные крылья, они поспешно отделывались от лишнего груза и часто платили Терапиано черной неблагодарностью… Однако Мандельштам до конца остался верным своему патрону.

Софиев мечтал о том, чтобы собрать в одну организацию все кружки зарубежной литературы, а Терапиано стремился обучить их мастерству стихосложения – на свой салтык. Тень метра, строителя стихов, Гумилева,

Брюсова не давала покоя Терапиано, и это тем более досадно, что, не касаясь его поэтического дара, шармом или магией он никак не обладал.

Был Терапиано внешне тускловат; стихи он любил и по-видимому знал. Но к прозе на редкость был глух! Молодым поэтам, если они признавали его авторитет, он старался услужить.

Под крылом Терапиано начинал Смоленский (в лагере Ходасевича)… В характере Смоленского было нечто объединявшее его с Ивановым и Злобиным – моральное гнильцо. Но умом или даром Иванова он, конечно, не обладал. Смоленский умел с толком и смаком повествовать о собственной смерти. Эта тема казалась ему и трагической, и значительной. Но в противоположность Иванову или Мережковскому, тоже распространявшихся на этот счет, Смоленский, действительно, скончался молодым, что, увы, задним числом объясняет многое.

Гимназистом Смоленский влюбился и сочетался законным браком с румяною, полногрудою девицей. Тогда он пел стихи о «ласточке белогрудой»… Постепенно заинтересовался водкою, разошелся с женою. Хорошенький, смуглый мальчик во фраке, кокетливо поигрывая бедрами, декламировал с эстрады о «пьяном поэте» и что «каждая ночь бесконечна».

Знакомясь с дамою, он довольно грубо тут же начинал приставать к ней. Восседал у «Доминика» «на жердочке» и, чокаясь, порочно улыбался. А то вдруг затевал ссору с хорошенькой, туберкулезно-миниатюрной А.

– Вот это новая Анна Каренина, – глумился он… А. еще больше бледнела и кусала свои крошечные красные губы.

– Я вам сейчас морду набью! – крикнул я раз при свидетелях. – Выйдем отсюда…

Смоленский был, пожалуй, поэт maudit[42], но трусливый поэт maudit. Кривясь, он, однако, ничего

---

[42] Проклятый *(франц.)*.

не ответил. Через несколько дней «Анна Каренина» мне неожиданно сказала:

– Я вас считаю принципиальным человеком.

Вообще говоря, наши литературные дамы не были приспособлены к грубым формам жизни. Трудные условия быта, бессонница, плохое питание, табак и, главное, ежеминутное выяснение отношений убивали многие нормальные физиологические поползновения. В сексуальном отношении они становились одновременно и жертвами, и вампирами. Марья Ивановна, жена поэта Ставрова, часто жаловалась: «Говорят, что на Монпарнасе происходят оргии. Ну, переспят друг с другом, подумаешь, оргии!»

Все же Ходасевич счел возможным по этому поводу разразиться стишком:

Сквозь журнальные барьеры
И в Париже, как везде,
Дамы делают карьеры,
Выезжая на метле.

Однажды в «Селекте» к соседнему столику приблизились две «обыкновенные» девицы: с ляжками, икрами и прочими, как полагается, нормальными атрибутами. И Адамович, улыбаясь вполне бескорыстно, заметил:

– Боже мой, если бы к нам вдруг попали такие две банальные тетки, какая чудесная метаморфоза произошла бы в наших поэтах.

Перед войной на Монпарнасе начала появляться красивая сухая блондинка, новая невеста, затем жена Смоленского. Говорили, что она религиозно настроена и собирается «спасти» поэта. Может, она его, действительно, спасла. Но при оккупации он, как и Мережковские, Иванов, Злобин, идеологически расцвел. После победы парижане одно время их всех бойкотировали. Так, в их первом сборнике «Четырнадцать» (или «Тринадцать»?) ни Смоленский, ни Иванов, ни Одоевцева,

ни Гиппиус, ни Злобин не участвовали и не могли участвовать. То же в «Эстафете»!

У Convention, чуть ли не напротив редакции «Чисел» жил В. В. Руднев. Я любил эту бездетную, тихую, приветливую чету русских интеллигентов, народников, либералов и прочее.

Однако роль Вадима Викторовича в «Современных записках» казалась мне вредной.

Руднев не скрывал, что стихов он не «понимает», и он не вмешивался в отдел лирики. Но о прозе и он, и другие редакторы, увы, имели определенное мнение…

– Вот Вадим Викторович верующий православный, – с облегчением объяснял Вишняк, – а он вполне согласен со мною, что эту метафизику печатать не следует!

Правда заключалась в том, что Руднев, связанный бытовым образом с русской церковью, считал, однако, что религиозные вопросы не являются предметом рассуждений или споров. Вера – это личное дело человека! Высказываться на эту тему при посторонних даже неприлично…

За стаканом красного вина с неприхотливою закускою мы старались мирно беседовать, не слишком раздражая друг друга; по существу я уважал в нем честность, стойкость, неподкупность и какую-то особенную, давно исчезнувшую «старорежимную» бескорыстную чистоту. Связывала нас и медицина: он был московским, кажется, земским врачом и понимал лекарскую деятельность вроде некоего служения… Трогали Руднева, вероятно, и чрезмерные лишения, выпавшие на долю всего моего поколения.

Его жена, низенькая, коренастая – типичная русская женская фигура – с ясным «честным» взглядом, мирно прислушивалась к нашей беседе. Благодаря медицине, в каждой стране, куда меня забрасывала судьба, я сразу

попадал в гущу реальной коренной жизни и видел подоплеку, скрытую от глаз иностранных наблюдателей. Мой опыт иной раз мог показаться интересным.

У Руднева, помню по рукопожатию, был какой-то дефект в пальце, кажется, недоставало части правого мизинца. Детей у них, как полагалось в той среде, не было. Чем это объяснить, не знаю, но факт, что Вишняк, Николаевский, Зензинов, Алданов, Фондаминский и многие, многие другие никогда живого потомства не производили, мне кажется совершенно поразительным и требующим истолкования.

После бегства из Парижа Руднев долго хворал в По; его оперировали, но безуспешно. Умер, как полагается русскому революционеру, в ссылке, непрестанно хлопоча о других (помогал и мне с визою). О его последних днях хорошо рассказывала Извольская, жившая тогда в По.

Похоронив мужа в Пиренеях, вдова Руднева перекочевала в Нью-Йорк, где я ее на первых порах изредка встречал. Она пробовала меня приглашать на свои воскресные завтраки, где бывали ее старинные товарищи вроде Вишняка и Зензинова… Но из этого общения ничего путного не получилось: я как-то мимоходом ругнул очередной роман Алданова, и меня тут же с позором вывели из-за стола. Алданова в своем кругу еще можно критиковать, но не дай Бог при посторонних.

Раз я очутился в помещении русского нью-йоркского клуба «Горизонт» на докладе знаменитого голлиста… После перерыва, втягиваясь опять к своему месту в креслах, я вдруг столкнулся с Рудневой, шедшей в другом людском потоке.

– Как поживаете? – успел я бодро осклабиться и, не дожидаясь ответа, прошел дальше, увлекаемый толпой. И вдруг до меня донеслось:

– Плохо, очень плохо!

И нас развело потоком. Я даже рассердился: ну, зачем такое говорить! Вряд ли ей хуже, чем другим. «Нынче всем плохо». Однако я решил на днях звякнуть, спросить, условиться…

Несколько месяцев спустя она умерла – внезапно, на улице. Руднева работала в швейной мастерской. Изредка ходила в театр: обожала музыку. Вот, возвращаясь ночью из Карнеги Холла, она упала на Вест 72-й… Ее подобрали, нашли в кармане адрес М. С. Цетлин, живущей рядом, на той же улице. Полиция позвонила, но Мария Самойловна, глухая и больная, уже улеглась в постель. Она дала адрес Зензинова.

Зензинов у последних эсеров считался единственным человеком дела, решения, «акции», даже пистолета! Это он, кстати, в свое время прозевал Азефа и позволил улизнуть из Парижа; это Зензинов упустил Касьянкину в пору ее первого бегства, еще на Толстовской ферме, так что чекисты увезли ее в консульство, откуда она уже «прыгнула».

Всякий раз, когда стареющим эсерам нужен был «мужчина», они обращались к Зензинову, прослывшему у них «старой девой». Так и теперь, Мария Самойловна дала полиции телефон Владимира Михайловича.

И Зензинов, честнейший, скромнейший, принципиальнейший Зензинов, торопливо оделся и пошел темной ночью опознавать труп Рудневой, которую, вероятно, еще знал русой бестужевкой полстолетия тому назад. («О, Боян, соловей старого времени, кабы ты эти полки воспел!»)

Из редакции. «Чисел», или от Рудневых, я доходил пешком до Порт де Версай, откуда трамваем к себе в Ванв, на стыке с Кламаром.

В Кламаре жила многочисленная и крепкая семья «Черновых» – дочки Чернова вышли замуж за Резникова, Сосинского и Вадима Андреева. Колония «Черновых»

жила дружно, хотя бедно, и Сосинский с Андреевым, пока не взяли советских паспортов, считались «глубоко своими» и участвовали в «Круге».

Работали «Черновы» в типографии, пописывали и очень увлекались теннисом. Им удалось за гроши арендовать теннисную площадку. Там на калитке ограды висел их замок с секретным шифром: «Христос Воскрес Теннис Кламар». То есть, чтобы отомкнуть, надо было сперва щелкнуть букву «Х», потом «В» и т. д. Тогда ларчик просто отпирался. Знают ли в «Союзе» об этом тайном эмигрантском коде?

Рядом с «Черновыми» жил Бальмонт с дочкою Миррой, несколько раз выходившей замуж. Общаться с поэтом уже было трудно.

День рождения Бальмонта… Лето, по-видимому, август: дорожки садика полны лепестков осыпающихся бледных роз. Чтобы отметить праздник этот поблекшей изысканности русской медлительной речи, «Черновы» соорудили для него послеобеденный чай – вина Бальмонту нельзя было давать.

У опустошенной клумбы сидит поэт с неряшливой, но львиной гривой. Одуряюще пахнет французскими цветами. Дряхлый, седой, с острой бородкой, Бальмонт все же был похож на древнего бога Сварога или Дажебога, во всяком случае нечто старославянское. Земля кругом покрыта сугробами розовых лепестков; Сосинский хозяйственно собрал ведро этого французского летнего снега и преподнес поникшему отставному громовержцу. Чужой каменный божок, Бальмонт сонно улыбнулся, поблагодарил. Когда заговорили о техническом прогрессе, поэт, словно очнувшись, взволнованно заспешил:

– Чем заниматься разными глупостями, лучше бы они отправили экспедицию к берегам Азорских островов, ведь ясно, что там похоронена Атлантида!

На дереве запело, засвистело пернатое создание, и мы, молодежь, заспорили, что это за птица… Когда уже беседовали о другом, Бальмонт, вдруг очнувшись, укоризненно бросил в нашу сторону:

– Пеночка.

И опять я увидел на маленьком чурбане в саду, меж сугробами роз, потрепанного славянского умирающего бога.

Другую, тоже «развенчанную» знаменитость я встретил однажды у Ремизова – Игорь Северянин. До чего плоско все, что он писал и говорил. А какой таинственно-величественный! Стройный, крупный, сильный, любящий коньяки и лыжи; держал он себя с совершенным достоинством. А лоб, лоб, тот, знакомый мне: с невидимым, но угадываемым лавровым венком победителя (хотя бы на час). Я видел такой лоб у Линдберга, Керенского, Сирина, Одена, Кеннеди.

В чем секрет успеха? Вот вдруг тысяча студентов и студенток признают кого-то царем, духовным вождем или парикмахером, романистом, фюрером… А через 25 лет, бывает, просто понять нельзя, стыдно вспомнить про всеобщее ослепление. Король неприлично и естественно гол. Кто прав? Чувствительные солдаты, бросавшиеся в атаку по слову Керенского? Или резонеры, переводившие русские рубли на немецкие марки. И тоже потерявшие все…

«Объединение писателей и поэтов» регулярно устраивало платные большие вечера: парадалле – от Адамовича до Сирина… Но главной приманкой служили чтения в подвалах кафе. Сперва Ла Болле, затем Мефисто. Там происходило нечто, похожее на «Гамбургский счет». И хотя критика подчас бывала грубой, как таран, но все же она творчески насыщала, заряжала. На «интимные» вечера приходили и чужие – дикари, читавшие иногда даже смешные стихи. Так, один мальчик продекламировал: «рука руку жмала».

Числился в Париже немолодой уже поэт, избравший себе псевдоним – Булкин! Когда осведомлялись, почему Булкин, он объяснял:

– Ну, Пушкин, ну, Булкин, какая разница.

У него попадались такого рода строки: «Бегу один в различных направлениях» или «В который раз неверная Далила стрижет Самсона догола»… Был он лысый, с козлиной бородкою, похожий на адвоката или врача времен Аверченко и Санина. Впрочем он торговал, и успешно, бензином. А в разгар войны проделал чудеса храбрости: добровольцем прошел с отрядами генерала Леклерка от озера Чад в Африке до Триумфальной Арки в Париже.

В Мефисто, приехав из Берлина, впервые читал свою беспомощную повесть Борис Вильде. Длинную прозу редко слушали в подвале. Вильде называл себя тогда литератором и поэтом, имел даже псевдоним – Дикой. Читал он с ревельскими ошибками в ударениях, и слушатели запомнили только лирический припев в конце каждой главки: «У художника чахотка, у художника талант». И опять: «У художника чахотка, у художника талант».

Однажды, еще во времена «Чисел», Червинская сообщила мне, что появился новый литератор – «ужасно похожий» на меня… По ее улыбке я понял, что гордиться нечего. Да и вообще такого рода заявления вызывают только горькие чувства.

Вот тогда я впервые услышал имя Бориса Вильде. Уроженец Прибалтики, он приехал в Париж из Берлина и попал в редакцию «Чисел»… Какими-то узами был связан с Андрэ Жидом и передал привет Оцупу от него; или, наоборот, взялся передать записку Оцупа метру.

При свидании через несколько дней мы внимательно рассматривали друг друга, скрывая обычное в таких случаях недоброжелательство. Вильде, вероятно,

слышал – от той же Червинской – о своем мнимом сходстве со мною, и это ему тоже не понравилось. Увы, люди стремятся быть «единственными, неповторимыми».

Вскоре мы встретились уже на Монпарнасе вечером. Он был с бледной девицей, своей будущей женой, и мне не хотелось усаживаться за столик, тратиться на кофе, для разговора по-французски. Впрочем, из наших кратких предыдущих бесед мы уже догадывались, что общего между нами мало.

Став французом, Вильде начал грубовато-бойко изъясняться по-французски. Да и по-русски он подучился в Париже.

– Так я Жиду передам, – кричал Вильде Оцупу, выходя из тесной редакции «Чисел».

Мы с ужасом его оглядывали.

Дело касалось Андрэ Жида, которому Оцуп желал что-то «внушить» через Вильде, поверив в дружбу последнего с метром. Вильде, приехав в Париж, жил одно время у Андрэ Жида в мансардной комнате (для горничных), что давало ему несомненное право обозначать свой адрес – c/o Andre Gide…

Каким образом Борис Вильде познакомился с французским писателем, исключительно скупым и необщительным, для меня тайна, как и многое другое того периода. Вильде до того обретался в Германии и исповедовал радикальные убеждения. Там вокруг передовых блондинистых мальчиков одно время околачивался Андрэ Жид, ездивший и в Россию. Тогда он, может быть, предложил Борису кров, если понадобится, в Париже.

Это составляло почти весь капитал Вильде, с которым он высадился на Гар дю Нор – адрес Жида. И он выжал из него максимум.

Человек в первую очередь активный, деятельный, агрессивный, а не созерцательного склада, он мог бы,

например, пустить крепкие корни в Америке… Жить любил Вильде в меру весело. Ценил хорошее вино, французскую кухню и всевозможных барышень. Это не только не мешало ему сочувствовать подлинным высоким идеалам и бороться за них верою и правдою, но даже как-то помогало ему. Впрочем, в нем было много нерусского.

Итак, Вильде поместил объявление: молодой студент, эмигрант, дает уроки русского языка в обмен на французский, адрес – c/o Andre Gide. На это объявление откликнулась молодая девушка с желтою косою, дочь профессора Сорбонны, по матери полурусская. И Вильде пустил корни в Париже, найдя здесь свою вторую родину, а может, и первую. Женился, принял французскую национальность – операция, которой мы, старожилы, не могли и не желали подвергаться… Успешно осваивал на Сорбонне археологию, кажется, его даже посылали на раскопки. Сильный и умный работник, со связями, он готовился к профессуре; по службе, в музее Трокадеро, он тоже выдвигался.

Затем, как полагается, Вильде на год ушел в армию. Приезжая в отпуск, он неизменно появлялся на наших собраниях загорелый, усталый, похудевший, но физически и духовно зоркий… Он заказывал у гарсона какой-то особый «сержантский» напиток из разных ликеров, не смешивающихся в высоком стакане, плывших густыми радужными кольцами друг над другом. Смеясь, вертя в руках свое французское кепи, говорил:

– Видите, я всегда знал, что буду маршалом… (Он числился Marechal des logis – квартир-мейстером.)

В самом начале, еще до женитьбы, Вильде угодил под автомобиль. Сломали ему только ключицу, но заплатили сравнительно много! Пока он отлеживался у себя в бандажах, его посещали разные литераторы,

и некоторые подружились с ним. Будучи сам агрессивным, Вильде любил людей тихих и даже слабых, помогал им.

Мы с ним сражались в шахматы, и он изредка побеждал. Играл он гораздо сильнее в бридж. Поражало, как он, раскрасневшись от азарта, спокойно, методично сдавал карты… Причем держал колоду в руке не вдоль, а поперек, сдавая широким бортом, не узким, как обычно. Я больше не встречал такой манеры и не знаю, чем ее объяснить. Рядом, случалось, сидел и «стучал» Кельберин; этот зажимал папиросу не между указательным и третьим пальцами, а между третьим и безымянным, что почему-то раздражало.

В Париж – после «Мюнхена» – хлынули беженцы из лимитрофных стран. Среди них был один юноша из Ревеля, которому Вильде на Монпарнасе совал иногда незаметно пятерку… Юноша этот уверял меня, что Вильде замечательный человек.

Поплавский и Вильде как-то волочились за одной и той же русской девушкой. Вот тогда на почве чисто отвлеченного разговора оба кавалера вдруг заспорили и начали угрожающе размахивать кулаками. Поплавский пыхтел, хмурился, сердился (может, больше на себя, чем на противника), а у Вильде глаза неожиданно стали веселыми – с примесью ясного холодка… Чувствовалось, что ему ссора доставляет удовольствие. Что-то нерусское было в этом; да и весь Печорин – не русский.

Юрий Иваск, эстонец по паспорту, мне рассказывал, что он знал Б. Вильде еще гимназистом. Борис будто бы вечером подходил в парке к парочке, уютно устроившейся на скамье, и, осторожно протянув дулом вперед револьвер, говорил: «не желаете ли купить хороший пистолет?» Кавалер, заикаясь, отказывался. Тогда Вильде просил ссудить его пятеркою.

Не могу сообщить, как часто проделывал юный Вильде такие фокусы, но вся картинка эта мне кажется характерною. Что-то от авантюризма, благородного, в нем чувствовалось при несомненном идейном и духовном богатстве. Если бы пришлось искать литературного героя, наиболее близкого по душевному складу к Вильде, то я бы назвал Жюльена Сореля из «Красного и черного».

Все вышесказанное не должно умалить значения жертвы Вильде или бросить тень на его историческую деятельность. Я не иконы пишу, а рапорт, отчет для будущих поколений, и стараюсь показать живого, страстного и очень сдержанного человека… Пунктиром обозначить путь, проделанный героем от ревельского парка до военного полигона в Монт Валери, от гимназического авантюризма до зрелого, расчетливого подвига заговорщика.

Была такая суббота весною – солнце и ветер с Ла Манша, – когда Оцуп решил сфотографировать сотрудников «Чисел». Вильде тоже считался сотрудником журнала, и он с женою пришел в холл отеля, где нас снимали… Она сидела напротив в кресле, пока всю группу размещали, усовещивали, смотрела на нас, а мы поневоле на нее.

В первом ряду устроились бонзы: Мережковский, Гиппиус, Адамович… Червинская пыталась разрешить вековую задачу – оказаться и тут, и там. Ларионов в самый ответственный момент норовил закурить папиросу, что раздражало Поплавского, вообще ненавидевшего «жуликов» и завидовавшего им.

Я в это утро на Marche aux Puces купил зеленовато-голубой, почти новый костюм, и был занят рукавами: слишком длинные, сползали.

Не знаю, о чем думала жена Вильде, пока нас устраивали и дважды снимали, но она отнюдь не улыбалась.

А теперь, рассматривая эту фотографию в 9–10 номере «Чисел», я дергаюсь от боли: совершенно ясно, что все обречены, каждый по-своему…

Кстати, Вильде часто ходил к зубным врачам, и его челюсть изобиловала крупными золотыми коронками, что напоминало о черепе, скелете, остове человека.

Мобилизация в первую очередь касалась Вильде. Унтер-офицер, прошедший регулярную тренировку, он сразу надел мундир… Простоял всю «смешную» войну в Эльзасе.

Приезжал в отпуск. Была в студии у балерины Гржебиной одна голландская танцовщица, ее сестрою увлекся Вильде. Когда граждане «нейтральных» стран вынуждены были покинуть Париж после объявления войны, НН. все-таки продолжала поддерживать с ним связь, а ко времени отпуска Вильде она выхлопотала себе пропуск (дело совсем не легкое!) и прикатила в Париж зимой 1940 года.

Они встретились в студии Гржебиной и ушли на 24 часа. У жены Вильде очутился лишь сутки спустя, вероятно, отлучившись из части на день раньше обозначенного в документе срока – такие вещи он умел устраивать.

Я не могу заставить себя зачеркнуть эти строки, несмотря на уговоры друзей. Мне кажется, что любая неожиданная весть, дошедшая теперь до мадам Вильде, должна доставить ей и радость, как еще одна световая волна от давно потухшей звезды.

Когда мы решали вопрос о приеме Вильде во внутренний «Круг», многие возражали. Говорили – сдержанный, скрытный, чересчур удачливый. Не все ему доверяли. Так что меня с Варшавским отрядили для переговоров с Вильде… Указываю на это, чтобы еще раз подчеркнуть, как трудно современнику оценить по достоинству своего ближнего, будь он хоть трижды героем,

святым или гением! Забраковал же Андрэ Жид рукопись Марселя Пруста.

Итак, мы втроем встретились в кафе на Сен Мишеле. Я хотел сесть на террасе, но Вильде, оглядевшись, повел нас вовнутрь. Я объяснил себе эту конспирацию особенностями его семейной жизни. Когда он улыбался, его нижняя челюсть отвисала и виднелись золотые коронки, как бы подчеркивавшие тяжесть костей, остова… Это чувство черепа, скелета у меня, по-видимому, всегда возникало в его присутствии.

Мы доложили Фондаминскому про наш «серьезный» разговор, и Вильде был принят в кружок: ему этого хотелось.

После развала фронта и падения Парижа я попал в Монпелье. Зимою 1940–1941 гг. Ирина Гржебина мне сообщила, что получила письмо от Вильде: едет в свободную зону, «официально» демобилизоваться, будет в Монпелье. О его бегстве из плена мы уже слышали.

Я встретился с Вильде после обеда в кафе на Эспланаде. На нем была новенькая серая пара (я ходил в заплатках)… Хорошее белье, манжеты, запонки. Курил Gitane Jaune; за обедом – с Гржебиной – заказал дичь и хорошее вино.

Перечитывая книги о Савинкове, я нашел там ту же особую подпольную смесь жертвенного подвига и шампанского.

Мы пили кофе с коньяком и осторожно беседовали. Он мельком сказал, что здесь еще есть много работы, и спросил, верно ли, что я решил ехать в Америку…

Я тогда был «возмущен» Францией, легкостью, с какой она сдалась на милость победителя. От дворцов нуворишей до лачуг бедняков – все жаждали мирного труда et qu'on me fiche la paix![43] Я мечтал о регулярной

[43] И оставьте меня в покое *(франц.)*.

армии: эту войну нельзя выиграть партизанщиной. Еще надежда – Россия! Чудовищная, тоталитарная, дикая, татарская, московская, византийская, аввакумовская Русь! Всякий раз, когда гуманизму угрожала подлинная опасность, она становилась в ряды просвещенных держав и вместе с ними, неся преимущественно потери, тузила очередного врага человечества. Так было во времена Чингисхана, Карла Шведского, Наполеона, Германии Вильгельма и Германии Третьего мифа… В малых войнах Россия ошибалась, и даже очень: от Польши до Финляндии, от Кавказа до Венгрии и Маньчжурии. Но в великих конфликтах Москва чудесным образом оказывалась на «правильном» пути истории. Ангел, что ли, ее подталкивал.

Вильде спорил: Россия теперь в союзе с Германией. Она враг! Поможет нам Америка. Что США вмешаются в войну, он предвидел, но вклад СССР – проморгал.

На этом, собственно, разговор кончился; оснований для дальнейшего сближения как будто не было. Он мне только сообщил адрес человека, влиятельного в местной префектуре, если понадобится «административная» услуга. Я его спросил о друзьях в Париже, но он ответил, что никого больше не встречает.

Рассказывал, как бежал из плена, что удавалось всем, ибо миллионная армия очутилась за изгородью без надлежащей охраны. В сущности, если бы он оттуда не ушел, то вероятно выжил бы.

Вильде вернулся в Париж кружным путем, побывав еще в нескольких южных городах, по-видимому, организуя подпольные ячейки. Несмотря на конспирацию, он все-таки изредка встречал Фондаминского – доставлял ему пропуски для легального проезда в свободную зону. Так, Федотовы прикатили в Марсель по документу, полученному от Вильде.

Представляю себе умиление Фондаминского, когда он принимал у себя жившего по подложному «виду»

Вильде: третье поколение боевой, нелегальной, жертвенной интеллигенции! Есть чем гордиться: исторический опыт русского ордена гуманистов не пропадал даром. Зажженный факел борьбы за свободу, равенство и братство, принятый когда-то народниками, передан дальше молодому поколению в неприкосновенном виде. Традиционная связь Народной Воли с современными передовыми силами истории должно считать установленной… Так по праву мог думать Фондаминский, чья квартира на 130 Авеню де Версай превращалась из штаба в музей русской культуры.

Неожиданно, когда Вильде выходил из кафе, на него набросилось несколько коренастых холуев в штатском, скрутили руки и швырнули в машину… Вижу, вижу его холодный, ясный взгляд и оскал челюсти с тускло блестевшими коронками. Оттуда, должно быть, вышла моя «Челюсть эмигранта».

Весной 1941 г. (или 42-го?), проезжая Ниццу, я наведался к Адамовичу; тот молча мне протянул открытку из Парижа от Ставрова: «После продолжительной болезни, вчера в госпитале скончался Борис Дикой»… Как и почему мы сразу догадались, что «госпиталь» – это тюрьма, а «скончался» обозначает – казнен! Увы, тоже историческая традиция. Радищев, Пущин, Белинский, Достоевский, Салтыков-Щедрин – все пользовались этим греческим языком. Когда в коммунистическом Петрограде разнесся слух, что «Шатер задержан» – литераторы поняли, что арестовали Гумилева.

Есть тихий городок под Парижем, на излучине реки – рядом знаменитое скаковое поле. Там в госпитале, кажется, Фоша, работала медсестрой моя жена; я приезжал по воскресным дням… По тихой воде скользили рыбачьи и спортивные лодки, в ресторанах подавали рыбу в любом виде и, конечно, вино. Было свежо, благоуханно и очень скучно. Проходя к вокзалу, я

с отвращением разглядывал военную тюрьму (или крепость) с высокой светлой стеной, отгораживающей пустую четырехугольную площадку. Мне кажется, что именно у этого места меня всегда начинало мутить, что я всегда приписывал двойной порции рыбы. И туда, вечность спустя, вывели на расстрел первую группу французских «резистантов» во главе с Борисом Вильде. В своем дневнике Вильде пишет, что предпочитает умереть теперь, в расцвете сил и решимости, а не «после», когда, может быть, сила и отвага иссякнут. Эти строки прямым образом перекликаются со словами героя Стендаля, когда ему предлагали бежать из тюрьмы.

В Париже подвизался поэт Ю. Рогаля-Левицкий. Во времена Поплавского мы втроем почему-то часто блуждали ночью по городу, шептали стихи или спорили о тибетских мудрецах. После смерти Поплавского мы, проходя от Пантеона к Сене, неизменно повторяли: «И волна жары по ним бежала…» (Из «Флагов».)

– Понимаете ли вы, как это хорошо? – осведомлялся я.

Левицкий снисходительно откликался:

– Я понимаю.

В антологию зарубежной литературы «Якорь» Рогаля-Левицкий не попал, и я вел по этому поводу переговоры с Адамовичем. Рогаля-Левицкий уверял, что если «Булкин там, то и я имею право».

В послевоенный сборник парижских поэтов «Четырнадцать» не угодили Иванов, Гиппиус, Смоленский, Злобин – как сотрудничавшие с немцами… Но были помещены стихи Рогаля-Левицкого с эпиграфом из Поплавского: «И волна жары по ним бежала».

А когда Мельгунов заказал ему статью, «уничтожающую» всю эмигрантскую литературу, кроме ближайших сотрудников «Возрождения», то Рогаля-Левицкий с радостью взялся за новый труд, причем мишенью

избрал он именно эти строки Поплавского, очевидно, издеваясь над Мельгуновым…

Упомянуть о Ю. Рогаля-Левицком мне кажется необходимо, потому что я хочу рассказать о его брате, погибшем рядом с Вильде… Раз в своем отельном номере он меня познакомил с сияющей парой не то уже обвенчавшихся, не то собирающихся обвенчаться молодых влюбленных. Все в них радовало, улыбалось и вызывало улыбку. И это несмотря на западноевропейскую сдержанность и вежливую непроницаемость. Мужчина оказался братом нашего Рогаля-Левицкого, женщина, если память мне не изменяет, говорила только по-французски. Он был ученым, готовился к кафедре и работал в музее Трокадеро. Теперь там висит доска с именами всех этих веселых и отважных русских людей, начавших борьбу за освобождение Франции. («Есть музей этнографии в городе этом» – Гумилев.)

X

Есть особая порода людей в литературе – случайных!.. Некоторое время они даже чем-то выделяются, пользуются уважением или признанием, а потом вдруг как бы проваливаются сквозь землю, исчезают с горизонта, соблазненные семейным счастьем или коммерческой деятельностью. Впрочем, порой вы опять услышите о них: даже на бирже или в конторе – они шумят.

Вот таким человеком был Кельберин. На мою память, он ничего значительного не произвел, хотя сочинял стихи и болтал беспрерывно… Однако многие влиятельные поэты – Иванов, Злобин, Оцуп – относились к Кельберину с вниманием. В последние годы перед войной он громил демократию и даже похваливал немцев, что казалось несколько смешным. Стихам своим он, кажется, не придавал большого значения.

По поводу одного его эссе (в «Смотре», изданном Гиппиус) Адамович сказал в «Последних новостях»: «Если бы Хлестаков задумал соперничать с Паскалем, то вероятно он бы писал в таком именно духе…» (цитирую по памяти). К чести Кельберина надо заявить, что подобные отзывы его не огорчали.

Кельберин, мистически настроенный, многократно сочетался законным браком; одной из его ранних жен была Лидия Червинская.

Червинская – бессонные ночи, разговоры до зари, пьяные и трезвые требовательные слезы. И хорошие подчас стихи.

В период «Круга» я сталкивался с Червинской едва ли не ежевечерне; она могла казаться несносною со всеми недостатками сноба, оглядывающегося на шефов литературной кухни. Но раз признав человека, она уже становилась если не верным товарищем, то во всяком случае занятным собутыльником.

Червинская жила в искусственном мире, искусственным бытом, искусственными отношениями. В результате ряда искусственных выдумок получалась ее весьма искусная, реальная поэзия.

Она создавала фантазией свои трагедии влюбленности и ревности, но от этого нельзя было просто отмахнуться, ибо в невоплощенной реальности порою заложено настоящее бытие.

– Ей нужна другого порядка помощь, религия, Бог, Христос! Почему вы это ей не объясните? – говорил я Адамовичу, который только что отделался от Червинской и собирался сесть за бридж.

– Такого нельзя сказать человеку, когда он обращается к вам за поддержкою, – отвечал Адамович и, вдруг приняв подчеркнуто рассеянный вид, закатив глаза, ронял: – Две пики!

Жила Червинская в это время одна. Высокая, сутулая, костлявая, с миловидным личиком и прической

под Грету Гарбо. Не работала, голодала, и от скромной рюмки водки ее выворачивало наизнанку – буквально и фигурально.

На вечеринках почему-то было моей обязанностью ухаживать за «мертвецами». Бывали встречи Нового года, когда я без перерыва совал палец то в одну гортань, то в другую, и лил жиденький кофе.

На квартире Андрюши Бакста Червинскую рвало всю ночь. Мы с ней высунулись до пояса из окна, и она выплевывала кислый кофе вниз на стеклянную крышу консьержкиной «ложи»... Я с ужасом следил за тем, как там, внизу, то вспыхивает, то потухает свет – быстрее, порывистее! И действительно, возмущенная консьержка вскоре явилась наверх и языком, чистым, как у Декарта, объяснила Баксту, почему она не любит sales metegues...[44]

Ежегодный бал русской прессы – в ночь на 14 января. Там, в залах Hoches, я раз сознательно пожертвовал собою ради благополучия Червинской и с тех пор нежно ее полюбил.

В тот год я и Смоленский помогали М. Цетлиной, заведовавшей организацией очередного «Бала прессы». В Париже телефон, во всяком случае в русском Париже, не был еще распространен. Чтобы нанять оркестр или заполучить артель гарсонов, надо послать нарочного... Автомобили нам не по средствам. Так что за мелкое вознаграждение литераторы бегали по городу, помогая дамам распорядительницам.

По вечерам мы собирались у Марьи Самойловны Цетлин, докладывали о предпринятых мерах и, слегка только закусив, обещали завтра же выполнить все новые поручения.

[44] Чужаков *(франц.)*.

– Вы заметили, – сказала мне раз на таком «комитетском» сборище Тэффи, сверкая умным, старушечьи-свежим взглядом. – Вы заметили, как меняется голос человека, когда он приближается к закуске.

Действительно, только что царила сплошная скука, поскрипывал тепленький, смуглый Зайцев с красными пятнами на скулах… А вот вдруг зашумели, зашевелились: хохочет бывший нижегородский драгун, пропустив настоящую рюмку водки, и даже Борис Зайцев начал выражаться громче и определеннее.

Мне поручили нанять людей для буфета, и я вместе с несколькими профессионалами пристроил туда своего друга Ш., увы, дилетанта во всех отраслях труда… Московский судья, он теперь пел в церковном хоре или работал кухонным мужиком, но главным образом состоял на «шомаже», так что даже изменил свое мнение о Блюме.

Был он старым учителем Проценко. Там, в ателье, мы познакомились. Я любил яркие рассказы Ш. о старой Москве и о чиновничьей или студенческой, белоподкладочной, жизни. Повествовал он красочно, в лицах, перемежая речь то выкриком торговки («вишень и кореньев»), то причитанием слепого нищего, то ектенией громоподобного дьякона. Впрочем, попадалась и клубничка, но какая-то невинная, простодушная, несерьезная по сравнению с практикой последующих поколений.

Если завернуть к нему в номер на рю Мазарин (внизу инвалид продавал pommes frites[45]), то он встречал гостя неизменным возгласом: «Не хотите ли восприсесть…»

Жил Ш. в одной комнатушке с бывшим актером и будущим монахом Свято-Сергиевского подворья, существом

---

[45] Жареный картофель *(франц.)*.

тоже весьма колоритным. Спали они вдвоем на узкой койке; устроили нечто вроде перегородки из картона, которую прикрепляли на постели – отмежевываясь.

Этого Ш. однажды задел легкий паралич среди бела дня, на ходу – первый звоночек! И он отсиделся на скамеечке у Шатле, созерцая разные смутные или фантастические видения. Память об одиноком страннике, в центре города на скамеечке перемогающем роковой припадок, помогла мне впоследствии найти эпилог к «Челюсти эмигранта».

Итак, я нанял Ш. на одну ночь с 13 на 14 января, кажется, 1937 г., в буфет! Интерес этой работы заключался не в мизерном вознаграждении, а в том, что предоставлялась возможность как следует выпить, закусить, «одним словом, встряхнуться», по слову Ш.

Даже в самый день бала мы еще выполняли сложные поручения в разных концах города. Синий мертвенный парижский день – из тех, что никогда французской школой живописи не был воспроизведен на полотне. Я и Смоленский мечемся по гастрономическим магазинам, собирая полударовую закуску. И в каждой очередной русской лавчонке Смоленский изрекает:

– Что же это в самом деле, выпьем наконец…

– Неловко, – жмурюсь я в ответ. – Ведь придется отчитываться.

И мы чокаемся. Смоленский уверяет, что все это входит в графу расходов по разъездам. Он бухгалтер и должен понимать такие вещи в конце концов.

Мы расстались только вечером, чтобы привести себя в порядок. А когда приехали на бал к десяти часам, то Смоленский несмотря на свой порхающий фрак был уже на втором «взводе». Я казался «больным» – по словам Зеелера. Сразу вышел конфуз с отчетностью. Марья Самойловна никак не могла понять, «почему издержано так много». Начало не предвещало ничего хорошего.

А бал, по-видимому, протекал с обычным успехом. Бунин изящно закусывал, поглядывая на обнаженные плечи бывших и будущих дам; оркестр, кажется, Аскольдова, пел о невозвратном.

– Иван Алексеевич, не кажется ли вам, что мы профуфукали нашу жизнь? – спрашивал я с проникновенностью.

– Да, – миролюбиво соглашался Бунин. – Но что мы хотели поднять!..

Иванов показывает на бритого человека в смокинге и шепчет:

– Вот самый бездарный мужчина в эмиграции. Я хохочу: это Алехин.

Лифарь с братом покровительственно угощают пушкинистов шампанским. В общем, скучно. И вдруг я натыкаюсь на Червинскую.

– Пойдем, я тебя угощу, – вдохновенно приглашаю ее и веду к буфету, где в белом кителе и колпаке возвышался уже сильно помятый Ш.

– Валерьян, – говорю я твердо, но чересчур громко, радуясь отчетливости своей речи. – Валерьян, два, понимаешь! – и показываю пальцами количество, чтобы не было ошибки.

Валерьян Александрович понял и налил два полных «бока» из-под пива – водкою. Мы с Червинской чокнулись. Впрочем, тут я заметил какое-то недоумение в умном взгляде поэтессы… Я честно осушил свой «бок» и, сообразив, что Червинскую такая порция убьет, отнял ее стакан, она успела только пригубить, и тут же по-рыцарски, жертвенно сам проглотил содержимое. Помню еще, что я собирался «плотно» закусить, чтобы противостоять хмелю, и ухватился за куриную ножку… Но здесь наступило затмение.

Как потом передавали многочисленные друзья и заступники, мне не дали упасть, а, подхватив под локти,

повели, понесли через все залы, а я, судорожно держась за куриную четверть, плевал и охал.

В шикарных залах Hoches в центре есть какая-то площадка, может, для большого оркестра… Туда меня положили – на виду у всех. Там я часа три отлеживался, как некое грозное предостережение ликующим внизу.

Время от времени Червинская, Адамович, Зуров, еще другие наведывались ко мне, давали технические советы. Впоследствии десятка два доброжелателей меня уверяли, что они меня спасали, поддерживали, укладывали.

Был такой эсер, зануда, недотепа, общественный деятель, неудачный издатель (editeurs mines – мы, бывало, шутили) – Илья Николаевич Коварский. Интеллигент с чеховской бородкою, всю жизнь занимавшийся не своим делом; только здесь, в Нью-Йорке, вернувшись к врачебной практике, он вдруг нашел себя и стал полезным тружеником. То же можно сказать про Соловейчика, секретаря Керенского – превратившегося в способнейшего преподавателя географии в американском колледже.

Итак, Коварский, с лысинкой и язвительным, вредным смешком, рассказывал мне потом, что на этом балу он заведовал чайным столом; стол «дешевый» и помещался в коридоре. Но рядом с ним пристроился известный богатый, старый и больной, меценат.

– Я ему говорю, – объяснял мне Коварский, жмурясь от удовольствия. – Я ему говорю: «Зачем вы здесь сидите на сквозняке? Пройдите лучше в залы, где танцуют». А он отвечает так решительно: «Нет, нет, я пришел на бал с единственной целью посмотреть на современных русских писателей и здесь я всех увижу». Только что он это произнес, – радостно поверял Коварский, – только что он это сказал, и вот вас уже ведут или несут в таком виде, ха-ха-ха. Вот поглядел на современных писателей!

Как бы там ни было, но для характеристики наших тогдашних настроений важно отметить, что в последующие годы я был убежден, что принес себя в жертву – «за други своя», и гордился этим. Разумеется, можно вылить вино или вообще не пить его, но это уже другой «подход».

О моем протеже Ш. скажу здесь вкратце, что он не оправдал надежд и тоже очень скоро провалился куда-то в чулан или в подвал.

Лидия Червинская тогда, кажется, решила влюбиться в НН. – человека тонкого, деликатного, слабонервного и многосемейного; она допекала его своими искусными «выяснениями отношений». НН. – известный эстет с хорошим вкусом, среднего возраста, нуждался совсем в других отношениях: он чуть ли не впервые изменял жене. Но Червинская не понимала этого. Помню, раз НН. подбежал к нашему столику и, обращаясь к Фельзену, но громко и с отчаянием несколько раз повторил:

– Я больше не могу! Я больше не могу!

Любопытно, что именно такое выражение обычно вырывалось у людей, коих Червинская заедала: – Я не могу, я больше не могу!

В предвоенные годы между «Кругом» и Монпарнасом мы с Червинской часто досиживали ночь – до первого метро.

У Червинской было глубокое чувство «табели о рангах»… Если бы умнейший НН. не был на хорошем счету в «Зеленой лампе», она бы, пожалуй, не затеяла романа. Снобизм ее казался наивным и беспомощным, уживаясь, впрочем, с несомненной внутренней честностью.

В свои «плохие» дни Червинская приходила на Монпарнас в стоптанных туфлях на босу ногу, распространяя аромат эфира.

После ухода из Парижа Червинская жила одно время при новой семье Кельберина на юге. В Монпелье я встретился с великодушнейшим Савельевым, работавшим в Тейтелевском комитете, и устроил нескольким литераторам стипендии. Все эти писатели были христианского вероисповедания.

Через несколько дней я получил нежное письмо от Червинской, благодарившей за 200 или 300 тейтелевских франков и вспоминавшей, как я ее «спас» от стакана водки.

Был такой писатель Агеев, проживавший в Константинополе по южноамериканскому паспорту; он присылал свои рукописи в Париж, и все старались талантливому прозаику помочь. Его «Роман с кокаином» мы с Фельзеном издали отдельной книгой.

Когда Агееву понадобилось возобновить просроченный паспорт, он прислал его в Париж. Почему он не сделал это в Турции, лично, могу только догадываться. И Оцуп передал Червинской документы Агеева… Но, увы, паспорта она не продлила, а когда месяцев через шесть Агеев попросил ему вернуть вид, хотя бы просроченный, то обнаружилось, что Лидочка бумаги потеряла. Тут все не случайно. И то, что ей, доброму товарищу, доверяли, и то, что она, увидев где-нибудь Адамовича или НН., побежала за ними, забыв про сумочку, деньги и документы.

Вот эта «агеевщина» мне всегда припоминается, когда говорят о «деле» Червинской во французском резистансе и суде над нею (после войны).

Червинской поручили ответственное задание, посвятили в секрет, от которого зависела жизнь двух десятков детей. Тут вся ошибка не ее, а тех – вождей, руководителей! Поручать, в то время, Червинской, ответственные, практические задания – явное безумие!

Еще до «Союза писателей и поэтов» бывали другие литературные кружки. На тех, доисторических вечерах

гремели звезды раннего периода: Евангулов, Божнев, Гингер (Зданевич, Шаршун). В подвале кафе на столике во весь рост стоял жизнерадостный Евангулов и выкрикивал стихи на манер Маяковского. Когда в подвал спускалась дама в мехах, он прерывал строфу и говорил очень почтительно: «Сюда, графиня, сюда, пожалуйста!»

Из этих поэтов только один Гингер, пожалуй, остался. Божнева я встречал в Марселе (1941 г.); тогда он напоминал немного Фельзена, не по краскам, а по манерам… Вежливый, точный и внешне ограниченный.

Шаршун древний парижанин: еще со времен «первой» мировой войны обучался здесь живописи. Живопись его не была абстрактной, а эзотерической. Он, кажется, считал себя антропософом, хотя говорить по этому поводу складно не был в состоянии.

От Шаршуна в конце двадцатых годов я впервые услышал о Кафке и за это одно должен уже быть благодарен ему.

Писал он «сюрреалистическую» прозу много и давно, но печатали его, пожалуй, только «Числа» и «Круг». Благодаря «Числам» он даже одно время превратился в модного писателя, что, кажется, его погубило. Его живопись признали только недавно.

Шаршун принадлежал к разряду авторов-«графоманов»: то есть при несомненном оригинальном таланте, совершенно лишенных дара отбора! Повторяю, были огромные художники, не лишенные элементов графомании: Джойс, Томас Вулф, Андрей Белый, Ремизов… Сирин.

Когда отрывок из его «Долголикова» прошел в «Числах», Шаршун потащил в редакцию все, что у него лежало… и это оказалось детским лепетом.

Существо, лишенное кожи, он реагировал быстрее и резче на любое прикосновение жизни; в результате

получался поток слов, который он нес к редактору с доверчивым видом седеющей лани.

Был он вегетарианцем, холостяком; вероятно, молился и совершенствовался в уединении и нужде; в его присутствии мне чудилось: чистый глубокий маленький ключ пробивается на поверхность из глубин.

Готовил себе обед из 30 или 40 овощей и сырых корешков; базой служили – молотый горох с натертой морковью… И когда вечером подходил близко, шепча: «Значит, я завтра вам занесу» или «Значит, я ему передам», то люди жмурились от свежего запаха чеснока или лука.

Раз на Выставке зарубежной литературы Шаршун мне с Фельзеном сообщил, что шведская переводчица, которую мы встретили у Мережковских и обещали повести к Ремизову, назвала потом в письме его, Шаршуна, трусливым сутенером. Мы расхохотались: так неожиданно было это определение и не подходило ему.

– Нет, не смейтесь, – удрученно повторял Сергей Иванович, поводя большой оленеобразной головой с очками в темной роговой оправе. – Нет, тут что-то она, действительно, верно уловила.

Кстати о его тяжелых очках с эзотерической оправой… Ими восхищался Поплавский:

– Это делает его похожим на sous-secretaire d'etat![46] – уверял Борис.

Почему су-секретэр, а не полный секретэр – Поплавский не желал объяснять и начинал ругаться.

Зато Слоним носил пенсне, что смешило, или что-то, весьма похожее на пенсне: легкое, деликатное.

В конце двадцатых годов, в самом начале 30-х, «Кочевье» Слонима процветало. Там по четвергам, в кафе против вокзала Монпарнас, собиралась почти «вся»

---

[46] Заместитель министра *(франц.)*.

литература. В России тогда гремели Бабель, Олеша, ранние Зощенко, Леонов, Катаев… Советскую словесность можно было принимать всерьез… Чем и занимался охотно Слоним. Но когда «гайки» были окончательно завинчены первой пятилеткой, говорить больше не о чем стало (в смысле искусства). Мы это сразу поняли; все, за исключением Слонима, человека самонадеянного и самоуверенного. И «Кочевье», захирев, протянуло ноги.

Все в Слониме было провинциально и второклассно. По любому трудному вопросу он сразу находил окончательное решение – только слегка споткнувшись… Выражал свое мнение, не догадываясь даже, что оно может оказаться глупым или преступным. Есть такая порода русских первых учеников.

На его примере я впервые понял, насколько восточный «второй» класс ниже западноевропейского. Сравнивать сверхкласс или «первый» класс бессмысленно. Кто лучше: Толстой, Шекспир, Пруст, Дон Кихот, Давид Копперфильд… Анна Каренина, Мадам Бовари… Пушкин, Мицкевич, Шевченко… Чехов, Кафка… Все «лучше», ибо дух абсолютен, бесконечен.

Но «второй» класс можно и нужно сравнивать для измерения культуры народа. И насколько этот класс на западе от Рейна лучше и выше российского! Был, есть и еще долго останется таковым, независимо от всех космонавтов.

Главным поприщем Слонима являлась политика, не совсем чистая политика. Но он находил время, чтобы заниматься также искусством и, по-видимому, любил это трудное занятие. Причем не ограничивал себя пределами одной культуры. В самом деле, он знал толк и в французских школах, и в итальянских романах, и в американских новеллах: для русского интеллигента, успешно боровшегося с царским режимом, нет и не может быть мещанских ограничений.

В «Кочевье» периода расцвета появлялась Цветаева. Мы все, разумеется, признавали огромный талант Марины Ивановны. Многие даже терпеливо переносили ее утомительную, трескучую прозу.

С годами дар и мастерство поэта развивались, но наше отношение к Цветаевой менялось к худшему. Неожиданно читатель, слушатель, поклонник просыпался утром с грустным убеждением, что Цветаева все-таки не гений, а главное, что ей чего-то основного не хватает!

Я постепенно начал считать ее в каком-то плане дурехой, что многое объясняло. В молодости такого рода мнения создаются легко и беззаботно.

– Позерка, – испуганно глядя поверх очков, шептал Ремизов, особенно не любивший ее прозы и манеры декламации.

Существовало убеждение, что Ремизов «изумительно читает»; читал он не как писатель, автор, повинующийся внутреннему ритму, а как актер, использующий свою образцовую дикцию. Мне такая «игра» не нравится, и поэтому я отношусь с недоверием и к свидетельству других «очевидцев», восторгавшихся чтением Гоголя, Достоевского, Тургенева. О Толстом таких легенд нет.

Как собеседник Цветаева могла быть нестерпимой, даже грубой, обижаясь, однако, при любом проявлении невнимания к себе. В разговоре, вопреки всему фонетическому блеску, интересного или нового она сообщала мало. Да и то, что могло восприниматься как ценное – тайны поэтического ремесла… – терялось, потому что преподносилось с видом сугубой находки! С резким нажимом на все педали.

В общем, близоруко-гордая, была она исключительно одинока, даже для поэта в эмиграции! Кстати, от Гомера до Томаса Вулфа и Джойса, все в искусстве чувствовали себя уродливо отстраненными. (Все пионеры.)

Мучила Марину Ивановну и назойливая нищета; но и этот недуг был знаком многим и многим художникам… В старой Москве Цветаева была одна против всех. Даже гордилась этим. То же с ней повторилось в эмиграции; а в СССР – повесилась. Ее самоубийство и гибель Есенина или Маяковского явления, кажется, разного порядка. Эти «барды» при других обстоятельствах продолжали бы весело и приятно жить. А Цветаева убивала в себе то, что изводило ее в продолжение всей жизни и мешало общаться с миром: быть может, дьявольскую гордыню… Догадки, догадки, догадки.

«Дурехой» я ее прозвал за совершенное неумение прислушиваться к голосу собеседника. В своих речах – упрямых, ходульных, многословных – она как неопытный велосипедист, катила стремглав по прямой или выделывала отчаянные восьмерки: совсем не владея рулем и тормозами. Разговаривать, то есть обмениваться мыслями, с ней было почти невозможно.

Цветаева была очень близорука и часто не отвечала на поклон, так что многие обижались и переставали здороваться… Это удивляло и сердило Цветаеву.

– Может, среди этих людей тоже есть близорукие, и они вас не замечают! – довольно грубо объяснил я ей.

Этого она просто не могла сообразить.

Я встречался с Мариной Ивановной частным образом у Ширинских; там я познакомился с ее «милой», как выразился Пастернак в своих воспоминаниях, семьею. Жили они близко, в Медоне. Цветаева выступала также на наших литературных вечерах в «Пореволюционном клубе» и наведывалась в «Круг».

Под «милой» семьей я подразумеваю детей Марины Ивановны; мужа ее, Эфрона, чекиста, многолетнего бессменного председателя Союза студентов Советского Союза, не помню точно названия, я видел только издалека на собраниях Союза, когда там выступали гастролеры вроде Бабеля, Тихонова и т. д.

Дочь Аля, милая, запуганная барышня, тогда лет 18, была добра, скромна и по-своему прелестна. То есть – полная противоположность матери. А Марина Ивановна ее держала воистину в черном теле. Почему так, не ведаю, и без Фрейда здесь не распутаешь клубка. Объективно это было тоже проявлением недомыслия. В особенности, если принять во внимание нежное восхищение, с которым Цветаева прислушивалась ко всякой отрыжке своего сына – грузного, толстого, неприятного вундеркинда лет пятнадцати… Он вел себя с наглостью заведомого гения, вмешивался в любой разговор старших и высказывался довольно развязно о любых предметах, чувствуя себя авторитетом и в живописи раннего Ренессанса, и в философии Соловьева. Какую бы ахинею он ни нес, все равно мать внимала с любовью и одобрением. Что, вероятно, окончательно губило его.

Аля добросовестно ухаживала за этим лимфатическим увальнем; Цветаева в быту обижала, эксплуатировала дочь, это было заметно и для постороннего наблюдателя.

В начале 30-х годов, сблизившись с Ю. Ширинским-Шихматовым, я, естественно, предложил ему создать при журнале «Утверждения» литературный отдел. Для этого, казалось, имелись все данные: недоставало только средств.

Тогда, кстати, переехал на жительство в Париж из Берлина писатель-ростовщик В.П. Крымов. О нем рассказывали, что он опять разбогател, учитывая советские векселя; маклеры получали чуть ли не 33 процента, ибо мало кто еще решался ссужать большевиков наличными – если не по моральным, то экономическим соображениям.

Вот о Крымове вдруг пошли толки, что будучи миллионером и бездетным, он жаждет оказаться полезным зарубежной литературе… Сам писатель, он

догадывается о нуждах своих собратьев и бескорыстно сочувствует им. Думаю, что эти разговоры «муссировал» сам Владимир Пименович, исходя из старой поговорки: купить не купить, а торговаться можно.

Но вскоре поползли зловещие слухи о многочисленных случаях отказа! Ибо, разумеется, все имевшие отдаленное отношение к искусству (от бывших друзей Каменева до будущих глав государства) потянулись на виллу Крымова в Шату – у самой Сены. Кстати, эти же неудачники больше всего поносили воображаемого мецената, называя его и ростовщиком и большевиком, и раскольником и безбожником, а главное – графоманом. Между тем, его первый роман «Хорошо жили в Петербурге» отличная книга.

Владимир Пименович в темно-синей бархатной куртке, на английский лад, полуслепой, с толстыми стеклами «под Джойса» угощал очередного посетителя бокалом Мумма и отказывал в деньгах. Шампанское, по его словам, действовало магически, смягчая удар, создавая ностальгическую, старорежимную атмосферу. Один именитый литератор тоже разбежался в Шату за ссудою. Крымов после, когда отношения между нами уже были совершенно ясные, так мне об этом рассказывал:

– Помилуйте, НН., – говорю я. – Ведь вы, может быть, когда-нибудь пожелаете обо мне написать статью или критический отзыв. Как же я могу вам давать деньги…

Критик уехал, отказавшись от шампанского.

В другой раз Поляков-Литовцев почему-то прискакал за ссудою. Об этом смешно повествовал Фельзен… Крымов будто бы взмолился:

– Дайте мне хотя бы переспать одну ночь с этой мыслью! А наутро отказал.

Несмотря на искреннюю любовь к литературе и упорную жажду славы, привязанность Крымова к деньгам,

его болезненная, дьявольская, смешная скупость были сильнее всего и довели писателя, мне чудится, до полного тупика. Некоторую роль тут, вероятно, сыграла и его псевдонаучность: Крымов окончил в 19-м веке естественный факультет и все еще страдал наивным рационализмом.

Его издавали в Англии – он оплачивал переводы. Уверял, что «Сидорове ученье» англосаксы сравнивают с лучшими произведениями Диккенса. Крымов был несомненно талантливым литератором, с культурою языка. Но беда в том, что купцом он оказался гениальным, и это действовало на нас, искривляя перспективу.

Буров, тоже писатель-спекулянт – графоман, прославившийся своим «спором» с Ивановым, уверял, что Крымов сразу по приезде из Берлина действительно мечтал устроить у себя в усадьбе нечто вроде колонии для «наиболее способных поэтов»… Ему мерещилось: благородные люди станут приезжать на викенд, они будут есть макароны и писать под кустами рентабельные поэмы… Вечер, бутылка Мумма, а они читают сотворенное и, пожалуй, посвящают вирши щедрому Владимиру Пименовичу.

Нечто в таком идиллическом духе ему несомненно вначале мерещилось. Но когда обнаружилось, что парижские литераторы все как на подбор «хамы» и норовят только содрать и убежать, нагадив еще в беседке… Тогда Крымов, пожалуй, действительно почувствовал себя оскорбленным. Ибо, как ни странно, именно очень крутые, жестокие, даже страшные люди часто имеют душу удивительно требовательную, нежную и обидчивую. Впрочем, говорят, что к концу жизни он подобрел и просветлел.

Когда выяснилось, что у нас имеется все необходимое для издания литературно-философского журнала – все, кроме денег, – то естественным показалось обратиться к многоуважаемому Крымову за поддержкой…

И вот Ширинский-Шихматов с женою (Савинковою), Марина Цветаева и я, в морозный зимний бесснежный денек, мы отправились на стареньком рено князя в Шату на поклон. Кажется, было воскресенье, но хорошо помню на редкость лютую стужу.

С трудом и даже чинясь в дороге, мы добрались часу во втором к цели. Крымов, его «молодая» жена и ее отец нас встретили, радуясь гостям. День был такой (декабрь-январь), что, пожалуй, уже начинало смеркаться.

Мы сидели в библиотеке с богатыми полками книг; слушали, как удачно переводят хозяина в Англии, в рецензиях его сравнивают с Диккенсом! Мне Крымов прочитал страничку из дневника – крайне пессимистический отрывок, где человек уподобляется мухе, попавшей на липкую бумажку. Я его искренне пожалел и посоветовал изредка молиться. Но Крымов гордился своим старосветским атеизмом.

Вскоре позвали обедать. К столу села еще одна чета: он – бывший издатель или редактор чего-то в Петербурге – теперь жил у Крымова на хлебах. Факт подлинного милосердия, о котором следует помнить.

Ели телятину, но к десерту подали Мумм, Cordon Rouge (марка, бывшая в России последних лет модной). Крымов много рассказывал о великих князьях, осаждающих его просьбами о помощи. Глаза Ю. А. Ширинского-Шихматова и без того косые, ханские, еще более хищно и насмешливо сужались.

Тут отец жены хозяина сделал нам таинственный знак рукою, словно давая старт машине… И мы с князем вышли во двор и завели ручкою мотор, согревая его. С Сены дуло точно с Невы.

Тот же добрый тесть несколько раз спускался в погреб и приносил (по одной) бутылки Мумма. За третьим или четвертым бокалом шампанского Цветаева неожиданно достала чуть ли не из-за пазухи рукопись

и начала уговаривать хозяина издать ее сказку в стихах с иллюстрациями, возможно, Гончаровой. Мы с Ширинским обомлели – от страха и возмущения. Вместо единого фронта «утверждений» получалось индивидуальное, шкурное соперничество.

К счастью, Крымов сразу ответил, что знает эту сказку и не любит ее…

Наконец, я решил, что наступило время «действовать», то есть рассказать о великолепном плане нового пореволюционного, литературно-философского журнала при участии Владимира Пименовича Крымова. (Как Ширинский потом выразился – «Пим-Здательство».) Но Крымов попробовал от меня легко отделаться, говоря, что после сытного обеда с хорошим вином трудно заняться серьезным делом.

– Что же, мы сюда приехали есть телятину? – довольно громко осведомился я. И хозяин явно сконфузился.

– Приедете в следующий раз, может, будет курица, – ответил он смущенно.

Догадываюсь, что у них был предварительный разговор, чем нас кормить! И Крымов настоял: дешевле телятина – все равно придется поставить шампанское, а оно все покроет… Что-то в его фигуре, тоне мне напомнило Иудушку Головлева, и я по сей день не могу от этого отделаться.

Увы, делового разговора не получалось. Решительно, помогла Крымову все та же Цветаева: ее вдруг развезло от нескольких стаканов шампанского, да так, что пришлось поспешно отступать в уборную.

Хозяин демонически сверкал своими толстыми стеклами. Не знаю, почему, я завел с ним беседу о любви, о Боге, Христе и дьяволе. Крымов, радостно улыбаясь, спорил… Он утверждал, что человек, получивший высшее образование и трижды объехавший

вокруг света, не может верить в воскресение из мертвых. Так, жизнерадостный Гагарин, облетев трижды землю по орбите, заявил, что он нигде в космосе не заметил Бога.

На этом мы расстались, обменявшись, впрочем, нашими произведениями с вежливой надписью.

Позже, во времена Выставки зарубежной литературы, мы с Фельзеном съездили к В. Крымову и уговорили его пожертвовать несколько сотен франков на первые наши нужды по транспорту и рекламе. Когда в Нью-Йорке я встретился с С. Прегель, то последняя, горько посмеиваясь, мне сообщила, что Крымов «заставил» ее вернуть несколько сотен франков – будто бы половину пожертвованной нам суммы! В этом пункте я безусловно верю Прегель.

По выходе в свет одного плохонького романа Крымова Юра Мандельштам основательно выругал его в «Возрождении»… А Крымов примчался к нам на выставку с жалобой:

– Помилуйте, я помогаю Союзу деньгами, а его члены меня шельмуют!

Болезненной фантазии Крымова представлялось, что отныне он купил, и весьма дешево, всю молодую литературу.

Цветаеву после этого эпизода у Крымова я обругал при свидетелях. Настроение у всех нас в течение целой недели было подавленное. Ширинский так описал общее состояние: «Точно мы все вместе выкупались в одной грязной ванне…» И это соответствовало какой-то истине.

В 1938 г. из газет стало известно, что на границе Швейцарии убит агентами Сталина выдающийся троцкист, Рейсе, кажется. А затем из Парижа бежало несколько русских: Эфрон, муж Цветаевой, поэт Эйснер и чета Клепининых. Поскольку они все уклонились

от французского суда и скрылись в «Союзе», можно считать доказанной их причастность к этому мокрому делу.

Вскоре и Цветаева решила переселиться в царство победившего пролетариата, увозя с собой, разумеется, сына; дочь уехала раньше. Тут все выглядит безумием или глупостью: злодейства Сталина, социалистический реализм, муж – чекист, убийца… Ну, при чем здесь Цветаева? Можно ли было сомневаться, чем все это кончится для Марины Ивановны? И довольно скоро!

Перед отъездом Цветаевой я зашел к ней в отель где-то у метро «Пастер». Я «коллекционировал» подержанные кожаные куртки. А через Анну Присманову мне передали, что поэт хочет продать английскую куртку ее сына: мальчишка полный, тучный, существовала надежда, что куртка придется впору.

Итак, мы с Присмановой поднялись к Марине Ивановне в номер. Вещи уже были упакованы, и Цветаева не желала или не могла развязывать узлы.

Мы расстались без улыбки и без условных пожеланий: у меня слова застревали в глотке. Весь темный, как будто обугленный вид этого загнанного или одержимого, но гордого, существа предвещал близкий и страшный конец. Полагаю, что она была тогда попросту больна, и если бы нашелся среди нас умный герой, достаточно привязанный к ней, то он бы силой удержал эту упрямую, несчастную, замечательную женщину от акта бессознательного харакири.

Присманова – всегда точно с флюсом: у фламандских художников попадались такие сухие, кривые, желтые женские лица на портретах, – Присманова осталась еще с поэтом наедине; догнала меня уже внизу и добросовестно похвалила стихи Цветаевой. Как будто стихи исчерпывают жизнь.

Остальное просто и ясно. Развязку можно было предвидеть. Я не знаю подробностей, но почему-то

рисуется: вожжи, петля, русская конюшня… Кстати, перечитывая «Клару Милич», я всякий раз вспоминаю Марину Цветаеву.

Большие, «парадные» вечера – смотры парижской литературы – обычно устраивались в зале Географического общества (метро «Сольферино»)… Туда еще стекались эмигранты времен Герцена и Мицкевича. Там же Адамович давал свой «бенефис» и, чтобы заинтересовать публику, приглашал для участия в прениях Керенского или Мережковского. Помню сводный франко-русский диспут с Андрэ Жидом, после его поездки по советской России (когда возмущенная молодежь кричала Мережковскому: «Cadavre! Cadavre!»)

Лекции «Современных записок» тоже связаны с этим помещением; и Фондаминский по привычке его снимал для всех людных собраний – например, когда Сирин читал в Париже.

Последнего большинство из нас увидали именно там, на эстраде. Я пришел явно с недоброжелательными поползновениями; Сирин в «Руле» печатал плоские рецензии и выругал мой «Мир».

В переполненном зале преобладали такого же порядка ревнивые, завистливые и мстительные слушатели. Старики – Бунин и прочие – не могли простить Сирину его блеска и «легкого» успеха. Молодежь полагала, что он слишком «много» пишет.

Следует напомнить, что парижская школа воспитывалась на «честной» литературе. Что, разумеется, похвально, если за писателем имеются еще другие бесспорные заслуги. Но «честность» в Париже одно время понимали очень упрощенно, решив, что это исключает всякую фантазию, выдумку, изобретательность. Обвинять только Адамовича в этом не следует: он дал первый толчок, остальные уже докатились до абсурда самостоятельно.

Ссылались, главным образом, на Толстого, забывая, что у него мерин по ночам рассказывает жеребятам свою биографию, а заодно и сложные похождения барина… Какая, в сущности, неудачная «форма».

Сирин в области «выдумки» шел из иностранной литературы и часто перебарщивал, наивно полагая, что в каждом романе должен быть «фокус», ребус, подлежащий разгадыванию…

Читал он в тот раз главу из «Отчаяния», где герой совершенно случайно встречает свое «тождество» – двойника. Тема старая, но от этого не менее злободневная. От «двойника» Достоевского до «Соглядатая» того же Сирина всех писателей волновала тайна личности. Но, увы, публика кругом, профессиональная, только злорадствовала и сопротивлялась.

Для меня вид худощавого юноши с впалой (казалось) грудью и тяжелым носом боксера, в смокинге, вдохновенно картавящего и убедительно рассказывающего чужим, враждебным ему людям о самом сокровенном, для меня в этом вечере было нечто праздничное, победоносно-героическое. Я охотно начал склоняться на его сторону.

Бледный молодой спортсмен в черной паре, старающийся переубедить слепую чернь и, по-видимому, даже успевающий в этом! Один против всех, и побеждает. Здесь было что-то подкупающее, я от всей души желал ему успеха. И это несмотря на то, что у Сирина рядом с культурой писателей уровня Кафки и Джойса уживается и… пошлость Викки Баум.

Увы, переубежденных после этого вечера оказалось мало. Стариков образумить невозможно, хоть кол теши у них на темени. Проморгал же Бунин и Белого, и Блока. Поэтам же нашим вообще было наплевать на прозу; они вели тяжбу с Сириным за его стихи, оценивая последние в духе виршей Бунина, приблизительно.

А общественники в один голос твердили: «Чудно, чудно, но кому это нужно…»

Так, однажды на собрании Советских студентов, в том же зале Лас-Каз, выступали московские писатели… Федин, холодноватый, вежливый, немного похожий манерами на Фельзена; Всеволод Иванов, хитрый, осторожный мужичок, со смачным русским говором; Тихонов – солдат из своих баллад; Киршон – с толстой бурой шеей, больше всех партийно озабоченный и вскоре расстрелянный; подловатый Эренбург; Бабель, по внешности, краскам и дикции похожий на Ремизова и на Жаботинского. После их чтения или докладов позволялось подавать записки с вопросами; и я неизменно осведомлялся: «Что вы думаете о зарубежной литературе?»

Бабель ответил совершенно честно:

– Тут некоторые пишут чрезвычайно ловко, даже с блеском. – Все поняли, что речь идет о Сирине, печатавшем тогда свое «Приглашение на казнь». – Но к чему это? У нас в Союзе такая литература просто никому не нужна.

Вот традиционный сволочной критерий. Очень скоро сам Бабель со своими фаршированными закатами оказался в нужнике!

Когда Сирин переселился во Францию, Фондаминский, любивший преувеличивать, зловеще нам сообщил:

– Поймите, писатель живет в одной комнате с женою и ребенком! Чтобы творить, он запирается в крошечной уборной. Сидит там, как орел, и стучит на машинке.

Этим, конечно, нас нельзя было удивить: у многих в Париже и уборной своей не было. Мне это напомнило англичан, восхищавшихся подвигами Ганди, когда он питался только козьим молоком и лимонным соком… Мне индусы говорили, что по их условиям жизни мо-

локо и лимон огромная роскошь: миллионы туземцев жуют только дюжину зерен риса в день. Кстати, один тибетский старец упрекал даже Махатму за то, что он позволил себе вырезать аппендикс, считая хирургию блажью и снобизмом.

После «Приглашения на казнь», которое мне очень понравилось, я сказал Набокову за чаем у Фондаминского:

– А ведь эта вещь сильно под влиянием Кафки.

– Я никогда не читал Кафку, – заявил в ответ Набоков и хотел еще что-то прибавить…

(Но в это время, одетый в парусиновые туфли и легкий макинтош, к нам приблизился Сирин, и Набоков отвернулся.)

Ходасевич, которому я передал эти слова романиста, осклабился:

– Сомневаюсь, чтобы Набоков чего-либо не читал.

(О силе и способностях последнего уже слагались легенды.)

Был Набоков в Париже всегда начеку, как в стане врагов, вежлив, но сдержан… Впрочем, не без шарма! Чувства, мысли собеседника отскакивали от него, точно от зеркала. Казался он одиноким и жилось ему, в общем, полагаю, скучно: между полосами «упоения» творчеством, если такие периоды бывали. Жене своей он, вероятно, ни разу не изменил, водки не пил, знал только одно свое мастерство; даже шахматные задачи отстранил.

Читая про грустную, маниакальную жизнь Томаса Вулфа, часто вспоминаю Набокова. Впрочем, у последнего – семья.

Предел недоброжелательства к Набокову обнаружился, когда Фондаминский ставил его пьесы; самого автора тогда не было в Париже. И бедный Фондаминский почти плакал:

– Это ведь курам на смех. Сидят спереди обер-прокуроры и только ждут, к чему бы придраться…

Я останавливаюсь на этом эпизоде, потому что до сих пор литературоведы считают провал «Чайки» в первой постановке постыднейшей несправедливостью… А страдания советских писателей – невыносимыми. Конечно, верно, но унижения, оскорбления зарубежного автора по-своему тоже мучительны. Следует только помнить, что в Ялте иной раз писались весьма плохие пьесы, а романы, по качеству не уступающие «Доктору Живаго», сочинялись и в эмиграции.

Поплавский язвительно жаловался:

– Знаю, у них тоже не было денег. Андрей Белый или Блок телеграфировали в Петербург из Венеции: «Пришлите на дорогу, гибнем». Вот ты попробуй поезжай в Италию и телеграфируй оттуда.

Действительно, мы лежали как заросшие плющом камни, не двигаясь, в своей инерции представляя огромную силу. Лишенные не только средств, но и паспорта, визы, снаряжения, всей психологии, необходимой для перемены мест. Ездили по «заграницам» только обладатели приличных документов.

У Анатолия Штейгера был швейцарский паспорт, и он постоянно передвигался. Чехия, Югославия, Румыния, ну, и конечно, Париж-Ницца.

В Берне по сей день сохранились туземные бароны Штейгеры; когда русские Штейгеры бежали назад в Швейцарию, впрочем, не все, выяснилось, что им полагается кантонная пенсия. На долю Анатолия приходилось что-то очень крохотное по тамошним понятиям, но все же это был некий постоянный доход, позволявший уже организовать жизнь в Праге или Париже. А когда на чужбине приходилось туго, можно было спрятаться опять в полуродную Швейцарию, даже в санаторий, и залечивать разного порядка каверны. У Штейгера – туберкулез.

В жизни, в нашей жизни на Монпарнасе предполагалось, что все литераторы равны. И это, разумеется,

так и было: различия обусловливались дарованием! Но все же швейцарские привилегии давали Штейгеру постоянную фору.

Он приезжал внешне жизнерадостный, загоревший, отдохнувший, из Белграда, где чествовали «партийные» друзья; почитав стихи на Монпарнасе, восстановив контакт с Адамовичем, Цветаевой, Гиппиус, побывав у Фондаминского и в редакциях, он мчался в Ниццу, чтобы попасть «на чай к императору».

Штейгер – культурнейший, воспитанный, милейший и умнейший мальчик – числился младоросом; впрочем, политику воспринимал он эмоционально и эстетически.

Как младорос он во всех центрах эмиграции находил друзей, кров и даже харч. Так что расходы по поездке, скажем, в Бухарест, иногда сводились только к железнодорожному билету. Повсюду он находил «своих» единомышленников; в их ячейках, общежитиях, странноприимных домах Штейгер попадал сразу точно в «родную» семью.

Я ставлю «родную» в кавычки, потому что поэт, больной туберкулезом эстет и шалун, конечно, должен был порою морщиться в обществе этих благородных, но часто примитивных легитимистов, присягнувших «главе» – Казем Беку.

Благодаря прирожденному savoir faire[47] Штейгера принимали как своего не только среди монархистов, но и у эсеров, пореволюционеров и, конечно, на Монпарнасе.

Фондаминский, растроганно моргая густыми бровями, сообщал:

– Был у меня вчера с визитом барончик! – так он называл Штейгера. – Вы бы послушали его, просто душа радуется: растет, растет человек!

---

[47] Умение держать себя *(франц.)*.

«Круг» Штейгер посещал аккуратно, когда наезжал в Париж, но сидел тихо, уверяя, что все значительное он уже высказал в стихах, что раз даже возмутило Софиева. Штейгер иногда останавливался у Ширинских, он был дружен с молодым Савинковым, но стихов последнего не критиковал. Там (метро «Мюэт») я его иногда встречал в предвоенные годы, когда, вертясь перед зеркалом, он клал последние густые слои крема на свое бледно-матовое продолговатое лицо с подозрительно красными губами.

– Я должен еще забежать к Илье Исидоровичу, он продает билеты на мой вечер. А потом немедленно к Марине Ивановне, – объяснял он, облизывая алый рот.

– Билеты на ваш вечер продает весь «Круг», – поправлял я его назидательно.

Штейгер не возражает, только поглядит иронически. В связи с этой деятельностью «Круга» были у нас битвы с Фондаминским. Он требовал, чтобы все участвовали в «общем деле», то есть в данном случае – распродавали билеты Штейгера. Фактически дело сводилось к тому, что Фондаминский брал десяток билетов, еще два-три человека покупали по одному (Фельзен)… Зачем такого рода суету выдавать за коллективное предприятие «Круга»? И я спорил с Фондаминским. Главное, что Штейгера не обманешь: он отлично знал, кого следует благодарить!

Свое поэтическое хозяйство, в сущности миниатюрное, но уходящее в глубину, Штейгер вел мастерски и сумел из него выжать максимум – благодаря уму, вкусу и savoir faire. Только под конец Иванов спохватился:

– Сравнивать Штейгера с Анненским! – шептал он, брезгливо оттопыривая нижнюю губу и косо поглядывая в сторону навострившего большие уши Адамовича. – Штейгера с Анненским…

(Повторялась вечная история. Так, Оцуп ничего не имел против того, чтобы Поплавского называли первым поэтом среди молодых… Но только среди «молодых».)

Забавнее всего, на мой взгляд, бывал Штейгер, когда занимался «литературной кухней», напоминая в этом немного Иванова… И еще, когда рассказывал о своих романтических похождениях точно взволнованная тургеневская барышня:

– У Гранд Опера… мимо меня… и взгляд! Я оборачиваюсь, вижу – он следует за мною, – описывал Анатолий с таким наивным восторгом, что и у слушателя замирало сердце.

Умер Штейгер в разгар гитлеровских побед – на больничной койке, у самых Альп. Умер в культурной обстановке, при медсестре, градусниках и аспирине… В то время многие его друзья погибли на фронте, в подполье или в лагерях. Так что можно утверждать: во многих отношениях ему даже повезло. Не знаю. Думаю, что он бы предпочел кончить жизнь в активной борьбе с врагом, которого ненавидел, даже без шансов на победу, как чудилось тогда. Однако следует помнить, что этот образцовый поэт всегда считал свои стихи лучшим выражением всей сущности. И добавлять к ним ничего не собирался.

Говорят, что у одра Штейгера нашли пустую склянку из-под снотворного. Это произошло в разгар преподлейших отступлений союзников, и руки тогда беспомощно опускались у многих. Впрочем, при хронических больных всегда собирается коллекция пустых склянок и флаконов.

К числу немногих наших «туристов» принадлежал и Давид Кнут, кажется, румынский паспорт. Он вдруг сорвался с места и начал кочевать по странам средиземноморского бассейна.

Семья Кнута в общем странная… Его родители в Париже завели ресторанчик, и отец строго покрикивал на младшего сына, брата Кнута:

– Симха, подай битки!

Впрочем, родители вскоре заболели и умерли, а ресторан закрылся. Это о матери Кнута, агонизировавшей в университетской клинике, француз профессор сказал:

– Почему все народы согласны умирать, только один народ не согласен умирать…

И тон у него был явно обиженного человека.

Об этом эпизоде почему-то сообщили Бердяеву, и Николай Александрович, прищурившись, точно читая неразборчивую надпись, сообщил нам:

– Вот поэтому у них и родился Христос. Когда из вежливости я иногда осведомлялся у Кнута, как поживает его брат, то получал неизменный ответ:

– Что ж, выбор у него небольшой: либо тюрьма, либо больница.

Симха, действительно, стал профессиональным вором по классу карманников; он работал не один, а с целым коллективом, и был членом влиятельнейшего союза. Раз при случайной встрече Симха мне сообщил с гордостью, что его отправляют на гастроли в Лондон. Не знаю, что с ним сделала война. Вообще вся семья, видимо, разлагалась. Единственной надеждой рода оставался Давид Миронович.

Маленький, темный, с тяжелым носом, он, однако, обладал недюжинным темпераментом и пользовался завидным успехом у дам.

Однажды в Люксембургском саду он мне прочитал целую лекцию, доказывая, что люди маленького роста крепче, здоровее, выносливее и живучее… высокие умирают раньше, и среди них почти нет гениев. Говорил он это все хотя убежденно, но с долей некоторого смущения – я в Европе считался выше среднего роста.

Увы, Кнут умер рано, сразу после войны. Родители его болели раком; и первая жена, добрейшая, скромная женщина, скончалась от рака, оставив 2–3 сирот. Кнут уже тогда успел с ней развестись и, перепробовав разные комбинации, женился наконец на Ариадне Скрябиной – женщине колоритной и страстной.

Внезапно он получил субсидию на издание французско-сионистской газеты, и они зажили в роскошном особняке. Скрябина, дочь композитора, приняла еврейство, причем с таким «черносотенным» оттенком, что бывавший на Монпарнасе капитан единственного израильского учебного судна с отвращением зажимал уши, когда Ариадна начинала проповедовать и убеждать «иноверцев».

Рассказ об этой русской женщине был бы неполон без характерного эпилога: по слухам, она умерла в 1944 году на юге Франции, сражаясь с немецким патрулем.

XI

Роль, которую играл во второй половине 30-х годов «Круг», до того выполняли «Числа», а еще раньше «Зеленая лампа». Это все, разумеется, сменяясь, на стыках «эпох», перекрывало друг друга, и не было строжайшим образом разграничено.

«Числа» возникли в результате стечения многих случайностей и объективных причин. Однако можно утверждать – без Н. Оцупа не было бы и «Чисел», то есть этих «Чисел».

В годы расцвета «Кочевья», под конец нэпа, ходил на эти литературные собрания некто Рейзини, молодой холостяк, краснощекий, упитанный, явно падкий на сладенькое, но со странностями и не без «запросов». Служил Рейзини у Hachette, бойко стучал по-французски и числился одно время в Сорбонне.

Не пойму, каким образом, но Рейзини встретился с И. В. Манциарли, женщиной эксцентричной, общавшейся с тибетскими мудрецами и питавшейся исключительно рисом и заморскими травами… Выяснилось, что Ирма Владимировна не прочь поддержать деньгами русский журнал.

Я с Манциарли сдружился в Нью-Йорке в разгар войны, когда мы вместе с Е. Извольской и Артуром Лурье издавали религиозный экуменический журнал «Третий час» на трех языках. Тогда Ирма Владимировна мне созналась:

– Я думала, они будут писать, как принято среди русских студентов, нечто светлое и честное, возвышенное и приятное… А там пошла сплошная собачья свадьба, до того неприлично, что даже знакомым нельзя было показать!

Мне стоило большого труда здесь, в Нью-Йорке, эон спустя, объяснить ей, что «Числа» были лучшим журналом эмиграции.

– Почему только эмиграции? – обижался Николай Авдеевич Оцуп. – Это, вероятно, лучший русский журнал вообще…

Рейзини повел переговоры с влиятельными лицами на Монпарнасе. В конце концов Адамович и Иванов поддержали кандидатуру Оцупа как хозяина журнала – и очень удачно! Так, Алданов выдвинул на положение редактора единственного зарубежного многомиллионного «чеховского» издательства – Веру Александрову, и очень неудачно.

В рекламах и даже, кажется, на обложке первого номера «Чисел» Рейзини еще значился редактором философского отдела; позже он совершенно исчез со страниц журнала. Чтобы покончить с ним, скажу, что вскоре у Гашетта вдруг обнаружился беспорядок в отчетности, причем самого нелепого характера: недо-

ставали книги, иллюстрированные, роскошные! А на Монпарнасе Рейзини иногда после полуночи предлагал друзьям: хочешь эту книжонку? Бери, пожалуйста!.. и дарил художественные репродукции едва знакомым собутыльникам. Фельзена Рейзини почти заставил увезти домой энциклопедию попугаев в красках.

Между тем молодого и жизнерадостного холостяка потянули к судебной ответственности. Независимо от формального исхода дела ему как иностранцу и, пожалуй, нежелательному, угрожала неминуемая высылка. И, действительно, несмотря на сумасшедшую изворотливость Рейзини и на все услуги влиятельных друзей молодому человеку пришлось оставить пределы благословенной Франции. Не помню, для какой надобности, но мы все однажды в редакции «Чисел», метро «Конвансион», собирали для него деньги, по-видимому, на неотложные нужды. Позже, в Нью-Йорке, поменяв лик и даже темперамент, Рейзини – владелец шахт и кинематографов – меня сторицей вознаградил за подаренную пятерку; это оказалось моим лучшим капиталовложением!

Итак, Оцуп стал единоличным редактором «Чисел» и повел себя весьма круто, прислушиваясь только к голосам таких обер-офицеров, как Адамович или Иванов.

Адамович был, разумеется, необходим для «Чисел». Поток возмущения и ревностных доносов, хлынувший в ответ на первые номера журнала, требовал заслона. Рецензии Адамовича в «Последних новостях», его участие в открытых вечерах «Чисел» и, главное, «Комментарии» в самом журнале отражали удары. В сущности, эти его статьи после прозы Поплавского и, может быть, Шаршуна самое оригинальное и ценное в «Числах». Хотя за «Комментариями», как уверял Мережковский, стояла тень Розанова.

Однако почему Оцуп в такой же мере слушался и боялся Иванова, я не пойму; как я в свое время не мог

объяснить влияние Иванова, и отнюдь не литературного порядка, на многих других молодых поэтов.

Случилось, что Одоевцева издала свой роман в английском переводе: ее в Лондоне, по-видимому, хвалили… Вот цитаты из этих отзывов супружеская чета собрала надлежащим образом и заставила Оцупа напечатать в конце одного из номеров «Чисел»: несколько страниц грубой саморекламы! Английское слово «genial» Ивановы очень скромно перевели «очень талантлива», приведя в скобках основной текст. Оцуп пробовал бороться, но почему-то в конце концов уступил.

То же по отношению травли Ивановым Сирина: «Числа» могли избежать такого тона в полемике. Впрочем, тут Иванову помогали многие честные и нечестные, стойкие и нестойкие, литераторы и нелитераторы. Достойно внимания, что Адамович, прозу Сирина искренне порицавший (с позиций «Толстого»), в этой склоке, где ссылались чуть ли не на матушку Сирина, прямого участия не принимал.

Лучшее в «Числах» и, пожалуй, еще уцелевшее по сей день, кроме уже упомянутой прозы, надо считать стихи, стихи, стихи… Среди поэтов «аутсайдеры» типа Заковича или Дряхлова, может быть, переживут многих зарубежных «генералов» от литературы.

«Числа» были центром, куда каждый четверг пополудни стекались жаждущие отвлеченных истин и конкретных сплетен новые, многообещающие писатели. В маленькой квадратной комнатушке, rez-de-chaussee (в другие дни она служила конторою для каких-то странных дельцов, берлинских друзей Оцупа), в этой клетке сидели где кто горазд бывшие и будущие сотрудники журнала и болтали с кем придется. Поплавский пытался «завоевать» случайно завернувшего сюда Николая Набокова или Гершенкрона; страшный господин с неприличной бородкой читал вслух свой порнографиче-

ский дневник, и Оцуп зорко следил за выражением лиц присутствующих, мысленно решая трудный вопрос: стоит ли это напечатать…

Я вдруг начинал доказывать, что для Толстого не «случайность», что брат Анны Карениной, Стива Облонский – гурман и бабник!.. Поляк, кажется, граф Чапский, художник, публицист, входил в комнатушку сутулясь (он приехал с рекомендательными письмами от Философова) и говорил, пожимая каждому с одинаковым вниманием руку:

– Вы все здесь русские писатели, да?

Для интимной беседы с Оцупом надо было выйти в коридор – туда к лестнице с лифтом, где нагромождение сюрреалистических балок, болтов и просветов вдохновляло.

Говорил Оцуп каким-то особенным басом: голос сугубо важный, сановитый, раскатистый… Его чересчур благородная, барская речь мне почему-то напоминала рассказы о шулерах, которые должны щеголять бельем голландского полотна и даже натуральными бриллиантами, иначе их в клуб не пустят. Это, разумеется, совершенно неуместное сравнение, но манеры, интонации Николая Авдеевича, весь его псевдовеличественный облик навевали на меня такого рода грустные мысли. Иванов с Поплавским любили повторять, как Блок однажды осведомился: «Что такое Оцуп?» И ему будто бы доложили: «Общество Целесообразного Употребления Пищи».

– Яновский, – снисходительно-важно, «бархатно» рокотал Оцуп у лифта, – поймите, «Числа» не могут платить обычного гонорара. Но если вам когда-нибудь очень, очень понадобится какая-нибудь мелочь, то приходите сюда, и я постараюсь вас выручить.

Кое-кому, то есть Иванову, Адамовичу и себе, он платил вполне приличные гонорары. Адамовичу, повторяю со слов Фельзена, Оцуп однажды сказал:

– Знаешь, Жорж, я пришел к убеждению, что статьи гораздо труднее писать, чем беллетристику, значит оплата должна быть выше!

Часто приходили незнакомые или неинтересные люди, но всех их Оцуп умел как-то привлечь, использовать. Дамы уносили воззвания, где излагались цели «Чисел», и просили о поддержке. Меня Оцуп уговорил поставить свое имя на подписном листе – но неразборчиво.

– Так, чтобы можно было принять ваше имя за Яковлева.

Был такой знаменитый художник… Нелегкое дело – издавать лучший журнал в эмиграции.

Разумеется, он был рвачом, спекулянтом, но без этого «Числа» не продержались бы долго. Кто знает, как действовал бы Дягилев, не имея за собой старую, усадебно-купеческую Русь. Литература была стихией Оцупа, а вкус у него, вероятно, не хуже дягилевского.

Оцуп одно время «жил» с «Чисел», чего Монпарнас не мог ему простить. Но что же здесь, вообще говоря, зазорного: ведь он посвящал этому делу и силы, и домыслы! Однако Ходасевич выразил мнение большинства, когда однажды в своей статье определил занятия Оцупа того периода как делячество. Оцуп, недавно вернувшийся из поездки по Италии и не знавший всех происшедших здесь сдвигов – за это время расцвел «Круг», а Ходасевич уже играл в бридж с Адамовичем, – Оцуп кинулся в кафе «Мюрат», собираясь побить Ходасевича… Но его осадили и выпроводили собственные друзья (Фельзен).

Тут бы ему догадаться, что соотношение сил изменилось и надо начинать сызнова. Но Оцуп обиделся и гордо отвернулся… Так он завял в одиночестве, а вместе с ним «Числа», по-видимому, уже сыгравшие свою роль.

Годы войны Оцуп провел в Италии, что явствует из его «Дневника в стихах» – книги по замыслу, может быть, замечательной; плоха в ней главным образом тема «Беатриче». Повторяю, я не верю, что Беатриче «спасла» Данте; не думаю вообще, чтобы женщины спасали – спасает Христос. Знаю, что бабы «губили» многих; впрочем, побольше бы такой гибели. Вероятно, Оцупа его «Беатриче» тоже искалечила.

Была такая «красавица», бывшая актриса немого синема, по представлению Оцупа – ангел и идеал мудрости или добра. Я ее видел раз мельком, и разглагольствования этой тиранической женщины среднего возраста мне тогда показались плоскими (dull).

Нет, Оцуп гораздо лучше понимал Бориса Юльевича Прегеля, крупного банкира и мецената с большими пухлыми, кровососными, руками. Когда они вдвоем вели «деловые» переговоры – а редактору «Чисел» ведь почти нечего было продавать, – мне чудилось: я случайный свидетель при битве гигантских тиранозавров или динозавров…

Вот Прегель встает и говорит прикорнувшему в кресле Зелюку:

– Я жертвую на этот замечательный журнал тысячу франков! Теперь слово за вами.

Ей-Богу, нечто эпическое звучало в таких речах! Зелюк, владелец большой типографии, человек жестокий и сентиментальный, тоже вдруг смягчался и выражал готовность «пойти навстречу». Только гений Николая Авдеевича Оцупа сумел объединить всех этих нужных и страшных людей, использовав их для журнала.

В 1933 г. или 1934-м я раз вечером заехал к Софиеву по делам нашего Союза и застал там Софью Прегель – поэта из Берлина… Полная, добродушная, энергичная, с благородным достоинством улыбающаяся дама, несколько похожая на бывшую английскую королеву,

мать теперешней Елизаветы. Оставшись один с Юрой Софиевым и Ириной Кнорринг, я узнал, что Прегель «несметно богата» (привез ее шофер в лимузине); познакомились они с Кнорринг еще в Константинополе.

Она читала свои стихи в Объединении, издавала собственные сборники. Там фигурировали, помню, добродушные старики и старухи, что-то евшие, пившие… Так что когда Смоленский злобно заявил, что это «кулинарная» поэзия, то кругом невольно улыбались.

Софья Прегель была добрым человеком, помогала многим поэтам, и очень скоро если не ее литература, то общественная деятельность была принята парижанами без оговорок.

Мы с Фельзеном по делу выставки, а затем издания книг часто виделись с нею; принимали нас там всегда вежливо и даже радушно.

В начале войны Прегель переехала в Нью-Йорк, где издавала журнал «Новоселье»; Софья Юльевна оказалась очень толковым редактором, знающим точно, что ей нужно, и готовым за это платить. Последнего качества за Оцупом не числилось.

В личной жизни ей не везло. Обучалась она профессионально музыке или пению, но из этого ничего не получилось серьезного. После войны, вернувшись в Париж, она ввела туда Ирину Ясен, которая в свою очередь помогала разным поэтам печататься.

Брат Софьи Прегель, Борис Юльевич, делец, ученый и, кажется, композитор (как легко при деньгах отличаться на всех поприщах), однажды пришел на наш вечер в пользу молодых литераторов (в доме Цетлиных), увидал дочь Марьи Самойловны и влюбился… Своей счастливой семейной жизнью он, можно сказать, был обязан парижскому Объединению писателей и поэтов.

Когда мы «собирали» наш внутренний «Круг», то некоторые возмечтали о «реальной силе», и для этой цели предлагали вербовать в члены влиятельных или богатых людей… В первую очередь называли имя Бориса Прегеля. Но Фондаминский после некоторого колебания отвел эту кандидатуру:

– Я с ним разговаривал, знаете, по другим делам и смотрел на его руки, – рассказывал не совсем связно Илья Исидорович. – Вы когда-нибудь заметили его руки? Такими руками можно задушить человека. Нет, он нам не подходит…

Фондаминский, как и Керенский и большинство эсеров, был прежде всего художником, артистом, а не политиком, стратегом, так мне всегда казалось.

Болезненная жажда псевдомогущества, псевдовласти компрометировали все лучшие эмигрантские начинания. Сколько хороших, благородных объединений разваливалось из-за этого наивного оппортунизма…

«Числа», естественно, распространялись в соседние художественные области; будь Оцупу отпущено немного больше времени, право, он бы докатился и до балета. Выставка живописи, устроенная «Числами», в общем, удалась. Некоторые из присланных картин Оцуп потом продал на аукционе в Виши при помощи энтузиастов врачей, спекулянтов, банкиров. Не обошлось без недоразумений: спустили картины и не подаренные «Числам», принадлежавшие частным коллекционерам. Так, однажды я был свидетелем при довольно томительных переговорах Оцупа с художником Воловиком, чье прекрасное масло без его ведома и позволения продали в Виши.

– В таком большом деле нельзя без ошибок! – объяснил мне Оцуп после ухода гостя, незаметно глотая воздух, вероятно, ощущая сердечные перебои. Как человек, привыкший к частым волнениям азартной игры,

он через минуту уже справился и, псевдобарски раскатывая «р», покровительственно закончил. – Очень мне был нужен этот Воловик, подумаешь!

Вечер «Чисел» в тот период составлял гвоздь сезона, как раньше «Зеленой лампы» – там собирался «весь» русский Париж. Чинный зал, где обычно музицировали, совершенно перегружался, так что однажды даже М. О. Цетлин должен был вернуться домой, не получив входного билета. Об этом сообщали с радостью.

На собрании по случаю выхода номера 2–3 «Чисел», где прошел мой «неприличный» рассказ «Тринадцатые», в воздухе пахло скандалом. Милюков говорил о «кризисе» в современном искусстве (pour changer), а с мест выкрикивали разную брань; Мережковский с Оцупом на эстраде свирепо заспорили друг с другом. Оцуп уверял, что преимущество Запада перед Россией в том, что здесь исповедуют принцип chacun pour soi, et Dieu pour tous…[48] Мережковский возражал, говоря, что это пословица консьержей. Он был прав, конечно.

Тогда Поплавский заявил, что русский народ – подлый народ. Достаточно вспомнить родную поговорку «один в поле не воин»… Тут раздался из задних рядов томный вопль Сазоновой, сообщавшей о четырех русских беглецах, погибших героически, переплывая Дунай (о них недавно писали в «Последних новостях»). Младоросы давно уже патриотически свистели и стучали; становилось весело.

Милюков, привыкший к «обструкции» чуть ли не с детства, спокойно ждал, а Оцуп довольно умело и лихо цыкнул; утихомирив недовольных, объявил перерыв.

Обычно на таких вечерах во время антрактов в задней комнатушке «для артистов» собирались все участвующие в прениях и близкие люди: разбивались на

---

[48] Каждый за себя и Бог за всех *(франц.)*.

отдельные группы, теснясь вокруг общепризнанных авторитетов или редакторов журналов… Одиночки, не имевшие возможности или основания присоединиться к такому кружку, держались обособленно, гордо.

Время перерыва было, разумеется, лучшим утешением в жизни эмигрантского литератора… Тогда можно пустить острое словечко, повторить сплетню, условиться о встрече, узнать про судьбу рукописи, обменяться ценной информацией, наконец, пожать ручку приятной дамы или знаменитости вроде Шаляпина, Алехина, Керенского. Одни доклады казались скучными, другие захватывающими, но эти паузы были почти всегда одинаково интересны, хотя и не лишены своеобразной горечи.

Так, во время антракта на вечере «Чисел» мне впервые открылся некий жестокий «социальный» опыт… Помню, я стоял в гордом одиночестве, нехотя прислушиваясь к разнобою голосов вокруг Милюкова и Гиппиус, и вдруг заметил застрявшего в другом углу комнаты НН., естественно, мелькнула мысль: зачем же нам стоять отдельно, гораздо приятнее дожидаться звонка вместе! И я подошел к нему, но сразу почувствовал враждебный и недовольный косой взгляд – мне были не рады! Я немедленно удалился в свой угол, но тут ко мне подскочил ММ., фамильярно заливаясь… Теперь я на него поглядел неприязненно и на вопросы почти не отвечал. Близость ММ. окончательно «унижала» меня, как, очевидно, разговор со мною «компрометировал» НН… Эта сложная «общественная» механика открылась мне вдруг во всей остроте: она действует с одинаковой силой и в придворной среде и в эмигрантском караван-сарае.

Увы, нигде снобизм, чинопочитание, местничество не развиваются так безобразно-болезненно, как в безвоздушной, беспочвенной среде, лишенной реального,

казенного пирога. Смуты, дрязги, интриги, споры, конечно, ужасные грехи, знакомые еще ветхому Адаму (во всяком случае, его сыновьям), но противнее всего склока там, где совершенно нет разумных причин для какого бы то ни было соревнования… Именно в царстве грез осуществляется самый жестокий бой – китайских теней на стене.

Исключительную роль в жизни зарубежной словесности сыграли «Последние новости». Хотя бы потому, что мы все сотрудничали в них. А четверговые статьи Адамовича создавали подлинную литературную атмосферу.

«Последние новости» под редакцией Милюкова были, разумеется, политическим, демократическим, органом; естественно, что беллетристику, поэзию они представляли себе только как род приманки для дикого читателя, сироп, коим подслащивается горькая хина общественных истин. Так это и было одно время: Бунин – символ лучшего прошлого, затем Алданов, Саша Черный, Дон-Аминадо, переводной полицейский роман, все, что полагается для успешного ежедневного издания.

Но так велик был нажим все растущей молодой западнорусской литературы, что постепенно условные барьеры оказались сметены. В первую очередь «прошла» поэзия: от Поплавского до Терапиано, от Червинской до Кнорринг. Но постепенно почти вся наша проза тоже завоевала там себе место. Даже в статьях «Последних новостей» замаячили религиозные имена и темы. Павел Николаевич только неуклонно заменял повсюду выражение «отцы церкви» словами «древние мудрецы»: так ему казалось приличнее. Впрочем, такие слова, как «благодать» или «первородный грех», он попросту вычеркивал.

Приноравливаясь к этому неоэзопову языку, в газете могли сотрудничать даже умеренные обскуранты.

Однако Мережковского и ему подобных Милюков так и не подпустил близко, чувствуя своим широким, толстовским носом запах не только апокалиптической серы, но и крупповских печей.

Гиппиус долго вела подкоп, стараясь одна, без мужа, проникнуть в «Последние новости». Алданов, не отказывая открыто в помощи, говорил:

– Всем покажется странным такой литературный развод.

– Она будет писать вещицы вроде тех, что Тэффи дает в «Возрождении», – убеждал Алданова Дмитрий Сергеевич.

Впрочем, и Бердяев не сотрудничал в газете; на большом собрании последний весьма толково распространялся по поводу дьявола в связи с деятельностью большевиков… И Милюков насмешливо заметил, что Бердяеву, вероятно, хорошо знакома сущность князя мира сего, если он так авторитетно о нем высказывается. Это почему-то обидело философа.

– Мне этого не нужно, – с достоинством объяснял Бердяев. – Меня охотно печатают в других изданиях.

Но газеты «своей» он не имел. И Федотову там не было места. Коротко говоря, профессиональным христианским мыслителям, за исключением одного Мочульского, кажется, ход к Милюкову был затруднен.

Это верно по отношению к «старикам»; молодые же уже с середины 30-х годов могли, соблюдая известные цензурные правила, печатать в газете свои самые характерные произведения, хотя бы по чайной ложке!

«Последние новости» тогда расходились по всем углам зарубежья. Авторитет Милюкова ставился высоко не только либеральными эмигрантами, но и многими влиятельными иностранцами. Передовицы Павла Николаевича читали на Quai d'Orsay и газета в какой-то мере влияла даже на реальную политику.

Постоянный сотрудник «Новостей» мог добиться анемичной славы чуть ли не на пяти континентах. Поэтов перепечатывали безвозмездно в рижском «Сегодня» и в нью-йоркском «Новом русском слове». По поводу прозы, как я уже писал, провинция имела собственное мнение и в нашем творчестве отнюдь не нуждалась.

Кроме чести и славы была еще одна причина, почему мы все подходящее таскали в редакцию «Последних новостей». Гонорар!

В нищей Европе очень расчетливый, даже скупой Милюков так поставил газету, что она приносила завидную прибыль. Главной статьей дохода, как полагается в периодической печати, являлись объявления. Те объявления, о которых Дон-Аминадо писал: «За право пользоваться ванной даю уроки фортепьяно».

Ближайшие сотрудники газеты участвовали даже в дележе добычи; кроме того, у них имелась великолепнейшая касса взаимопомощи, Что же касается «случайных» сотрудников, то для нас был установлен минимум гонорара, которому могли бы позавидовать многие туземные литераторы. Короче говоря, труд в газете оплачивался, хорошо оплачивался.

Я начал, кажется, с 75 сантимов за строчку и вскоре перевалили за франк. А за франк, даже блюмовский, еще можно было купить livre[49] хлеба или литр вина; флакон духов или бутылка шампанского – 25 франков. При даровой или чудом оплаченной комнате, один «подвал» в газете давал уже возможность протянуть целый месяц. Ничего равного ни одна русская газета даже в щедрой и богатой Америке никогда не предоставляла своим писателям.

---

[49] Фунт *(франц.)*.

Поневоле заскучаешь, если не по передовицам Милюкова, то по его умению прибыльно и честно вести коммерческое дело.

Редакция в 30-х годах располагалась у метро Arts et Metiers на втором этаже. Первая «комната», проходная, без окон, с вечной электрической лампочкой, на стене распределительная доска с телефоном… Ладинский, дежурный, между болтовней с посетителем и работой над собственным фельетоном, отрывисто, но исчерпывающе отвечал на очередной звонок, соединяя просителя с конторой, метранпажем, кассиром.

Так в этом чулане и дома по вечерам Ладинский даже ухитрился написать кроме своей лирики два романа из римской и византийской жизни.

Антонин Петрович – прапорщик Первой мировой войны; после гражданской заварушки эвакуировался с юга и застрял в Каире, где подучился английскому языку, так что иногда даже переводил очередную главу полицейского романа для газеты.

Ладинский писал лирические очерки, проникнутые ностальгической любовью к своему детству и родному Пскову; впрочем, его волновала также и «медь латыни». Как многие из служивого или чиновничьего сословия, он был кровно связан с «Империей», «великой державой», Дарданеллами, исконными границами – все глубже и дальше – и прочими атрибутами чувственного патриотизма. Разумеется, Антонин Петрович стоял за свободу личности, за ее юридические права, за ограничение государственного произвола – одним словом, за Павла Николаевича Милюкова. Но все это потом, когда границы империи будут на все сто процентов обеспечены, а национальные интересы защищены.

В пору советско-финской бойни Ладинский, писавший одухотворенные неоромантические стихи, из кожи лез в «Круге», оправдывая стратегию Шапошникова,

уверяя, что нельзя оставить в «такое время» Ленинград под дулами выборгских орудий…

Надо ли удивляться, что эти верные сыны великодержавной России после трудной победы Красной армии взяли советский паспорт. Ладинский, как и Софиев, даже честно поехал в Союз, где он недавно отдал Богу душу. Империализм в истории соблазнял мужчин больше, чем бабы, карты и вино вместе взятые. А в Библии он среди смертных грехов не числится.

От Ладинского осталось 2–3 прелестных стихотворения, но интересного разговора с ним не получилось. Высокий, худощавый, несколько северной (шведской) внешности, но с русским красным, армейским, носом, он в ту пору напоминал Тихонова – тоже романтического поэта и солдата.

Ладинский жил исключительно литературным трудом, если считать обязанности телефониста в редакции тоже прикосновенным к отечественной словесности.

Меня удручала эта приемная без окон, с вечным электрическим сиянием. От скуки мы сплетничали. Об одном шумном литераторе Ладинский несколько раз так выразился:

– Если бы у меня была его энергия, то я бы сидел не здесь у телефона, – тут он обычно оглядывался по сторонам и понижал голос, – а там, в кабинете редактора.

Чем бы Ладинский ни занимался: телефон, перевод бульварного романа, очерк или стихи, всюду он проявлял одну и ту же «органическую» добросовестность, характерную для русского мастерового, труженика, пахаря и солдата. Существует прочно утвердившаяся легенда о национальной распущенности, о русском «авось» да «кабы», «пека», «как-нибудь»… Неаккуратность, темнота, анархизм, халатность, грубость, даже бесчестность, в сочетании с бунтом, богоискательством и жаждой абсолютной «правды». Может быть, это реально для раз-

ночинца, студента, кулака, босяка, не знаю. Но есть другая особенность, универсальная – стоять «до конца» при любых обстоятельствах, даже в николаевском Севастополе, выпускать из своих рук только совершенно исправный продукт, завершенный, отделанный, независимо от рентабельности. Это черта мастера, артизана, художника, Левши, врача, преподавателя, публициста, свойственная одинаково и Розанову, и Чернышевскому, и штабс-капитану Тимохину. Такого рода тяга к совершенству «товара», одинаковая у мужиков и интеллигентов, мне кажется, до сих пор еще не была должным образом отмечена… А в классических трудах описываются в первую очередь легендарная лень, расхлябанность, безграмотность, водка, бунт и жажда немедленной, соборной «справедливости». Здесь какая-то неувязка.

Иностранцы, наслушавшись рассказов о большевиках, об Иване Террибле и Николае Первом, с изумлением осведомляются: «Как же это случилось, что Россия по сей день еще существует и продолжает расти, крепнуть». На это имеется только один вразумительный ответ: «Спасает добросовестный труд мастера, батрака, ученого, пехотинца: в поле, на заводе в лаборатории и, увы, на каторге.

После получасового ожидания у телефонов меня впускали наконец в кабинет к Демидову, и я облегченно переводил дух… Большая, в два окна стеклянная дверь на балкон, с видом на миниатюрную треугольную площадь, где прохладные дома стоят неремонтированные еще со времен Герцена или якобинцев.

Игорь Платонович считался моим редактором: я имел только с ним дело, и он, казалось, меня поддерживал. Не знаю, кого «читал» сам Милюков, хотя на него часто ссылались: «папа не пропустил, папа не желает»! Папа римский, конечно, а не фрейдовский. Этот маневр всех редакций и контор особенно часто

использовался эмигрантскими политиканами. В «Современных записках» таким жупелом служил Фондаминский, пока он не начал с нами встречаться.

Демидов, с бакенами эпохи декабристов, с мохнатыми бровями и мутно-зеленоватыми (цвета омута) зоркими глазами; худой, прямой («аршин проглотил»), с изможденным, аскетического склада лицом… он был похож одновременно и на сенатора времен Наполеона Первого и на русско-византийскую икону.

Интересовался «эзотерическими» школами, масонами, теософами, хорошо говорил о Боге-Любви и зла, по-видимому, никому не желал. Такие русские сановники в старину занимались верчением столов, увлекались модными еще иезуитами или квиетистами.

Мои рассказы ему нравились, иначе их бы не печатали. Других заступников у меня не было. Но понять редактора было трудно: думаешь, вот эта вещь подойдет… Отвергнет! А другую, похуже, с отчаяния даешь – похвалит!

Был Игорь Платонович глуховат и раза два в день чистил себе уши: достанет из ящика вату, ножницы, спички. Все это аккуратно, точно, строго, деловито. В первый раз я даже подумал, что это все имеет какое-то отношение к моей рукописи. Свернет ватный шарик на кончике спички длинными пальцами – быстро, энергично… И ковыряет в ушах споро, без колебаний.

Наш любимый анекдот о Демидове… Доктор И. Манухин, лечивший всех насвечиванием селезенки, будто бы звонит весною в редакцию. Демидов кричит в трубку: «Христос Воскресе, Иван Иваныч!» Но Манухин, по-видимому, не слышит, и Игорь Платонович начинает скандировать: «Х» как Христофор, «Р» как Рахманинов, «И» как Игорь… Да, да, Христос Воскресе… Что, встретиться? Не могу, очень занят! А, завтракать? Это можно, можно…»

Большим влиянием в газете пользовался А. А. Поляков, метранпаж, отнюдь не редактор, и все же «настоящие» сотрудники отдавали материал прямо Полякову и тем кормились. Людям, которым он протежировал, было гораздо легче прожить в Париже. И Поляков пользовался своими правами, руководствуясь, однако, не капризами, а профессиональными соображениями. Все, что полезно для «Последних новостей», можно и надо печатать! А что не нужно для распространения газеты, то вредно и даже глупо.

В «кочегарке» было шумно, дымно и по-своему весело. Александр Абрамович Поляков с бритым, полулысым черепом, желтовато-бледный, серьезно-деловой, не отрываясь от «полосы», протягивает руку, улыбается, – пододвигает пачку своих папирос… Опять углубляется в «русскую хронику».

Курил Поляков довольно редкую папиросу gauloise rouge. Крепкая, точно пуля из дальнобойного ружья. Был у меня друг полицейский врач, прочитывавший на ночь газетку «Paris-Minuit», издаваемую для профессионалов; вот этот бюллетень полночных деяний и «красная» папироса соединены у меня в памяти как особенности парижской жизни, туристам почти недоступные.

Я всегда норовил при визите в «кочегарку» выкурить одну-две поляковские сигареты в странном убеждении, что это ему приятно.

Александр Абрамович принадлежал к редкому типу русского джентльмена и при всех обстоятельствах соблюдал основные правила игры (rules of the game); ко мне, как и к большинству, он относился вполне корректно, даже доброжелательно. Мой материал, по совести, не всегда можно было счесть «выгодным» для газеты; кроме того, я находился в юрисдикции Демидова, то есть невольно принадлежал к полувраждебному лагерю. Как на всякой хлебной работе, там тоже шла борьба за влияние с обычными интригами и смутами.

Часто рассказ, принятый Демидовым, застревал у метранпажа и отправлялся на суд к «Павлу Николаевичу». Я даже, грешным делом, мечтал перейти в ведение Полякова, расхваливаемого Осоргиным, Адамовичем, но это мне, увы, не удавалось.

В каждом предприятии есть такая незаметная ось, на которой вес дело держится, вращается. Толстой писал, что в каждом доме имеется такая особа – нянька, бабушка. Эти «святые» люди только в работе находят оправдание своему существованию; им вообще сидеть сложа руки скучно, и часов они не считают, сверхурочных не требуют.

Возможно, что ради такой превосходной газеты, как «Последние новости», и стоило жертвовать своей жизнью. Но, приехав в Нью-Йорк, Поляков точно так же «засел» в «Новом русском слове» – сторожевым псом морали и орфографии. Ясно, что люди этой породы просто изнемогают без привычного занятия. И действительно, во время летнего отпуска Александр Абрамович почти заболевал от безделья и бросался с удвоенной энергией по кабинетам терапевтов и медицинских специалистов; перевалив через восьмой десяток, он все же надеялся захватить «болезнь» в самом зачатке.

Свою чрезвычайную мнительность Поляков обнаружил впервые после похорон полковника генерального штаба Шумского… Этого сотрудника «Последних новостей» «Возрождение» называло самозванцем, ибо Шумский был его псевдоним, академию он кончил под другой фамилией.

Итак, полковник генерального штаба Шумский «внезапно» скончался, можно сказать, на бегу. И сотрудники газеты поехали на кремацию тела в часовне кладбища Пер-Лашез. Я видел Полякова немедленно после этого обряда и почти не узнал старого джентльмена: поблек метранпаж, сдал, осунулся.

Но через недельку опять пришел в себя: сухой, уверенный, подобранный специалист, играющий интересную и ответственную партию по раз и навсегда установленным правилам игры. Только бы это продолжалось до бесконечности.

Еще подвизался в «Последних новостях», и тоже быстро, без последствий, сошел в могилу, некто Словцов: пухлый, с детским голосом, страдающий одышкой журналист. Кроме технической работы он аккуратно поставлял два фельетона в неделю – посвященные французским книгам «общего, культурного порядка»… Он следил за всеми новинками этого рода и пересказывал их содержание очень толково и умно, присовокупляя только изредка собственные комментарии, гуманистического оттенка. Мне такие работники казались чудом усидчивости. «Ce sont des as»[50], – невесело шутили мы на Монпарнасе.

Надо помнить, что когда освобождалось «место» в газете, например, во время каникул, то эти же подвижники принимали на себя добавочные обязанности, не подпуская чужих людей. Словцов всегда замещал Полякова летом.

Поплавский с ужасом рассказывал мне: Словцов, уезжая в отпуск еще до реформы Блюма и платных вакаций, заготовлял восемь-девять «подвалов» впрок – на целый месяц… Таким образом он не лишался гонорара и в пору отдыха. Это значит, что он загодя прочитывал сверх обычной нормы еще 8–9 томов «общего характера» и приготовлял соответствующие статьи – кроме текущих фельетонов и ежедневной обязательной работы по составлению газеты. Занят, занят был человек – полезной деятельностью. А когда умер, никто из сотрудников ни разу не вспомнил его: будто корова слизнула языком человека…

---

[50] Это тузы *(франц.)*.

«Последние новости» имели свою кассу взаимопомощи, куда постоянные сотрудники обращались за ссудою. Раз перед летними каникулами Могилевский (бух-(бухгалтер) при мне отсчитывал Алданову 10 тысяч франков – на поездку в Италию. Марк Александрович, конфузясь непрошенного свидетеля, быстро рассовал ручками-ластами пачки кредиток по карманам и скрылся. Вечером на Монпарнасе Адамович сообщил, что Алданов просил объяснить мне, что деньги эти он взял заимообразно: их придется зимой отработать.

Репортажи для «Последних новостей» поставляли Седых-Цвибак и Вакар, оба деятельные и по-своему очень ценные для газеты люди.

Седых писал о палате депутатов, о преступниках и беженских делах. Вакар докладывал о проделках крайних партий, о выборах казачьего атамана (уже тогда дело неверное и сложное) и о церковной смуте. Иногда за отъездом или болезнью один корреспондент заменял другого; так, злые языки уверяли, что Седых где-то в отчете написал, что «генералу преподнесли портрет Богоматери».

Седых расцвел, когда Бунин получил премию; я его видел в редакции в день чествования лауреата… Во фраке, с порхающими фалдами: создавалось впечатление, что он-то и есть виновник торжества!

Он сопровождал Бунина в Швецию, служа ему секретарем, переводчиком и даже нянькою. Лауреат на иностранных языках вообще не изъяснялся, а по-французски мог только сказать две-три корявые фразы.

Павел Николаевич Милюков до последних часов своих оставался верным себе – камнем! (Почему Павел, а не Петр?) Пытаться сдвинуть его с места казалось делом бесплодным, безнадежным.

Кое-что он понимал, и понимал гораздо лучше, чем иные друзья из его лагеря. Я подразумеваю не только

политику или историю. Но были предметы, даже целые отрасли человеческой деятельности, в коих он являл себя органически глухим, слепым, даже мертвым.

Кирпично-красный, особенно с тех пор, как ему перевязали каналики, плотный, кряжистый, старчески осторожный, неповоротливый в движениях – таким я его часто встречал в новом «изгнании», на улицах Монпелье, где мы обретались по соседству… Мы рядом рылись в университетских книжных магазинах; обнаружилось, что он большой поклонник Марка Аврелия – цитирует его наизусть.

Высшая школа Монпелье – одна из старейших во Франции, и эта обстановка древности, культуры, арабско-римской схоластики создавала особенную почву для беседы, в которой Милюков, забывая о кадетах и Дарданеллах, проявлял себя с новой силой.

Он знал немного нашу молодую, зарубежную литературу. Вообще он «слышал» обо всем. Еще по делам книжной «Выставки» я у него бывал на дому (у метро «Конвенсион») и тогда вынес впечатление, что если это наш враг, то враг, с которым надо бережно обращаться… Впрочем, тогда он был очень любезен и все просьбы мои удовлетворил (относительно наших объявлений и воззваний в газете). Популярность в среде молодежи оказалась неожиданным козырем в наших руках, который мы незаметно потеряли с годами.

Милюков – редактор толстого журнала «Русские записки» – читал многих молодых прозаиков и составил себе о них вполне определенное мнение… В этом главный недостаток его духовной или умственной жизни: раз навсегда застывшее убеждение или верование.

Мне, к удивлению, он еще в Париже посоветовал:

– Смирите своего дьявола!

Поскольку это исходило от человека совершенно, казалось, нерелигиозного, я не совсем понимал, что он имеет в виду.

В пору наших встреч в Монпелье Сталин подбирал крохи с гитлеровского стола: вслед за Прибалтикой, Литвой и польскими крессами падали в прогнивший зев отца народов Бессарабия, Черновицы… Шли глухие толки о Дарданеллах. И Павел Николаевич очень спокойно мне сообщил:

– Они делают то, что я бы делал, если бы сидел в Кремле.

Этому свидетельству я ужаснулся: не «Дарданеллам» вообще, а хладнокровию, с которым Милюков, пусть в одном пункте, объединялся со Сталиным.

В Нью-Йорке, уже после смерти Павла Николаевича, я как-то рассказал М. Карповичу об этом разговоре… И тот, подумав, огорошил меня:

– Что ж, тут ничего особенного нет. В сущности, Милюков нечто подобное говорил и писал давно!

Для американской визы требовалась «моральная» рекомендация, и Павел Николаевич написал весьма лестный отзыв обо мне в адрес марсельского консула, сохранившийся у меня вместе с Нансеновским паспортом. Кстати, Милюков свободно изъяснялся и по-французски, и по-английски.

Случилось так, что М. Вишняк (уже в США) хлопотал тогда о месте профессора истории, где-то возле Чикаго, и просил Павла Николаевича поддержать его кандидатуру… Так как Вишняк долго не получал ответа, то он обратился ко мне с просьбой узнать, как обстоит дело с благоприятным отзывом.

П. Н. Милюков на мой вопрос твердо объяснил, что он не может рекомендовать Вишняка на эту должность, о чем я немедленно оповестил Марка Вениаминовича. В связи с этой беседой Милюков выразил свое мнение относительно некоторых политических или общественных сотрудников. Было грустно (и весело) его слушать. Увы, он отдавал себе отчет в людях

без всяких иллюзий… Несколько снисходительнее отозвался только об одном Зензинове.

Жил тогда Павел Николаевич с женою в одной большой комнате, питаться приходилось эрзацами. Как-то на рынке появился запас копченых угрей, и я ему принес фунтик в подарок… Оказалось, что сотрудники «Последних новостей» поодиночке уже успели ему притащить по свертку этих злополучных угрей, за которые он, впрочем, платил. Я было смутился, но супруга Милюкова («молодая») меня властно успокоила:

– Ничего, Павел Николаевич их любит и съест.

Вскоре чета переехала в Aix-en-Provence, где П. Милюков и скончался. В его обществе я себя чувствовал точно по соседству с мамонтом: ошеломляла смесь черт и способностей допотопных, могучих и загадочных существ.

В Марселе 1942 года я познакомился с бывшим русским консулом, продолжавшим выдавать эмигрантам справки, необходимые для получения визы. Не помню его фамилии, что-то украинское; мягкий, умный, седеющий южанин, пригвожденный к постели застарелым недугом.

Обычно его дочь выполняла обязанности секретаря; но случилось так, что она отлучилась на несколько дней, и я вынужден был сам отстучать на машинке свои удостоверения под диктовку добрейшего, хитрейшего консула, державшего у своего изголовья все необходимые ему предметы: лекарства, папиросы и штемпель с бланками. У него что-то приключилось с ногами, и он не мог передвигаться.

Мы с ним подружились; в результате он мне уступил по себестоимости чернорыночные папиросы и поделился «местными» сплетнями.

– Я хоть живу в стороне, за городом, а все важные персоны ко мне ездят сюда, даже примадонны, – рассказывал он не без иронии.

Он лежал в постели зимой и летом в перегруженной до отказа вещами (точно ломбард) комнате. За большим окном полыхали марсельские, провансальские закаты; от райского изнеможения даже птицы уставали петь, а жадные пары целоваться. Пахло изнуряюще; ароматом пропиталась сама ткань бытия, неба и земли, моря и туманов… И это несмотря на южную пыль, голодных насекомых и близость множества открытых уборных.

Вообще все наши «старые» консулы были особого склада людьми, культурными и разговорчивыми, явно не перегруженные работою. Помню, в Париже Кондауров – тучный влиятельный масон, встречал меня дружески-насмешливо:

– А, а, молодой писатель, вы, кажется, верите в трех богов?..

Славился шармом и savoir-faire Маклаков, но он принадлежал к «линии» послов, что совсем другая семья! Его петербургский грасс мог убедить и очаровать даже префекта Кьяппа. Все же Маклаков был и бюрократом, администратором, чиновником… Черта, неожиданная для него и никем до сих пор не отмеченная.

Итак, марсельский консул продолжал свой рассказ… Оказывается, знаменитый марксист, меньшевик, получая необходимое ему свидетельство о рождении, остался недоволен его официальным западноевропейским текстом и просил добавить еще слова: «сын приходского священника».

– Ей-Богу, мне стало совестно, – поверял свои думы консул. – Верно, он сын попа, но все его товарищи eepui, и едет он по «еврейской» чрезвычайной визе, както стыдно отгораживаться при таких обстоятельствах! – И закончил знакомым припевом: – Бывало, русская интеллигенция… а теперь только собственную шкуру…

Тут уместно вспомнить еще другую громкую личность зарубежья – Сирина.

В «Письмах» Nabokov-Wilson (Ed. by Simon Karlinsky, Harper&Row, 1979) Эдмунд Вильсон, знаменитый американский критик и джентльмен, пишет Набокову:

«Июль, 1943. Человек по имени В. С. Яновский обратился ко мне за литературным советом. Он приложил маленький рассказ из «Новоселья», который мне кажется неплох, и нелепый «сценарий» романа, который звучит, как будто был написан для смеха. Знаете ли Вы что-нибудь о нем? Он сообщает, что в «среде русской Франции он пользовался некоторой популярностью».

Я послал Вильсону рассказ «Задание-выполнение» и краткое резюме «Портативного бессмертия».

Казалось бы, чего проще при этих условиях для русского джентльмена и писателя поддержать вновь прибывшего из Европы эмигранта и независимо от личных симпатий сказать влиятельному американцу: «Если Вам рассказ понравился, помогите литератору его напечатать».

Но нет. Это было бы слишком «пошло» для Набокова. Вот его ответ:

«Июль, 1943… О Яновском. Я часто встречал его в Париже, и это правда, что его работы оценивались положительно в некоторых кругах. Он he-man (…) Если Вы понимаете, что я имею в виду». Редактор или издатель писем поставил многоточие, обозначающее пропуск. Слово he-man трудно перевести, буквально – мужчина, пожалуй, грубый человек, солдафон.

И Набоков продолжает:

«Он не умеет писать. Мне случилось сообщить Алданову, что благодаря Вам я имею возможность печатать здесь свои произведения и, надо полагать, об этом все узнали, и теперь Вы начнете получать множество писем от моих несчастных собратьев (poor brethren)».

Бедный Набоков. Тут, пожалуй, следует напомнить, что он никогда, никому, никакой профессиональной

помощи не оказывал. Обо всех писателях, за исключением, быть может, одного Ходасевича, он отзывался с одинаковым презрением. Достоевский – «третьестепенный писатель», а «Война и мир», это я слышал от него в Париже, – «недоделанная вещь». Набоков принадлежал к тому весьма распространенному типу художников, которые чувствуют потребность растоптать вокруг себя все живое, чтобы осознать себя гениями. По существу, они не уверены в себе.

Достоин внимания следующий эпизод. В тридцатых годах в Париже Фельзен и я отправились в одно французское издательство к Габриэлю Марселю – узнать о судьбе наших книг.

Там в кабинете редактора мы застали уже собиравшегося выйти Сирина.

– Вот, – сказал философ (он тогда еще не был экзистенциалистом), – вот господин Сирин предлагает нам издать его произведение по-французски, – и он указал на свой длинный стол, где с краю лежало «Отчаяние».

Нам «Отчаяние» не могло нравиться. Мы тогда не любили «выдумок». Мы думали, что литература слишком серьезное дело, чтобы позволять сочинителям ею заниматься. Когда Сирин на вечере (в зале Лас-Каз) читал первые главы «Отчаяния» о том, как герой во время прогулки случайно наткнулся на своего «двойника» (что-то в этом роде), мы едва могли удержаться от смеха.

Тем не менее Фельзен, чистая душа, быстро и решительно отозвался:

– Я знаю эту книгу. Это очень хороший роман.

На что стройный в те годы Сирин низко поклонился своим несчастным собратьям (poor brethren) и сказал:

– Merci beaucoup.

Но это уже глава из новой книги – на другом континенте, даже полушарии. А то Замечательное Десятилетие кончилось и стало достоянием истории.

Братья, сестры последующих боен и мятежей, услышите ли вы наш живой голос?

Не жизни жаль с томительным дыханием.
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданием
И в ночь идет, и плачет, уходя…

1961–1983 гг.
Нью-Йорк

Оглавление

Василий Семенович Яновский

Поля Елисейские

Книга памяти

Ответственный редактор *А. Иванова*
Корректор *М. Глаголева*
Верстальщик *А. Сычёва*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16